

В. ШУКШИН





В. ШУКШИН



В. ШУКШИН

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В 5 ТОМАХ

· ТОМ 3

Екатеринбург
Издательство
«Уральский
рабочий»
1992

**ББК 84Р7
Ш954**

**Составление
ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ
при участии
ВАДИМА ПАНЮТЫ**

**Художник
КОНСТАНТИН СУХАРЕВСКИЙ**

**Ш ————— 4702010200 — 039 ————— 04-92
«Книголюб» — У. Р.— «ВЕНДА» — 92**

**© В.ШУКШИН, 1992
© Л.ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА,
составление, комментарии, 1992
© К. СУХАРЕВСКИЙ, худ. оформление, 1992**

КИНОПОВЕСТИ

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Есть на Алтае тракт — Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам.

Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды — все с Чуйского тракта.

Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляли сму сперва ямщиков, затем шоферов. Он (тракт) манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийска до Ини хотя бы, заглянуть вниз с перевала Чике-таман (Чик-атаман, как зовут его шоферы) — и жутковато станет, и снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной выси...

И еще есть река на Алтае — Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ревет — рвется из гор. А то вдруг присмирет в долине — тихо, слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая — каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит... Красиво, очень красиво! Не расскажешь словами.

И вот несутся они в горах рядом — река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра, или что это — влюбленные, или что это, наоборот, ненавидящие друг друга Он и Она, но за какие-то грехи тяжкие заколдованные злой силой быть вечно вместе... Хочется очеловечить и дорогу и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами.

Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы (крутые

опасные повороты над кручей). И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут... Устают смертельно. В сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать:

— Еду, говорит, и так спать захотел — сил нет. И заснул. И заснул-то, наверно, на две секунды. И вижу сон: будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся, смотрю — правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером, дома, жутко стало...

А зимой, бывает, заметет Симинский перевал — по шесть, по восемь часов бьются на семи километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. Пять метров разгребают лопатами снег, пять — едут, снова пять — разгребают, пять — едут... В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение — хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе.

Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души.

Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты:

Помоги товарищу в беде.

Не ловчи за счет другого.

Не трепись — делай.

Помяни добрым словом хорошего человека.

Немного. Но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку. Прежде всего. И главным образом.

В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины "ГАЗ-51". Одну вел молодой парень, другую — пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами.

Парень задумчиво, с привычным прищуром смотрит вперед — это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович.

На тракте в сторонке стоит “козлик”. Под “козликом” — шофер, а рядом — молодой еще, в полувоенном костюме, председатель колхоза Прохоров Иван Егорович.

Надежды, что “козлик” побежит, нет. Прохоров “голоснул” одной машине, она пролетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу — это Пашка.

— До Баклани подбрось.

— Ты один?

— Один.

— Садись.

Прохоров крикнул своему шоферу:

— Прислать, что ль, кого-нибудь?!

Шофер вылез из-под “козлика”.

— Пришли Семена с тросом!

Пашка с Прохоровым поехали.

...Летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики...

— Ты куда едешь? — поинтересовался Прохоров.

— В командировку.

— В колхоз, что ли?

— Мгм. Помочь мужичкам надо.

— А куда?

— Деревня Дяствянка.

Прохоров внимательно посмотрел на Пашку, — видно, в начальственной его голове зародилась какая-то “мысль”.

...Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.

...Прохоров и Пашка продолжают разговор.

— Тебя как зовут-то? — как бы между прочим спрашивает Прохоров.

— Меня-то? — охотно отвечает Пашка. — Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — идет дальше Прохоров. — Я по батьке тоже — Егорыч. А фамилия моя — Прохоров.

— Очень приятно, — говорит Пашка любезно. — А я — Колокольников.

— Тоже приятно.

Машина остановилась — перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов.

Пашка вылез из кабины.

— Что там? — спросил Прохоров.

— Завал. Счас рвать будут.

Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.

— Поехали ко мне, Егорыч? — неожиданно предложил он.

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я — тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю. У меня же в командировке точно сказано...

— Да какая тебе разница! Я тебе дам документ, что ты отработал у меня — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Что, так не делают, что ли? Сколько угодно.

— Я же не один.

— А кто еще?

— А он... — Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них. — Старший мой.

— А ты поговори с ним. Пусть он — в Листвянку, а ты — ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов. А? Я же не так просто, я заработать дам. А?

— Не знаю... Надо поговорить.

— Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает — хоть Лазаря пой.

— Ладно, — сказал Пашка.

Так попал Павел Егорыч в Баклань.

Вечером, после работы, уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.

— Жена должна чувствовать, — утверждал Пашка.

— Правильно, Егорыч, — поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?

— Если я прихожу домой, — продолжал Пашка, — так? усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например: "Привет, Маруся!" Она мне весело: "Здорово, Павлик! Ты устал?"

— А если она сама, бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: "Пирамидон!" — и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно! — поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков "охальниками".

В клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно вселый, яркий, в белой рубаше с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой вился чуб.

— Как здесь население... ничего? — поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на "местное население".

— Ничего, — неохотно ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели здесь.

— Не наведут. — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что это за дивчина? — спросил Пашка у того же парня: он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не пожелал больше с ним разговаривать, отвернулся.

Заиграли фокстрот.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился и громко сказал:

— Предлагаю на тур фокса.

Все подивились изысканности Пашки — на него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали.

Настя была несколько тяжела в движениях. Зато Пашка с ходу начал выделять такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе — и кружился, кружился...

Настя весело спросила:

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображали.

— Ваша серость меня удивляет,— сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка сказал:

— Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты.— Настя в упор смотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну, и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты? Если у вас, конечно, нет какого-нибудь хахаля. Договорились? Мм?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой.

Фокстрот окончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него.

— Что, братцы, носы повесили? — спросил Пашка.

— Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность? — спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Перекрестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут... потолкуем.

Пашка улыбнулся.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете ни за что... А вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому ~~на~~ мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурки... И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует,— сказал он и поправил фуражку.— Я этих интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка подошел к Насте.

- Вы мне не ответили на один вопрос.
- На какой вопрос?
- Я вас провожаю сегодня до хаты?
- Я одна пойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезны. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.

— Поговорим, как желтмены...

— Боже мой, — вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед... Слышал, как вокруг него посмеивались. Но не испытывал никакого стыда. Только стало горячо под ложечкой. Горячо и больно. Он встал и вышел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бостоновый пиджак — и появился такой в сельской библиотеке (Настя работала библиотекарем).

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и читальней.

Настя улыбнулась ему, как старому знакомому.

У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал "Огонек".

Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю — ноль внимания. Он сообразил, что парень с "Огоньком" и есть тот самый инженер, жених.

— Хочешь почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите? — Настя тоже невольно перешла на "вы".

— "Капитал" Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал...

Парень оторвался от "Огонька", взглянул на Пашку.

Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.

— Ваша фамилия?

— Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937, водитель-механик второго класса. Холост.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искося разглядывал ее. Потом посмотрел на парня... Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.

— Кроссвордиками занимаемся?

— Да...

— Между прочим, Гена, он тоже из Москвы,— объявила Настя.

— Ну,— Гена искренне обрадовался.— Вы давно оттуда? Расскажите, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том “Капитала”, молчал.

— Спасибо,— наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню, протянул руку.— Павел Егорыч Колокольников.

— Гена. Очень рад. Как Москва-то?

— Москва-то? — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.— Шумит Москва, шумит.— И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.— Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас...

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то? — Пашка перевернул страничку журнала.— Я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее, улыбнулся.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно,— сказала Настя.— Значит, мне приснилось.

— Бывает,— согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.— Вот, пожалуйста,— красавец,— сказал он, подавая журнал Гене.— Кошмар!

Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.

— Вы надолго к нам?

— Так точно.— Пашка посмотрел на Настю, та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.— Сыграем в шашки? — предложил он инженеру.

— В шашки? — удивился инженер.— Может, в шахматы?

— В шахматы скучно,— сказал Пашка (он не умел в шахматы).— Думать надо. А в шашечки — раз-два и пиратидон.

— Можно в шашки,— согласился Гена.

Настя вышла из-за перегородки и под села к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это? — не понял Гена.

— А это когда игрок прозеваает бить, берут штрафную шашку,— пояснила Настя.

— А-а. Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет.— Белыми играл Пашка.

— Сделаем так,— начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле; выражение его лица было довольное и хитрое.— Здесь курить, конечно, нельзя? — спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— Нельзя, так нельзя...— Пашка пошел второй шашкой.— Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал:

— погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь.

— Ну и что! Играю-то я.

— Учиться надо.

Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и с толком.

— Вон той, Гена, крайней,— снова не выдержала Настя.

— Нет, я не могу так! — закипятился Гена.— Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

— А чего ты волнуешься? Вот чудак!

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно,— вмешался в спор Пашка и подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.

— Ну и проиграешь сейчас. Принципиально.

— Нет, зачем? — снисходительно сказал Пашка.— Тут еще полно шансов меня сфотографировать... Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл,— с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом! — обиделся Гена по-настоящему.— Нельзя же так, в самом деле. Отойди!

— А еще инженер.— Настя встала.

— Это уже... не остроумно. При чем тут "инженер"?

— "Боюсь ему понравиться-а..." — запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол,— снисходительно заметил Пашка.

Инженер смеялся шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

— Я проиграл.

— Выйдем покурим? — предложил Пашка.

— Пойдем.

На крыльце, закуривая, инженер пожаловался:

— Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.

— Ничего,— сказал Пашка.— Пройдет... Давно здесь?

— Что?

— Давно здесь живешь?

— Живу-то? Второй месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку. Пашкин взгляд был прям и серьезен.

— На ней? Да. А что?

— Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, да.

Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты "Капитал" действительно читаешь?

— Нет, конечно.— Тут Пашка увидел на улице автобус — "Моды в село".— Пойдем посмотрим,— предложил он.

— А что там? — спросил Гена.

— Костюмы показывают.

— "Дом моделей"? — с удивлением прочитал Гена.

— Сходим вечером, посмотрим? — Пашка повернулся к Гене.— Музыка играет...

— Здравствуйте, дорогие друзья! — сказала приветливая женщина.— Мы показываем вам моды осенне-зимнего сезона. Обратите внимание на удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую... Машенька, пожалуйста!

Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.

— Это — Маша-птичница! — пояснила приветливая женщина.— Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.

Маша-птичница улыбнулась в зал.

— На переднике, с правой стороны, предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.

Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.

— Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу и, едва заведя ее в этом простом красивом платице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.

Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он остороженько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка отодвинулся от нее.

— А вот костюм для полевых работ! — возвестила стареющая женщина.

На сцену, под музыку (музыка уже другая — быстрая, игривая), вышла другая девушка — в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.

— Это — Наташа, — стала пояснять женщина. — Наташа — ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете. — Женщина обаятельно улыбнулась. — Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка, — продолжает она рассказывать. — Подул холодный осенний ветер...

Наташа увлеклась ходьбой под музыку — не среагировала на последние слова.

— Наташа! — Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку. — Подул ветер.

Наташа подняла воротник.

— Подул холодный осенний ветер — у куртки имеется глухой воротник.

Музыканты играют, притопывают ногами. Особенно стучится ударник.

— Наташа передовая не только в труде, но и в быту. Поэтому все на ней опрятно и красиво.

Наташа улыбнулась в зал, как будто несколько извиняясь за то, что она такая передовая в быту.

— Спасибо, Наташенька.

Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула "некоторых молодых людей", которые любят одеваться крикливо (ей очень нравилось это слово — "крикливо").

...Пашка склонился к Насте и сказал:

— Я уже вторые сутки страдаю — так? — а вы мне — ни бэ, ни мз, ни кукареку.

Настя повернулась к Гене.

— Ген, дай я на твое место сяду.

Пашка засуетился громко.

— Загораживают, да? — спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища. — Эй, товарищ! Убери свою голову.

Товарищ "убрал" голову.

Настя осталась сидеть на месте.

— ...Вот — вечернее строгое платье простых линий. Оно дополнено шарфом на белой подкладке. Как видите, красиво, просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы... В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым.

Пашка потянул к себе кофту, которая была у Насти в руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый...

— Гена, сядь на мое место, — попросила Настя.

Гена с готовностью сел на место Насти.

Пашка заскучал.

А на сцене в это время демонстрировался "костюм для пляжа из трех деталей".

— Платье-халат. Спереди на кнопках.

Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.

— Очень удобно, не правда ли? — спросила женщина.

...Пашка встал и пошел из клуба.

Опять сорвалось.

Дома он не раздеваясь прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Прохоров.

— Да так... — отозвался Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Прохоров.

— Ну, как раньше... Раньше ведь воровали.

— А-а... А черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

— Это, конечно. Я так просто,— согласился Пашка. Еще немного помолчал.— И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю.

Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Генкой.

— Генка, это же так все смешно,— пыталась урезонить Настя жениха.

— А мне не смешно,— упорствовал тот.— Мне больно. За тебя больно...

— Неужели ты серьезно думаешь, что...

— Думаю! Потому что — вижу! Если ты можешь с первым встречным...

— Перестань! — оборвала его Настя.

— А почему “перестань”? Если ты можешь...

— Перестань!! — опять властно сказала Настя.

Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты, пропел свое любимое:

*“И за борт ее бросает
Внабежа-авшую волну...”*

Хлопнула дверь.

Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки.

Хлопнула дверь.

Настя осталась одна.

Горько ей.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел движок.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои,— сказал Пашка.

— Кто — свои?

- Колокольников.
- Командировочный, что ль?
- Да.

В круг света вышел дедун — сторож в тулупе, с берданкой.

- Ехать, что ль?
- Ехать.
- Закурить имеется?
- Есть.

Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет,— сказал дед и зевнул.— Спать клонит в дождь.

- А ты спи,— посоветовал Пашка.
- Нельзя. Я тут давеча соснул было, да знаешь...

Пашка прервал словоохотливого старика:

- Ладно, батя, я тороплюсь.
- Давай, давай.— Старик опять зевнул.

Пашка завел машину и выехал со двора.

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки куда-то попрятались. Пашка ехал на малой скорости. У Настино дома остановился. Вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так,— негромко сказал он и потер ладонью грудь: волновался.

Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами,— Настя. Сердце Пашки громко колотилось.

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую капель.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы: печку-голландку, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла раму.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко.

“Неужели узнала?” — подумал Пашка. Он хотел, чтоб его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

Настя склонилась над подоконником... Он отстранил ее и полез в горницу.

— Додумался? — сказала Настя потеплевшим голосом. — Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.

Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее, теплую, мягкую... Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.

— Ох, — глубоко вздохнула Настя. — Что же ты делаешь? Шальной...

Пашка начал ее целовать... Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

“Все. Конец”. Пашка приготовился к худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его “фотографировать”. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет... Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке...

— Здравствуйте, Павел Егорыч.

Пашка “культурно” поклонился. И тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.

— Ну зачем же так, Настя?

А Гена ходит, мучается по комнате.

“Неужели все это серьезно?” — думает он.

Постоял у окна, подошел к столу, постоял... Взял журнал, прилег на диван.

И тут вошел Пашка.

— Переживаешь? — спросил он.

Гена вскочил с дивана.

— Я не понимаю, слушай... — начал он строго.

— Поймешь, — прервал его Пашка. — Любишь Настю?

— Что тебе нужно?! — взорвался Гена.

— Любишь,— продолжал Пашка.— Иди — она в машине сидит.

— Где сидит?

— В машине! На улице.

Гена взял фонарик и пошел на улицу.

— А ко мне зря приревновал,— грустно вслед ему сказал Пашка.— Мне с хорошими бабами не везет.

Настя сидела в кабине Пашкиной машины.

Гена постоял рядом, помолчал... Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться — так повелось у влюбленных.

А Пашка пошел на Катунь — пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет.

Шумит, кипит в камнях река... Слушает Пашку, понимает и несется дальше, и уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

Утро ударило звонкое, синее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью.

Едет Пашка. Устал за ночь.

У одной небольшой деревни посадил хорошенькую круглолицую молодую женщину.

Некоторое время ехали молча.

Женщина поглядывала по сторонам.

Пашка глянул на нее пару раз и спросил:

— По-французски не говорите?

— Нет, а что?

— Так, поболтали бы...— Пашка закурил.

— А вы что, говорите по-французски?

— Манжерокинг!

— Что это?

— Значит, говорю.

Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.

— Как будет по-французски женщина?

Пашка снисходительно улыбнулся.

— Это — смотря какая женщина. Есть — женщина, а есть — элементарная баба.

Женщина засмеялась.

— Не знаете вы французский.

— Я?

— Да, вы.

— Вы думаете, что вы говорите?

Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком.

— ...А почему, как вы думаете? — продолжается разговор в кабине.

— Скучно у нас, — отвечает Пашка.

— Ну а кто виноват, как вы думаете?

— Где?

— Что скучно-то. Кто виноват?

— Начальство, конечно.

Женщина заметно заволновалась.

— Да причем же здесь начальство-то? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начиная. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите!.. Боже, чего там только нет! Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие...

Пашкиному взору представилась эта картина: думочки, сумочки, вышивки, слоники... Катя Лизунова вспомнилась (знакомая его).

— ...Кошечки, кисочки, — продолжает женщина. — Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ведь это же в наших руках — сделать жизнь интересной.

— Нет, если, допустим, хорошо вышито, то... почему? Бывает, вышивать не умеют, это действительно, — вставил Пашка.

— Да все равно, все равно!.. — загорячилась женщина. — Поймите вы это, ради бога! Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати, повесить на стенку три-четыре хорошие репродукции, на стол — какую-нибудь современную вазу...

Пашке опять представилась комната знакомой ему Катки Лизуновой. Волшебством кинематографа высокая Каткина кровать сменяется низкой тахтой, срываются со стен вышивки и заменяются репродукциями картин больших мастеров, исчезают слоники...

— Поставить книжный шкаф, на стол бросить несколько журналов, торшер поставить, — продолжает женщина.

...А в комнате Катки Лизуновой, (по команде женщины, под ее голос) продолжают происходить чудесные преобразования...

И вот — кончилось преобразование. (Смолк голос женщины.)

И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорей всего француженка какая-то, но похожая на Катьку. Читает.

И входит в комнату сам Пашка — в цилиндре, в черном фраке, с сигарой и с тросточкой. Раскланялся с Катькой, снял цилиндр, уселся в кресло и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается! Пашка ей с улыбкой — слово, она ему — два, он ей — слово, она ему — два. Да все с прононсом, все в нос.

— Неужели все это трудно сделать? — спрашивает женщина Пашку. — Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.

Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.

— Можно, наверно.

— Можно!.. Все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.

А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры. Стелется туман.

Едут Пашка с женщиной.

Пашка заметил, что женщина что-то уж очень нетерпеливо стала посматривать вперед. Спросила:

— А долго нам еще ехать?

— Еще километров тридцать с гаком. Да гак — километров десять.

— Сколько? — Женщина затосковала.

Пашка понял: приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катунь, остановил машину.

— Ну-ка, милая, возьми ведро да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.

— С удовольствием! — воскликнула женщина, взяла ведро и побежала через кустарник вниз, к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед.

Муж действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносом лицом. Очень обрадовался. Растерялся: не знал — то ли целовать жену, то ли снимать чемоданы с кузова. Запрыгнул в кузов.

Женщина полезла в сумочку за деньгами.

— Сколько вам?

— Нисколько. Иди к мужу-то... поцелуйтесь хоть — я отвернусь.— Пашка улыбнулся.

Женщина засмеялась.

— Нет, правда, сколько?

— Да нисколько! — заорал Пашка.— Кошмар с этими... культурными. Другая давно бы уж поняла.

Женщина пошла к мужу.

Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать:

— Почему все-таки одна приехала? Я же писал: не садись одна с шофером. Писал?

— А что тут особенного? — тоже негромко возразила женщина.— Он хороший парень.

— Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него, на лбу написано? Хороший... Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят...

Пашка слышал этот разговор. Злая, мстительная сила вытолкнула его из кабины.

— Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену. Быстро!

— А она что, не заплатила? Ты разве не заплатила? — Муж растерялся: глаза у Пашки были как у расшвырявшей кошки.

— Он не взял...— женщина тоже растерялась.

Пашка не смотрел на нее.

— Плати! — рявкнул он.

Муж поспешно сунулся в карман... Но тут же спохватился.

— А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?

— Два рубля.

— Что-о! Тут только пятьдесят копеек берут!

— Два рубля!!

— Олег! — сказала женщина.— Немедленно заплати ему... Заплати ему два рубля.

— Пожалуйста.— Муж отдал Пашке два рубля.

Машина рванула с места и поехала дальше.

Пашка догнал Кондрата (напарника своего).

Кондрат сидел со стариком хозяином, у которого он остановился. Старики толковали про жизнь. Хозяин рассказывал:

— Да... вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, шесть человек, а сейчас один остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде, живут, справно, а меня обида берет: для кого же я весь век горбатился, для кого дом этот строил?

— Такая уж теперь наша жизнь пошла — ничего не поделаешь.

— Жись эта меня не касается?

— Она всех касается, кум.

— Кхх!.. Мне вот надо бы крышку сейчас новую, а не могу — сил не хватает. А эта, лонись, приехал младший: поедом, говорит, тять, со мной. Продай, говорит, дом и поедом. Эх ты, говорю, сопля ты такая! Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.

— Ты зря так... Зря.

— Нет, не зря.

— Зря.

— Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.

— Я до тридцати пяти годов крестьянствовал, если хочешь знать. А опора сейчас — не дом.

— А кто же? Тилифизоры ваши? Финтифлюшки разные? Тут вошел Пашка.

— Здорово, старички!

Кондрат нахмурился.

— Подольше не мог?

— Все в порядке, дядя Кондрат.

Кондрат хочет изобразить из себя — перед хозяином — наставника строгого, как бы отца.

— Шалапутничать начинаешь, Павел. Сма-атри! Я на сколько тебя отпускал?

Пашка для приличия виновато наморщился.

Пауза.

— Чего делал-то там? — мягче спросил Кондрат.

— Лес возили.— Пашка пошел переодеваться в другую комнату.

— Посиди с нами,— пригласил хозяин.— Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.

— Некогда, братцы,— отказался Пашка.— В гости иду.

— Далеко ли? — поинтересовался Кондрат.

— К Лизуновым.

— Это кто такие?

— Тэ-э... знакомая одна...

— Расплодил ты этих знакомых!..— строго заметил Кондрат.— Переломают где-нибудь ноги-то.

— Искобелились все,— согласно проворчал хозяин.— А вот был бы при хозяйстве-то, небось не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.

— Свобода личности, чего вы хотите! — возразил Пашка.

— Избаловала вас Советская власть, избаловала. Я бы вам показал личность! Встал бы у меня в пять часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.

Тут вошла хозяйка. Закудаhtала...

— Кум! Здравствуй, кум!

— Марфынька,— заныл старик хозяин.— Однако ж где-то было ведь у нас... кхэ...

— Чего "было"? Чего закрихтел?..

— Было же где-то... Нам бы с кумом — по махонькой.

— Э-эх... Ладно, для кума...

— Давай, давай...

Лизуновы ужинали.

— Приятного аппетита! — сказал Пашка.

— Садись с нами,— пригласил хозяин.

— Спасибо.— Пашка присел на припечке.— Только что из-за стола.

Катя поспешно дохлебала, встала.

Прошли в горницу.

— Ты что?

Пашка смотрел на Катерину. Стоит — молодая еще, а уже намучилась, накричалась на своем веку, устала.

— Так... зашел попроведать.

Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.

— Опять в командировку, что ль? — Катерина угасла.

— Ага.

— Надолго?

— Да нет.

— Ну, садись.

Пашка присел на крашеный табурет.

— Как живешь-то? — спросил он.

— Ничего. Какая моя жизнь? Кукую.— Катерина тоже присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.

— Не сошлась с мужем-то?

— Не сошлась.

— Что он сейчас делает-то?

— Пьет. Что ему еще делать.

— Мдэ... На танцы пойдем вечером?

Катька удивленно посмотрела на Пашку, усмехнулась.

— Легко вам, ребятам: тридцать лет — вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.

— А тебе кто запрещает?

— Куда же я на танцы попрусь? Ты что? Совесть-то есть у меня?

— Серость,— сказал Пашка.

— Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.

— Ну, тогда я в гости приду попозже. Мм?

— Зачем?

— В гости!

— Как же ты придешь? Что, я одна, что ль?

— А чего они тебе? Ты на них — ноль внимания.

— Ноль внимания...

— Ну, выйди тогда. В садик. Попозже. Мм?

— А для чего?

Пашка ответил не сразу. Действительно — для чего?

— А я откуда знаю? Так просто. Тоскливо ж тебе одной-то. И мне тоскливо.

— Тоскливо, верно.

— Ну и вот!

— Думаешь, нам веселее будет? Вдвоем?

— Не знаю. Не ручаюсь.

— Нет, не будет нам веселее. Так это... самообман. Не будет веселее.

— Ну, ты сильно-то не унывай.

— Я и не унываю.

— Взяла бы да снова замуж вышла, раз такое дело.

Катерина усмехнулась.

— Бери. Пойду.

— Вот и выходи. Сегодня потолкуем.— Пашка сам не ждал, что так брякнет.

— Перестань ты, болтало! — рассердилась Катерина.— Зачем пришел-то?

— Некультурная ты, Катерина. Темнота.

— Ох, батюшки!.. Давно культурным-то таким стал?

— Что это, например, такое? — Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.— Для чего, спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот...— Пашка презрительно прищурился на оленя. (Олень, кстати, ему

нравился.) — Это же... пошлость! В горнице как в магазине. Мой тебе совет: выкинь все это, пока не поздно.

Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.

— Вы сами, Катька, виноваты во всем: обвиняете ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. А нет, чтобы подумать: а почему так? А потому, что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская — она, может, в десять раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай — черт не черт и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе да пройтись по улице весело, станцевать, спеть... Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать да сплетничать друг про дружку. Ммх, эти сплетни!.. — Пашка, стиснув зубы, крутнул головой. — Бросать это надо к чертовой матери — эти сплетни. Ты делай вид, что ничего не знаешь. Не твое дело, и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот она начинает тебе про своих же подружек: ля-ля-ля... Все плохие, она одна хорошая. Бросать надо эту моду.

— Ты что, с цепи сорвался? — спросила Катерина.

— Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу: “С цепи сорвался?” А ты бы сейчас спросила меня с улыбкой: “В чем дело, Павлик?”

— Пошел к дьяволу!.. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.

— А ты пересбори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала: голову кверху, грудь вперед. И улыбайся. Но громко не хохочи — это дурость. А когда ты идешь вся несчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нсту к тебе подходить.

— Ну и не подходи. Я и не прошу никого, чтобы ко мне подходили, пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты зачем приперся? Тебе чего от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю! А туда же — “некультурная”. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то?

— Никакого сдвига в человеке! — горько воскликнул Пашка. — Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо!

— Я тебе тоже на полном серьезе: пошел к черту! Культурный нашелся. Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Культурный — по чужим бабам шастать. Наверно, уж весь Чуйский тракт охватил?

— Я от тоски,— возразил Пашка.— Я нигде не могу идеал найти.

— Вот, когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны. Ясно? Выметывайся отсюда, культурный! Чего ты с некультурными разговариваешь?

— Знаешь, как я вас всех называю? — сказал Пашка.— “Дайте мужа Анне Заккео”. Мне вас всех жалко, дурочка.

— От дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то — враз жалеть перестанешь.

— Эхх,— вздохнул Пашка. И вышел.

Над деревней, в глухом теплом воздухе, висел несуетливый вечерний гомон: мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо вскрикнула гармонь и смолкла.

Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой.

Хозяин и Кондрат спали уже — “нафилософствовались” давеча.

Хозяйка ворожила на картах. И ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехали по белому свету.

— Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете — война-то будет или нет? — спросила она.

— Не будет,— уверенно сказал Пашка.— Не дадут.

— Господи, хоть бы не было. В народе тоже не слышно. А то ведь перед войной-то всякие явления бывают.

— Какие явления? — любопытствовал Пашка, попивая молоко.

— Вот перед той-то войной — явление было.

— Какое?

— А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту... А место это — как выезжать в Долину Свободы...

— Знаю,— сказал Пашка.

— Вот. Выезжает из лесочка-то, глянь: впереди баба стоит. Голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел. Останавливается. Подходит она к нему и говорит: “На, говорит, тебе двадцать рублей...”

— По новым деньгам, что ли? — встрял Пашка.

— По каким “по новым”. Дело-то до войны было, как раз перед войной.

— Так.

— "...На, говорит, тебе двадцать рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи — вишь, я голая вся". Ну, шофер что, взял. "Ладно, говорит, куплю". — "Только смотри — не забудь", — она-то ему еще раз. И ушла. В лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то...

— На автобазу.

— Ну. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его — на смех. "Пойдем, — говорят, — пропьем лучше эти деньги". Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да. А когда назад-то ехать стал — струсил. "Боюсь, — говорит, — хоть убейте". Пошел к жене, рассказал ей все. Та — ругать его. Ну, поругала, поругала, а деньги дала. Да. Купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним — чтобы убедиться: есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера поснули убойным сном. Спят, и все. Уж тот шофер, который материю-то вез, толкал их, толкал их, бил даже — ничего не помогает, спят. Делать нечего — надо ехать. Поехал. Доезжает до того места — баба ждет его. "Купил?" — спрашивает. "Купил". — "Спасибо". Взяла материю. А потом поглядела на шофера и спрашивает: "Ты зачем же мои деньги-то пропил?" Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: "Ну, ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял? — показывает на двух сонных. — Испугался?" Опять засмеялась и ушла в лес. Отыехал шофер с полверсты, те двое проснулись...

Пашка крепко спит.

— Спит, — сказала старуха. — Рассказывай им.

...Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в Долину Свободы, глядь: впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла. А сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина — а это Настя Платонова.

— Здравствуй, Павлик.

Пашка очень удивился.

— Ты чего тут?

А она ему грустно:

— Да вот тебя жду.

— Что, опять с инженером поругались?

— Нет, Павлик. На вот тебе двадцать рублей, купи мне белой материи на платье — вишь, я какая. — А сама смотрит, смотрит на Пашку.

— А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж вы...
— Павел! А Павел, — будит старушка Пашку.— Павел!..
Пашка проснулся.
— Я что, заснул, что ли?
— Заснул.
— Ох ты... фу! А чем кончилась история-то?
— А-а, интересно?
— Привез он ей материи-то?
— Привез. Привез, отдал ей, а она спрашивает: “Зачем же ты,— говорит,— мои деньги-то пропил?..”
— Так откуда она узнала, что он деньги-то пропил?
— Так разве ж это простая баба была! — изумилась старушка.— Это же смерть по земле ходила — саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, она, матушка, ходила...
Пашка откровенно зевнул.
— Ну-ка, ложись спать,— спохватилась старушка.— Вам завтра вставать рано.
Пашка лег и сразу уснул.
И опять звонкое синее утро.
Выехали с проселка на тракт две машины — Кондрат и Пашка.
Кондрат — впереди.
Едут.
Кондрат задумчив.
Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту.
Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано.
Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка — тоже.
Вышли из кабин, прихватив каждый по бутылке пива из-под сидений.
Пошли к камню.
На камне написано: “Тут погиб Иван Перетягин. 4.5.62г.”.
Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки (вокруг камня много валяется бутылок из-под пива), отпили.
— Сколько ему лет было? — спросил Пашка.
— Ивану? Лет тридцать пять — тридцать восемь. Хороший был парень.
Пауза.
Еще отпили из бутылки.
Молчат. Долго молчат. Думают.

— Слышь, Павел,— сказал Кондрат,— помнишь, ты говорил насчет этой...

— Тетки Анисьи?

— Ну.

— Надумал?

— Черт ее знает...— Кондрат мучительно сморщился.— Не знаю. Колебаюсь.

— А чего тут колебаться? Сейчас заедем к ней и потолкуем. Сколько бобылем-то жить!

— Надоело, вообще-то...

— А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, с ходу фотографируюсь. А у тетки Анисьи и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду, в баню с тобой ходить будем, пузырек раздавим после баньки... Благодать!

Кондрат задумчиво, можно сказать, мечтательно улыбается. Но сдержанно.

— Ты хорошо ее знаешь?

— Два года к ней заезжаю.

— А вдруг она скажет: "Вы что!"

— Да она мне все уши прожужжала: "Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого, пускай, мол, здесь живет... Вдвоем-то легче".

— Да?

— Конечно! Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная... Ты там будешь сыт, пьян и нос в табаке.

— Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы ж зарабатываем как-никак. Потом... на книжке у меня малость имеется... Так что...

— Вы будете как у Христа за пазухой жить!

— Черт ее...— Кондрат опять мечтательно улынулся.— Охота, действительно, так вот приехать, натопить баню, попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.

— Что ты! — воскликнул Пашка, поддакивая.

— Разбередил мне вчера душу этот кум, язви его. В деревне ведь... это... хорошо! Встанешь чуть свет — еще петухи не орали, идешь на речку... Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь: "Спите, спите — проспите все царство небесное: красота ж вокруг!" А от речки туман подымается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку...

— Можно с мотором!

— Можно, ага.

— Я бы приехал к тебе в гости, мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли, а вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили...

Кондрат улыбается.

— Ага, я тоже люблю на островах. Ночь, тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.

— А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. Я тоже думать люблю.

— Речка шумит в камушках.

— Можно баб с собой взять!

— Нет, баб лучше не надо, они воды боятся, визжат,— возразил Кондрат.

— Вообще — правильно,— легко согласился Пашка.— И насчет пузырька — не дадут.

Тетка Анисья, женщина лет под пятьдесят, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе — одернула, поправила, подвинула... И села к столу как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:

— Пашка-то... правда, однако, кого-то привез.

Пашка вошел солидный.

— Здорово ночевала, тетка Анисья! — сказал.

— Здравсте,— скромно буркнул Кондрат.

— Здравсте, здравсте,— приветливо откликнулась тетка Анисья, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.— Давно чего-то не заезжал, Паша.

— Не случилось все... кхм! Вот познакомься, тетка Анисья. Это мой товарищ — Кондрат Степанович.

— Мгм.— Тетка Анисья кивнула головкой и собрала губы в комочек. (Очень приятно, мол.) А Кондрат осторожно кашлянул в ладонь.

— Вот, значит, приехали мы...— продолжал Пашка, но тетка Анисья и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело...— Заехали, значит, к тебе отдохнуть малость,— сполз Пашка с торжественного тона.

— Милости просим, милости просим,— застрекотала Анисья.— Может, чайку?

— Можно,— разрешил Пашка.

Анисья начала ставить самовар.

Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял: отчего? Оттого ли,

что не нравится “невеста”, или оттого, что он неумело взялся за дело?

— Как живешь, тетка Анисья?

— Живем, Паша... ничего вроде бы.

— Одной-то небось тяжело? — издали начал Пашка.

— Хе-хе,— неловко посмеялась Анисья.— Знамо дело.

Кондрат опять сморщился.

Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: “Что?”

Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился: как ни начни, все не нравится.

— Самогон есть, тетка Анисья? — пошел он напрямик.

Кондрат удовлетворенно кивнул головой.

— Да вроде был где-то. Вы с машинами-то... ничего?

— Ничего. Мы по маленькой.

Анисья вышла в сенцы. И, как по команде, сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.

— В чем дело, дядя Кондрат?

— Что ж ты сразу наобум Лазаря начинаешь? Ты... давай посидим, по...

— Да чего с ней сидеть-то?

— Тьфу!.. Ну кто же так делает, Павел? Ты... давай посидим...

— А вообще-то, как она тебе? Ни...

Вошла Анисья.

— Вёдро-то какое стоит! Благодать господня. В огороде так и прет, так и прет все.— Анисья поставила на стол графин с самогоном.

— Прет, говоришь? — переспросил Пашка, трогая графин.

— Прет, прямо сердце радуется.

— Садись, дядя Кондрат.

— Садитесь, садитесь... Давайте к столу. У меня, правда, на стол-то шибко нечего выставить.

— Ничего-о,— сказал Кондрат.— Что мы сюда, пировать приехали?

— Счас огурчиков вам порежу, капустки...— хлопотала Анисья, сама все нет-нет да глянет на Кондрата.

— Значит хорошо живешь, тетя Анисья? — опять спросил Пашка.— Здоровьишко как?

— Бог милует, Паша.

— Самое главное. Так... Ну что, дядя Кондрат?... Сфотографируем по стаканчику?

— По стаканчику — это много,— рассудил Кондрат.

Анисья поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины. Присела с краешку сама.

— Тебе налить, тетка Анисья?

— Немного!.. С наперсток!

Пашка разлил по стаканам.

— Ну... радехоньки будем!

Выпили.

Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.

— Замуж-то собираешься выходить, тетка Анисья? — ляпнул Пашка.

Анисья даже слегка покраснела.

— Господи-батюшки!.. Да ты что это, Павел? Ты с чего это взял-то?

Теперь Пашка очень удивился.

— Привет! Так ты же сама говорила мне!

Кондрат готов был сквозь землю провалиться.

— Ну и балаболка ты, Павел, — сказал он с укоризной. — Ешь лучше.

— Желтмены! — воскликнул Пашка. — Я вас не понимаю! Мы же зачем приехали?

— Тьфу! — Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисью.

Анисье тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.

— Матушки мои! Свины-то! Свины-то! В огороде! — И вылетела из избы.

— Все! — Кондрат встал и бросил на стол вилку. — Поехали! Не могу больше: со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?

— Спокойно, дядя Кондрат! — невозмутимо сказал Пашка. — Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем три дня сидеть и ничего не добьемся. Надо с ходу делать нокаут. Понял?

— Да что же ты меня позоришь-то так на старости лет! Вить мне не тридцать, чтобы нокауты твои дурацкие делать.

— Ничего, — успокоил Пашка, — сперва неловко, потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще по махонькой. Что тут позорного? Ты говоришь “позор”. Мы же не ворует.

— По-другому как-то делают люди... Язви ее, прямо хоть со стула падай.

— Глянется она тебе?
— Да ничего вроде... — Кондрат сел опять к столу. — Живая вроде бабенка.
— Все! — Пашка сделал жест рукой. — Наша будет!
— Но ты все-таки полегче, Павел, ну ты к шутам.
— А ты посмеивайся надо мной, — посоветовал Пашка. — Вроде бы я — дурачок. А с дурачка взятки гладки.
— Ну а как она-то? Как думаешь? Может, возьмет потом да скажет: “Вы что?”
— О-о, мне эти фраера! — изумился Пашка. — Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
— Ты хаханьки тут не разводи! — разозлился Кондрат. — Тебя дело спрашивают.
— А что ты спрашиваешь, я никак не пойму?
— Вот мы ей сейчас скажем, что... это... ну, мол, согласная? А она возьмет да скажет: “Вы что”. Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?
— О-о, — застонал Пашка, — о наивняк! Ты же совсем не знаешь женщин! Женщины — это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин.
— Хватит “хлопать”, а то нахлопаешься.
— Начнем со свиней, — заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе — ему так легче было подыскивать нужные слова. — Вот она сейчас побежала выгонять свиней. Так?
— Ну.
— Вопрос: каких свиней?
— Не выпендривайся, Пашка.
— Нет, нет, каких свиней?
— Ну... обыкновенных... белых. Грязные они бывают... Пошел ты к черту! Дурака ломает тут...
— Стопинг! Мы пришли к главному: она побежала выгонять свиней, а... что?
— Что?
— Вопрос: она побежала...
— Тьфу! Трепач! Пирамидон проклятый!
— Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету! — Пашка торжественно поднял руку. — Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала: “Что ты, Паша, я не собираюсь замуж”. Потому что она мне самому говорила: “Найди, — мол, — какого-нибудь пожилого”. А когда я, как желтмен, привез ей пожилого, она

начинает ломаться, потому что она — женщина, хоть и старая. Женщина — это стартер: когда-нибудь да подведет.

— Ни хрена ты сам не знаешь — трепешься только.

— Я? Не знаю?

— Не знаешь.

— Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу: “Мужчина и женщина”. И там есть целая глава: “Отношения полов среди отдельных наций”. И там написано, что даже индусы, например...

Вошла Анисья. Пожаловалась:

— Ограда вся прохудилась — свиньи так и прут, так и прут в огород. Наказание господнее.

Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.

— Тетка Анисья...

— Аиньки, Паша.

— Выйдем с тобой на пару слов...

— Хе-хе,— посмеялась Анисья,— чудной ты парень, ей-богу. Ну пойдем, пойдем...

Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку.

Вошел Пашка.

— Дядя Кондрат, мы в полном порядке. Первое: она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе: я сейчас поеду, а вы останетесь тут... Потолкуйте. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге — подшиппники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье: налей мне семьдесят пять грамм, и я поеду.

— Ты ничего тут не... это... не придумал? — спросил Кондрат.

— Нет, нет.

— Что-то мне... страшновато, Павел,— признался Кондрат.— Войдет, а чего я ей скажу?

— Она сама чего-нибудь скажет. Наливай ноль семьдесят пять килограмма...

— Пить хватит — поедешь.

Пашка подумал и согласился.

— Правильно. Мы лучше в совхозе навестаем.

— Боязно мне, Пашка,— опять сказал Кондрат,— не по себе как-то.

— В общем, я поехал. Гудбай! — Пашка решительно вышел.

Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.

— Вёдро-то какое стоит! Благодать господня! — заговорила она.

— Да-а,— согласился Кондрат.— Погода прямо как на заказ.

На хмелесовхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель... Потом нашел директора.

— А где другой? — спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.

— У него подшпишники поплавились — меняет,— сказал Пашка.

— А ты шибко устал?

— Нет. А что?

— Надо бы поехать на нефтебазу — горючее получить. Я свои машины все раскидал, а у нас горючее кончается...

— Сфотографировано,— сказал Пашка.

— Что? — не понял директор.

— Будет сделано.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище — целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, квадратные.

Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, почему,— низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы...

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давайте брезент! Э-э!..— заорал он.— Куда вы?! Успеем же!.. Э-э!

— Бежи — сейчас рванет! Бежи, дура толстая! — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.

— Сча-ас... Ох и будет! — слышался сзади чей-то голос.

— Добра пропадет сколько! — ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

— Давайте брезент! — непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

— Уходи! — опять крикнули ему.— Вот ишак. Что тут брезентом сделаешь? “Брезент”...

Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, “воткнул” скорость — человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

...Река была в полукилометре от хранилища! Пашка правил туда, к реке.

Машина летела по дороге, ревела... Горящие бочки грохотали в кузове, Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал...

В палате, куда попал Пашка, лежало еще человек семь. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги.

Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу.

Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.

— Сколько лежать-то придется? — спросил толстый.

— Не знаю. С месяц, наверно, — ответил Пашка.

— Перелом бедренной кости? — спросил один белобры-
ый паренек (он лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно,

долго, озверел и был каждой бочке затычка). — А сто суток не хочешь? Быстрые все какие...

— Ну, привет тебе от наших ребят, — продолжал толстый. — Хотели прийти сюда — не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали... — Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, расспрашивали про тебя... А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.

— Это ничего, — сказал Пашка самодовольно. — Я им тут речь скажу.

— “Речь”? Хэх!.. Ну, ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни — я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.

— Ничего.

Профорг пожал Пашке руку, сказал всем “до свидания” и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Пашку один “ходячий”, когда за профоргом закрылась дверь.

Пашка некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? — спросил он серьезно. — Должны же были по радио передавать.

— У нас наушники не работают. — Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Пашка еще немного помолчал. И ляпнул:

— Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха! — Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, — как будто он несколько не сомневался в этом.

— Врешь ведь? — негромко сказал белобрысый.

— Не веришь, не верь, — сказал Пашка. — Какой мне смысл врать?

— Ну и как же ты?

— Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с “самолетом”.

— Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

— Трепло, — сказал белобрысый разочарованно. — Я ду мал — правда.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил “ходячий”.

— Затяжным.

— А кто это к тебе приходил сейчас? — спросил человек с “самолетом”. — По моему, я его где-то...

Тут в палату вошли старичок доктор с сестрами и с ними — молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере — “странная и прекрасная”.

Доктор подвел девушку к Пашке.

— Вот ваш герой. Прошу любить.

— Вы будете товарищ Колокольников?

— Я, — ответил Пашка и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! — воскликнула девушка, подходя к Пашкиной койке. — Я вот здесь присяду немножко. Можно?

— Боже мой! — сказал Пашка и опять попытался сдвинуться на койке.

Девушка села на краешек белой плоской койки.

— Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Пашка и мельком глянул на белобрысого.

Тот начал теперь икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— Железно, — сказал Пашка.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

— Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

— Значит, так... — начал Пашка, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Да.

— Ну... хорошо... Я могу потом записать. В другой раз.

— Значит, так: родом я из Суртайки — семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.

— Я из Ленинграда. А что?

— Видите ли, в чем дело,— заговорил Пашка,— я вам могу сказать следующее...

Белобрысый неудержимо икал.

— Выпей воды! — обозлился Пашка.

— Я только что пил — не помогает,— сказал белобрысый, сконфузившись.

— Значит, так...— продолжал Пашка, затягиваясь папироской.— О чем мы с вами говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь,— сказал Пашка (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов).— Мне трудно говорить.

— Вот уж никогда бы не думала! — воскликнула девушка.— Неужели вести горящую машину легче?

— Видите ли...— опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил: — Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми. “Вон,— скажут,— герой пошел!” Народ же знаете какой... Или — ничего, можно?

Девушка тоже засмеялась... А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.

— Нет, это ничего, можно.

Пашка приободрился.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка растерялась.

— Нет... А, собственно, зачем вам это?

— Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.

— Что я, виноват, что ли? — сказал белобрысый и опять икнул.

Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.

— Понимаете... я должна этот материал дать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?

— Так.— Пашка скис.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.

— Я понимаю.

— Где вы учились?

— В школе.

— Где, в Суртайке же?

— Так точно.

— Сколько классов кончили?

Пашка строго посмотрел на девушку.

— Пять. Не женатый. Не судился еще. Все?

— Что вас заставило броситься к горящей машине?

— Дурость.

Девушка посмотрела на Пашку.

— Конечно. Я же мог подорваться,— пояснил тот.

Девушка задумалась.

— Хорошо, я завтра приду к вам,— сказала она.— Только я не знаю... завтра приемный день?

— Приемный день в пятницу,— подсказал “ходячий”.

— А мы сделаем! — напористо заговорил Пашка.— Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.

— Приду.— Девушка улыбнулась.— Обязательно приду. Принести чего-нибудь?

— Ничего не надо! Меня профсоюз будет кормить.

— Тут хорошо кормят,— вставил белобрысый.— Я уж на что — вон какой, и то мне хватает.

— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.

— Книжку — это да, это можно. Желательно про любовь.

— Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?

Пашка мучительно задумался.

— Не знаю,— сказал он. И виновато посмотрел на девушку.— Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое...

Пашка покрутил растопыренными пальцами.

— Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше — на цистерны. Да?

— Конечно!

Девушка записала.

— А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь? — спросил вдруг Пашка.

— Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

— Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? — спросил он.

— Все, доктор, уйду. Еще два вопроса... Вас зовут Павлом?

— Колокольников Павел Егорыч.— Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.— Приди, а?

— Приду.— Девушка одобряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула: — Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

— Хорошо.— Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.

— До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи! Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Пашке.

— Как дела, герой!

— Лучше всех.

— Дай-ка твою ногу.

— Доктор, пусть она придет завтра,— попросил Пашка.

— Кто? — спросил доктор.— Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

— Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся.

— Ну, ну... Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.

— Думаешь, она придет? — спросил белобрысый Пашку.

— Придет,— уверенно сказал Пашка.— За мной не такие бегали.

— Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много,— начал рассказывать белобрысый,— так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я, говорит, не пьющий, то, се — начал влиять.

Пашка смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Слышь, друг! — окликнул его белобрысый.

— Спит,— сказал человек с “самолетом”.— Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

— Шебутной парень! — похвалил белобрысый.— В армии с такими хорошо.

Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом действительно заснул. И приснился ему такой сон.

Как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам... Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша-птичница, город-

ская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисья...
И свита вокруг Пашки — тоже из женщин.

Вошел Пашка и громко поздоровался.

Ему дружно ответили:

— Здравствуйте, товарищ генерал!

— Почему я не слышу аплодисментов? — тихо, но строго спросил Пашка-генерал у свиты. Одна из свиты угодливо пояснила:

— Дамская палата...

И она же попыталась надеть на Пашку халат.

— Не нужно, — сказал Пашка, — я стерильный.

И началось стремительное шествие генерала по палате — обход.

Первая — Катя Лизунова.

— Что болит? — спросил Пашка.

— Сердце.

— Желудочек?

Катя смотрит на Пашку как на дурака.

— Сердце!

Пашка повернулся к свите.

— Считается, что генерал — ни бум-бум в медицине. —

И снисходительно пояснил Кате: — Сердце тоже имеет несколько желудочков. Ма-аленьких.

И дальше. Дальше — корреспондентка, “странная и прекрасная”.

— Что? — ласково спросил Пашка.

— Сердце.

— Давно?

— С семнадцати лет.

— Ну, ничего, ничего...

Пашка двинулся дальше. Маша-птичница.

— Тоже сердце? — изумился Пашка.

— Сердце.

— Кошмар.

Пашка идет дальше.

Городская женщина.

Пашка демонстративно прошел мимо.

Тетя Анисья. Поет.

Пашка остановился над ней.

— И у тебя сердце?

— А что же я, хуже других, что ли? — обиделась Анисья. — Смешной ты, Павел: как напаялит человек мундир, так начинает корчить из себя...

— Выписать ей пирамидону! — приказал Пашка. — Пять-
сот грамм. Трибуну.

Принесли трибуну. Пашка взошел на нее.

— Я вам скажу небольшую речь, — начал он, но обнару-
жил непорядок. — Где графин?!

— Несут, товарищ генерал.

— Ну, что?! — Пашка обращался к женщинам, лежащим
в палате. — Допрыгались?! Докатились?! Доскакались?!..

...И тут засмеялся белобрысый. Пашка поднял голову.

— Ты чего?

Белобрысый все смеялся.

— Это он во сне, — пояснил один пожилой больной. Все
другие уже спали. Была ночь.

— Вот жеребец, — возмутился Пашка. — Здесь же боль-
ница все же.

Он лег и крепко зажмурился... И снова он на трибуне.

— На чем я остановился? — спросил он свиту.

— Вы им сказали, что они доскакались...

— Куда доскакались? — с начальственным раздражением
переспросил Пашка. — Работнички! Только форсить умеете!
И опять его разбудил смех белобрысого.

— Вот паразит, — сказал Пашка, поднимаясь. — Что он
ржет-то всю ночь?

— Выздоровливает он, — опять сказал пожилой больной.

— Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбу-
дить его, а? Сказать, что у него дом сгорел — ему тогда не
до смеха будет.

— Не надо, пусть смеется.

Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получа-
лось, не спалось.

— А вы чего не спите? — спросил он пожилого больного.

— Так... не хочется.

Помолчали.

— Вот вы принадлежите к интеллигенции, — загово-
рил он.

— Ну, допустим.

— Книжек, наверно, много прочитали. Скажите: есть на
свете счастливые люди?

— Есть.

— Нет, чтобы совсем счастливые.

— Есть.

— А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так...

— Вот хочешь, я прочитаю тебе...

— Что, письмо?

— Нет.— Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.— Сочинение одного молодого человека...

— Ну-ка, ну-ка...— Пашка приготовился слушать.

— “С утра мы пошли с пацанами в лес,— начал читать больной.— Все были почти из нашего четвертого “б”. Пошли мы сорок зорить. Ну, назорили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из второго “а” петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько выпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня: “Хорошо было в лесу?” Я сказал: “Ох, и хорошо!” Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю, чего”.

— А для чего это вы? — спросил Пашка.

— Это писал счастливый человек.

— Так какое же тут счастье-то? — изумился Пашка.

— Самое обыкновенное: человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать. И прощать умеет. И делает это от души. Это — счастье.

— Так он же маленький еще!

— Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.

— Каким?

— Добрым. Простым. Честным. Счастливых много... Ты тоже счастливый, только... учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно... А знаешь мало.

— Когда же мне учиться-то? Я же работаю.

— Вот поэтому и надо учиться.

— А вы — учитель, да?

— Учитель.

— Значит, вы счастливый, если вы учите?

— Наверно. Позови-ка сестру.

— Что, плохо?

— Нет, просто устал.

— Лиля Александровна! — позвал Пашка.

Вошла сестра и сделала учителю укол.

— Ну, вот теперь уснем,— сказал тот и выключил свет.

Пашка долго еще лежал с открытыми глазами, думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти:

— Павел, иди ко мне.

...И опять снится Пашке сон:

Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.

— Здравствуй, Павел.

— Здравствуй.

— Как живешь?

— Ничего.

— Идеал-то не нашел еще?

Пашка усмехнулся.

— Нет.

— Помнишь сказку? — спросила вдруг Настя. — Бабушка тебе рассказывала...

— Про голую бабу, что ли?

— Да.

— Помню.

— Так вот, ты не верь: это не смерть была, это любовь по земле ходит.

— Как это?

— Любовь. Ходит по земле.

— А чего она ходит?

— Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.

— Она, что, тоже голая?

— Она красивая-красивая.

— Хоть бы разок увидеть ее.

— Увидишь. Она придет к тебе.

— А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?

— Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.

— И опять: если я буду сидеть и ждать...

— Зачем же ждать, — перебивает его Настя. — Надо искать. Надо все время искать, Павел.

— Так вот я ищу. Но я же хочу идеал!

Опять засмеялся белобрысый. Пашка проснулся.

Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате. И вдруг ему показалось...

— Братцы! — заорал он.

Повскакали больные.

— Ты чего, Пашка? — спросил белобрысый.

Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.

— Няня! — рявкнул белобрысый.

Учитель приподнялся.

— Что такое? В чем дело?

Все смотрят на него.

— Что случилось-то?

Пашка негромко засмеялся.

— А мне показалось, ты помер, — сказал он простодушно.

Учитель досадливо сморщился.

— Первую ночь спокойно уснул... Надо же!

Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.

— Значит, будем жить, — сказал он, отвечая своим мыслям.

А за окнами больницы — большой ясный день. Большая милая жизнь...

ВАШ СЫН И БРАТ

...И вот пришла весна. Обычная — добрая и бестолковая, как незрелая девка.

В переулках на селе — грязь в колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из Заготскота, то и останется он у него в руках, ибо дяди из Заготскота все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов матерятся на чем свет стоит.

— Тебе, паразит, жалко сапоги измарать, а я должен каждую весну плетень починять?!

— Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

— А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай...

— А, тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега.

А в тополях у речки, что-то звонко лопаются с тихим ликующим звуком: “Пи-у”.

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дрсеву; а на изгибах речных льдины вылезают ноздреватыми синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать.

Малый сырой ветерок кружится и кружит голову... Остро пахнет навозом, гнилым мокрым деревом и талой землей.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потекут семейные чугуны с варевом. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе... Прожит еще один день.

Вполсилы ведутся неторопливые необязательные разговоры — завтра будет еще день и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить всласть, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем — что, может, жизнь — судьба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной — малость лучше?... А в общем-то, и так ничего — хорошо. Особенно весной.

Степан

В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Воеводин Степан.

Пришел он с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, и вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Он долго сидел так и смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне — тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывшими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай шурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Но... Не узнал?

— Хот!.. Язви ты... Я уж думал — почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу... Обнялись, чмокнулись пару раз.

— Пришел?

— Ага.

— Что-то раньше? Мы осенью ждали.

— Отработал... отпустили.

— Хот... язви ты! — Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать.

— А Борзя-то живой ишо,— сказал он.

— Но? — удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Он тоже рад был видеть отца.— А где он?

— А шалается где-нибудь. Этта, в субботу вывесили бабы бельишко сушить — все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

— Шалавый дурак.

— Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь — обидишься...

Присели на верстак, закурили.

— Наши здоровы? — спросил Степан.— Пишут ребята?

— Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

— А ничо, хорошо. Работали. Ребята-то как?..

— Да редко пишут. Ничо вроде... Игнат хвалится. А Максим — на стройке. Ты-то в шахтах, наверно, робил?

— Нет, зачем: лес валили.

— Ну да.— Ермолай понимающе кивнул головой.— Дурь-то вся вышла?

— Та-а...— Степан поморщился.— Не в этом дело.

— Ты вот, Степка...— Ермолай погрозил согнутым прокурненным пальцем.— Ты теперь понял: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться.

— Не в этом дело,— опять сказал Степан.

В завозне быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой...

Степан встал с верстака, затоптал окурок... Поднял свой хилый вещмешок.

— Пошли в дом, покажемся.

— Немая-то наша,— заговорил отец, поднимаясь,— чуть замуж не вышла.— Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

— Но! — удивился Степан.

— Смех и грех...

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

— Приходит один раз из клуба и мычит мне: мол, жениха приведу. Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

— Может, зря?

— Что “зря”? “Зря”... Обмануть надумал какой-то — полегче выбрал. Кому она, к черту, нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу...

— Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама “невеста” — крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула

руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрит она до слез доверчиво.

— Ма-ам, мм,— мычала она и ждала, когда брат подойдет к ней, и смотрела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

— А от те “ме”, — сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. — Ждала все, крестики на стене ставила — сколько дней осталось, — пояснил он Степану. — Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, чтоб скрыть волнение, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, мычала и целовала в щеки, в лоб, в губы.

— Ладно тебе, — сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко было ему, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не мог оттолкнуть счастливую сестру.

— Ты гляди, — смущенно бормотал он. — Ну, хватит, хватит... Ну, все...

— Да пусть уж, — сказал отец и опять вытер глаза. — Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

— Ну, как живешь-то? — спросил.

Сестра показала руками — “хорошо”.

— У ей всегда хорошо, — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. — Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала.

— Господи-батюшки, отец небесный, услышал ты мои молитвы, долетели они до тебя...

Всем стало как-то не по себе и от ее причета.

— Ты, мать, и радуешься и горюешь — все одинаково, — строго заметил Ермолай. — Чо захлопала-то? Ну, пришел, теперь радоваться надо.

— Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли...

— Ну и не реви.

— Было бы у меня их двадцать, я бы не ревела. А то их всего-то трое и те разлетелись по белу свету... Каменная я, что ли?

— Дак и мне жалко! Ну и давай будем реветь по целым дням. Только и делов...

— Здоровый ли, сынок? — спросила мать. — Может, по хвори по какой раньше-то отпустили?

— Нет, все нормально. Отработал свое — отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая, гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

— А я гляну из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда — Степан...

Степан заулыбался.

— Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками соседа, трижды прильнула наголодавшимся вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

— От тебя как от печи пышет,— сказал Степан.— Замуж-то не вышла?

— Я, может, тебя ждала.— Нюра засмеялась.

— Пошла к дьяволу, Нюрка! — возревновала мать.— Не крутись тут — дай другим поговорить. Шибко тяжело было, сынок?

— Да нет,— с удовольствием стал рассказывать Степан.— Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там — в неделю два раза. А хошь, иди в Красный уголок — там тебе лекцию прочитают: “О чести и совести советского человека” или “О положении рабочего класса в странах капитала”...

— Что же, вас туда собрали кино смотреть? — спросила Нюра весело.

— Почему?.. Не только, конечно, кино...

— Воспитывают,— встрял в разговор отец.— Дуракам вправляют.

— Людей интересных много,— продолжал Степан.— Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

— А эти за что?

— Один — за какую-то аварию на фабрике, другой — за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

— Может, врет, что инженер? — усомнился отец.

— Там не совершь. Там все про всех знают.

— А кормили-то ничего? — спросила мать.

— Хорошо, всегда почти хватало.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колотнино в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

— Да нет, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы — в неделю два раза. К вам артисты

приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили “хм”, “ты гляди!”, пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

— А насчет охраны — строго?

— Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

— А бегут?

— Мало. Смысла нет.

— А вот говорят, если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

— В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то уркаганов, а нас редко.

— Вот жуликов-то, наверно, где! — воскликнул один простодушный парень. — Друг у друга воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

— Там у нас строго за это, — пояснил Степан. — Там, если кого заметят, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбежал в лавочку... Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске — праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно. И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им удовольствие доставил, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться. И чтобы им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда прибыл.

*“Прости мне, ма-ать,
За все мои поступки —
Что я порой не слушалась тебя-я!..”*

На минуту притихли было: Степана целиком захватило сильное чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

*“А я думала-а, что тюрьма д это шутка.
И этой шуткой сгубила д я себя-я!” — пел Степан.*

Песня не понравилась — не оценили полноты чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их... И саму грешницу как-то трудно было представлять.

— Блатная! — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в лагерях — сплошное жулье.— Тихо, вы!

— Чо же сынок, баб-то много сидят? — спросила мать с другого конца стола.

— Хватает. Целые лагеря есть.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там не сладко.

— И вить, дети небось пооставались!

— Детей — в приюты...

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один, изрядно подвыпивший мужичок.— Я бы им подолы на голову — и ремнем!..

— Не поможет,— заспорил с ним Ермолай.— Если ты ее выпорол — так? — она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами — она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

*“Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им...”.*

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравняться.

*“Три дня, три ноченьки старался —
Сестру из плена выруча-ал...”.*

Увлечлись песней — пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

*“Злодей пустил злодейку пулю
Уби-ил красавицу сестру-у.*

*Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть:
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-я!..*

Степан крепко припечатал кулак в столешницу, заматерился с удовольствием.

— Ты меня не любишь, не жалеешь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь — кто-то предусмотрительный смотал за гармонистом. Взревели... Песня погибла. Вылезли из-за стола и норовили сразу попасть в ритм "подгорной". Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли, и пошли с припевом. И немая пошла и помакивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась — она было счастлива.

— Верка! Ве-ерк! — кричал изрядно подпивший мужичок. — Ты уж тогда спой, ты спой, что же так-то ходить! — Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке — просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

— Ка-ак она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насили вот так голову-то приподняла да спрашиваю: "К худу или к добру?" А она мне в самое ухо дунула: "К добру!"

Пожилая баба покачала головой.

— К добру?

— К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

— Упредила.

— Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: "К какому же добру, думаю, мне суседка-то предсказала?" Только так подумала, а дверь-то открывается — он вот он, на пороге.

— Господи, господи, — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. — Надо же!

Бабы, плясавшие кругом, вытащили на круг Ермолая. Ермолай недолго думал, пошел выколачивать одной ногой, а второй только каблукком пристукивал... И приговаривал: "Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та..." И вколачивал, и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

— Давай, Ермил! — кричали Ермолаю. — У тебя седня радость большая — шевелись!

— Ат-та, оп-па, — приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он плясал — слегка согбавившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести — долго ждал этого дня, без малого три года.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь...

— Давай, тять...

— Давай — батя с сыном! Шевелитесь!

— А Степка-то не изработался — взбрыкивает!

— Он же говорит — им там хорошо было. Жрать давали...

— Там дадут — догонят да еще дадут.

— Ат-та, оп-па!.. — приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну...

*“Люблю сани с подрезами,
Воронка — за высоту,
Люблю милку за походку.
А еще — за красоту!” —*

вспоминал Ермолай из далекой молодости.

И Степан тоже спел:

*“Это чей же паренек
Выделяет колена;
Ох, не попало бы ему
Березовым поленом”.*

Плясать оба не умели, но работали ладно — старались. Людям это нравится; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверное, явиться Степану в сельсовет — оформлять всякие бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормозить отца. Тот спьяну отмахнулся.

— Отстань, ну ты! Пляши вон.

Участковый вышел со Степаном за ворота, остановился.
— Ты что, одурел, парень? — спросил он, глядя в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся.

— Чудно?.. Ничего...

— Тебе же три месяца сидеть осталось!

— Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папироску, закурил сам.

— Пошли.

— Пошли.

— Может, скажешь дома-то? А то хватятся...

— Сегодня не надо — пусть погуляют. Завтра скажешь.

— Три месяца не досидеть и сбежать!.. — опять изумился милиционер. — Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагнул, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

— А?

— Чего?

— Зачем ты это сделал-то?

— Сбежал-то? А вот — пройтись разок... Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось! — почти закричал участковый. — А теперь еще пару лет накинута.

— Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

— Нда... — раздумчиво сказал участковый.

Долго они шли молча, почти до самого сельсовета.

— И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

— Трое.

— А те где?

— Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

— И сколько же ты добирался?

— Неделю.

— Тыфу... Ну, черт с тобой — сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан сидел у стола, напротив, задумчиво смотрел в темное окно. Хмель покинула его голову.

— Оружия никакого нет? — спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

— Сроду никакой гадости не таскал с собой.

— Чем же ты питался в дороге?

— Они запаслись... те двое-то...

— А им по сколько оставалось?

— По много...

— Но им хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул? — в последний раз поинтересовался милиционер.

— Ладно, надоело! — обозлился Степан. — Делай свое дело, я тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

— Я думал, ошибка какая-нибудь — не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

— Небось смеялись над тобой те двое-то? — не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что — дурак. — И ушел окончательно в протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

— Мэ-мм? — спросила она брата.

Степан растерялся.

— Ты зачем сюда?

— Мэ-мм? — замычала сестра, показывая на милиционера.

— Это сестра, что ли? — спросил тот.

— Но...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: "Ты зачем увел его?"

Участковый понял.

— Он... Он! — показал на Степана. — Сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. — Участковый показал на окно и "показал", как сбегают. — Нормальные люди в дверь выходят, в дверь! А он в окно — раз и ушел. И теперь ему будет... — Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. — Теперь ему опять вот эта штука будет! Два, — растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. — Два года еще!

Немая стала понимать. И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милици-

онер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер — тоже смотрел на сестру.

— Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди... Братья ваши небось не сделали бы так.

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее.

— Убери ее,— хрипло попросил Степан.— Убери!

— Как я ее убери?..

— Убери, гад! — заорал Степан не своим голосом.— Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

— Скажи, что ты обманул ее, пошутил... Убери ее!

— Черт вас!.. Возись тут с вами...— ругался милиционер, оттаскивая немую к двери.— Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! — пытался он втолковать ей.— Счас он придет! — Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть.— Ну, здоровá! — Он закрыл дверь на крючок.— Фу-у... Вот каких делов ты натворил — любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку — в пол.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

— Вызываю машину — поедem в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне, серединой улицы, шла, спотыкаясь, немая и горько мычала — плакала.

Летит степью паровоз. Ревет.

Деревеньки мелькают, озера, перелески... Велика Русь.

Максим

Максиму Воеводину пришло в общежитие письмо. От матери.

Через поля, через леса, через реки широкие долетел родной голос, нашел в громадном городе.

— Максим! Письмо...

Максим присел на кровати, разорвал конверт и стал читать.

В шуме и гаме большой людной комнаты рабочего общежития зазвучал голос матери:

— Здорово, сынок Максим!

Во первых строках нашего письма сообщаем, что мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Стретили на днях Степана. Ничто пришел, справный. Ну, выпили маленько. Верка тоже ничто — здоровая. А отец прихваривает, перемогается. А я, сынок, шибко хвораю. Разломило всю спинушку, и ногу к затылку подводит — радикулит, гад такой. Посоветовали мне тут змеиным ядом, а у нас его нету. Походи, сынок, по аптекам, поспрашивай, можа, у вас есть там. Криком кричу — больно. Походи, сынок, не поленись... Игнату тоже написать хотела, а он прислал письмо, что уедет куда-то. А жене его не хочу писать — скажет: пристают. Он чо-то обижается на тебя, сынок. Не слушается, говорит. Вы уж там поспокойней живите-то, не смешите людей — не чужие небось... Походи, сынок, милый, поспрашивай яду-то. Может, поправилась бы я...

Максим склонился головой на руки, задумался. Заболело сердце — жалко стало мать. Он подумал, что зря он так редко писал матери, вообще почувствовал гнетущую свою вину перед ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время, она перестала сниться ночами... И вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда.

Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и пошел в ближайшую аптеку.

В аптеке было мало народа. Максим выбрал за прилавком молодую хорошенькую девушку, подошел к ней.

— У вас змеиный яд есть?

Девушка считала какие-то порошки. Приостановилась на секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтобы не сбиться, мельком глянула на Максима, сказала "нет" и снова принялась считать. Максим постоял немного, хотел спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не спросил — девушка была очень занята.

В следующей аптеке произошел такой разговор:

— У вас есть змеиный яд?

— Нет.

— А бывает?

— Бывает, но редко.

— А может, вы знаете, где его можно достать?

— Нет, я не знаю, где его можно достать.

Отвечала сухопарая женщина лет сорока, с острым носом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до того тонкая и белая, что, кажется, сквозь нее просвечивала кость. Максиму показалось, что женщине доставляет удовольствие отвечать "нет" и "не знаю". Он уставился на нее.

— Что? — спросила она.

— А где же он бывает-то? Неужели в целом городе нет?!

— Не знаю, — опять с каким-то странным удовольствием сказала женщина.

Максимом стала овладевать злость. Он не двигался с места.

— Еще что? — спросила женщина. Они были в стороне от других, разговор их никто не слышал.

— А отчего вы такая худая? — спросил Максим. Он сам не знал, что так спросит, и не знал, зачем спросил, — вылетело. Очень уж недобрая была женщина.

Женщина от неожиданности заморгала глазами.

Максим повернулся и пошел из аптеки.

“Что же делать”, — думал он.

Аптека следовала за аптекой, разные люди отвечали одинаково: “Нет”, “Нету”.

В одной аптеке Максим увидел за стеклянным прилавком парня.

— Нет, — сказал парень.

— Слушай, а как он называется по-научному? — спросил Максим.

Парень решил почему-то, что и ему пришла пора показывать себя “шибко умным”, — застоялся, наверное, на одном месте.

— По научному-то? — переспросил он, улыбаясь. — А как в рецепте написано? Как написано, так и называется.

— У меня нет рецепта.

— А что же вы тогда спрашиваете? Так ведь и живую воду можно спрашивать.

— А что, не дадут без рецепта? — негромко спросил Максим, чувствуя, что его начинает слегка трясти.

— Нет, молодой человек, не дадут.

Это снисходительное “молодой человек” доконало Максима.

— До чего же ты умница! — тихо воскликнул он. — Это же надо такому уродиться!.. — Максим, должно быть, изменился в лице, ибо парень перестал улыбаться.

— Что вы хотите? — серьезно спросил он.

— Хочу тебе клизму поставить, молодой человек.

— Что вам надо?! — опять очень громко спросил парень, явно желая привлечь внимание других людей в аптеке.

Максим вышел на улицу, закурил. В душу вкралось отчаяние.

В одной очень большой аптеке Максим решительно направился к пышной, красивой женщине. Она выглядела приветливее других.

— Мне нужен змеинный яд, — сказал он.

— Нету, — ответствовала женщина.

— Тогда позовите вашего начальника.

Женщина удивленно посмотрела на него.

— Зачем?

— Я с ним потолкую.

— Не буду я его звать — незачем. Он вам не сможет помочь. Нет у нас такого лекарства.

Максим засмотрелся в ее ясные глаза. Ему захотелось вдруг обидеть женщину, сказать в ее лицо какую-нибудь тяжкую грубость, чтобы ясные глаза ее помутились от ужаса. И не то вконец обозлило Максима, что яда опять нет, а то, с какой легкостью, отвратительно просто все они отвечают это свое “нет”.

— Позовите начальника! — потребовал Максим.

И тут, вместо того, чтобы грубо оскорбить женщину, Максим жалобным голосом вдруг сказал:

— У меня мать болеет.

Женщина оставила официальный тон.

— Ну нет у нас сейчас змеиноного яда, я серьезно говорю. Я могу дать вам пчелиный. У нее что, радикулит?

— Ага.

— Возьмите пчелиный. Змеинный не всегда и иужен.

— Давайте. — Максиму было стыдно за свой жалобный тон. — Он тоже помогает?

— У вас рецепт есть?

— Нету.

— А как же?..

— Что?

— Без рецепта нельзя, не могу.

У Максима упало сердце.

— Это такой ма-аленький рецептик, да? Бумажечка такая...

Женщина невольно улыбнулась.

— Да, да. Рецепт выписывает врач, а мы...

— Дайте мне так, а... А я завтра принесу вам рецепт. Дайте, а?

— Не могу, молодой человек, не могу.

На улице Максим долго соображал, что делать. Даже если он и наткнется где-нибудь на змеинный яд, то без

рецепта все равно не дадут. Это ясно. Надо сперва добыть рецепт.

По дороге домой зашел на почту и дал матери телеграмму: "А пчелиный яд надо? Максим".

Долго в ту ночь не мог заснуть Максим — думал о матери. Представил вдруг ее мертвой, да так ясно — гроб на столе, белая простыня, руки белые на груди... Он вскочил и сидя выкурил подряд две сигареты. Кое-как отвязался от страшного наваждения.

Занималось утро. Спокойно, все шире и вольнее растекался над городом свет, и как-то ближе и роднее стали казаться люди, которых очень много в этих каменных домах... И все-таки никому нет никакого дела, что у Максима болеет мать.

Он оделся и пошел на вокзал — к людям.

На вокзале выбрал себе местечко на диване, сел и стал наблюдать за пассажирами. И самому тоже захотелось вдруг ехать. И показалось, что он едет. За окном — поля, леса, деревеньки, все мелькает. А в деревнях — тоже люди. И так хорошо сделалось на душе, спокойно.

...Неожиданно прямо перед собой Максим увидел стеклянную дверь, завешенную изнутри марлей, а над дверью — табличка: "Медпункт". Он встал и пошел туда.

На белом стульчике, за белым столом, облокотившись, сидела белая старушка и дремала. Когда вошел Максим, она подняла голову.

— Здравствуйте,— сказал Максим.

— Ну,— ответила старушка.— Чего?

— Мне рецепт надо.

— Какой рецепт?

— На змеинный яд.

Старушка не поняла.

— На какой змеинный яд?

Максима толкнула в грудь надежда: старушка хочет спать и, чтобы отвязаться, подмахнет рецептик.

— На змеинный яд — лекарство такое.

— Я не выписываю рецептов.

— А кто выписывает?

— Врач.

— А когда он будет?

— В девять.— Старушка начала терять терпение.— А для чего те рецепт-то?

— А вы не врач?

— В больницу надо идти за рецептом. А мы не лечим.

— Так это ж медпункт?

— Ну и что, что медпункт. Мы — по травмам. Или сердце у кого... В больницу надо идти.

— А у вас печать есть? Больничная...

Старушка рассердилась.

— Тебе чего надо-то? Что ты привязался ко мне?

— Ладно, спи.

Максим вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

В девять часов он пошел на стройку, отпросился с работы и направился в поликлинику.

В белой стеклянной стенке — окошечко, за окошечком — бела девушка. Она долго “заводила” на Максима карточку, потом подала ему талончик. Максим посмотрел — четырнадцатая очередь, на тринадцать тридцать.

— А поближе нету?

— Нет.

— Девушка, милая...— Максим почувствовал, что опять начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не мог.— Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. Пожалуйста.

Девушка не глядя на него порылась в талончиках, выбрала один, подала Максиму. И тогда только посмотрела на него. Максиму показалось, что она усмехнулась.

“Милая ты моя,— думал растроганный Максим.— Смейся, смейся — талончик-то вот он”. Его очередь была шестой, на одиннадцать часов. У кабинета врача сидело человек десять больных; Максим присел рядом с пожилым мужчиной, у которого была такая застойная тоска в глазах, что, глядя на него, невольно думалось: “Все равно порем все”.

“Прижало мужика”, — подумал Максим. И опять вспомнил о матери и стал с нетерпением ждать доктора.

Доктор пришел. Мужчина, еще молодой.

Вышла из кабинета женщина и спросила:

— У кого первая очередь?

Никто не встал.

— У меня,— сказал Максим и почувствовал, как его подняла какая-то сила и повела в кабинет.

— У вас первая очередь? — спросил его мужчина с тоской в глазах.

— Да,— твердо сказал Максим и вошел в кабинет совсем веселым и, как ему показалось, очень ловким парнем.

— Что? — спросил доктор, не глядя на него.

— Рецепт,— сказал Максим, присаживаясь к столу.

Доктор чего-то хмурился, не хотел подымать глаза.

— Какой рецепт? — Доктор все перебирал какие-то бумажки.

— На змеиный яд.

— А что болит-то? — доктор поднял глаза.

— Не у меня. У меня мать болеет, у нее радикулит. Ей врачи посоветовали змеиным ядом.

— Ну, так?..

— Ну а рецепта нету. А без рецепта, вы сами понимаете, никто не даст. — Максиму казалось, что он очень толково все объясняет. — Поэтому я прошу: дайте мне рецепт.

Доктора что-то заинтересовало в Максиме.

— А где мать живет?

— В Сибири. В деревне.

— Ну?.. И нужен, значит, рецепт?

— Нужен. — Максиму было легко с доктором: нравился ему.

Доктор посмотрел на сестру.

— Раз нужен, значит, дадим. А, Клавдия Николаевна?

— Надо дать, конечно.

Доктор выписал рецепт.

— Он ведь редко бывает, — сказал он. — Съезди в двадцать седьмую. Знаешь где? Против кинотеатра "Прибой". Там может быть.

— Спасибо. — Максим пожал руку доктору и чуть не вылетел на крыльях из кабинета — так легко и радостно сделалось.

В двадцать седьмой яда не было.

Максим подал рецепт и, затаив дыхание, смотрел на аптекаря.

— Нет, — сказал тот и качнул седой головой.

— Как "нет"?

— Так, нет.

— Так у меня же рецепт... Вот же он, рецепт... Вот же он, рецепт-то!

— Я вижу.

— Да ты что, батя? — с таким отчаянием сказал Максим. — Мне нужен этот яд.

— Так нет же его, нет — где же я его возьму? Вы же можете соображать — нет змеиного яда.

Максим вышел на улицу, прислонился спиной к стене, бессмысленно стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все шли и шли нескончаемым потоком... А Максим все смотрел и смотрел на них и никак о них не думал.

Потом еще одна мысль пришла в голову Максиму. Он резко качнулся от стены и направился к центру города, где жил его брат.

Квартира у Игната премиленькая. На стенах множество фотографий Игната; и так и эдак сидит Игнаха — самодовольный, здоровый, — напряженно улыбается.

Максима встретила жена Игната, молодая крутая женщина с красивым, ничего не выражающим лицом. Привстала с тахты...

— Здравствуй, Тамара, — поздоровался Максим.

— Здравствуй.

Максим сел в кресло, на краешек.

— Ты что, не работаешь сегодня? — спросила Тамара.

— Отпросился, — откликнулся Максим, доставая сигареты. — Можно я закурую?

— Кури, я сейчас окно открою.

С улицы в затхленький уют квартиры ворвался шум города.

Максим склонился руками на колени.

— Ты чего такой? Заболел?

— Нет. — Максим распрямился. — У тебя знакомых антекерей нет? Или врач, может?..

— Н-нет... А зачем тебе?

— Мать у нас захворала. Надо бы змеинный яд достать, а сго нигде нету. Весь город обошел — нигде нету.

— А што с ней?

— Радикулит, гад такой.

— Нет у меня таких знакомых. Может, у Игната?..

— Он скоро приедет?

— А он не уезжал никуда.

— Как?.. А мне мать написала...

— Они хотели ехать... в Болгарию, кажется, а потом отменили. Он там сейчас — в цирке.

— Я тогда пройду к нему. — Максим встал.

— Ты что-то не заходишь к нам?..

— Да все некогда... Ну, пока.

— Господи, Максим!.. Я совсем забыла сказать: мы же завтра домой едем. Туда — к вам.

— Да?

— Конечно.

Максим долго стоял в дверях, смотрел на Тамару.

— У нас Степан пришел, — к чему-то сказал он.

— Это который в тюрьме был?

Максим улыбнулся.

- Он один у нас...
- Ну, да, я понимаю. Он пришел, да?
- Ага, пришел. А вы когда едете?
- В восемь, кажется.
- Я, наверно, успею проводить.
- Приходи, конечно, — разрешила Тамара.
- Ну, пока — до завтра.
- До свиданья.

Игнат

Вахтер в цирке поднялся навстречу Максиму.

- Вам к кому?
- К Воеводу Игнату.
- У них репетиция идет.
- Ну и что?
- Репетиция!.. Как “что”? — вахтер вознамерился не впускать.

— Да пошли вы! — обозлился Максим, легко отстранил старика и прошел внутрь.

Прошел пустым, гулким залом.

На арене, посредине, стоял здоровенный дядя, а на нем, одна на другой, — изящные, как куколки, молодые женщины.

— Але! — возгласил дядя. Самая маленькая женщина на самом верху встала на руки. — Гоп! — приказал дядя. Маленькая женщина скользнула вниз головой.

Максим замер.

Дядя поймал женщину. И тут с него посыпались все остальные.

Максим подошел к человеку, который бросал в стороне тарелки.

— Как бы мне Воеводина тут найти?

Человек поймал все тарелки.

— Что?

— Мне Воеводина надо найти.

— На втором этаже. А зачем?

— Так... Он брат мой.

— Вон по той лестнице — вверх. — Человек снова запустил тарелки в воздух.

Игнат боролся с каким-то монголом. Монгол был устрашающих размеров.

— Э-ээ... Друг ситцевый! — весело орал Игнат. — У нас так не делают. Куда ты коленом-то нажал?!

— Сево? — спросил монгол.
— “Сево, сево!” — передразнил сердито Игнат. — На душу, говорю, наступил! Дай-ка я тебе разок так сделаю...

Монгол взвыл.

— А-а!.. Дошло?

Игнат слез с монгола.

— Максим!.. Здорово. Ну, иди, погуляй пока, — сказал он монголу. — Я с брательником поговорю. Здоровый, бугай, а бороться не умеет.

— Неужели ты его одолеешь! — усомнился Максим.

— Хошь, покажу?

— Да ну его. Игнат, я письмо получил из дома...

Пошли в уборную Игната.

— ...Але! — возвещает дядя на манеже. — Гоп! — Маленькая женщина опять бесстрашно скользит вниз.

Человек с испитым лицом бросает вверх тарелки и поет под нос (для ритма, должно быть):

*“...Или я не сын страны,—
Или я за рюмку водки
Не закладывал штаны...”*

Какой-то шут гороховый кричит в пустой зал:

— А чего вы смеетесь-то? Чего смеетесь-то? Тут плакать надо, а не смеяться. Во!

— Ну, как они там? Я ж еду завтра к ним! — вспомнил Игнат.

— Мать захворала...

— Но? Что с ней?

— Радикулит. Степка пришел.

— Пришел? Ну, это хорошо. А отец как? Верка...

— Игнат, надо достать змеиного яда. Матери-то. Я второй день хожу по городу — нигде нету.

— Змеиный яд... Это лекарство, что ли?

— Но.

— Тэк, тэк, тэк... — задумался Игнат. — Счас я отпущу своего чайболсана и пойдем ко мне. Попробую дозвониться до кого-нибудь.

Игнат ушел.

Максим стал рассматривать фотографии брата на стенах. Их тут было великое множество — Игнат так, Игнат эдак: сидит, стоит, борется, опять стоит и улыбается в аппарат. Лента через плечо, на ленте медали.

— ...Ну а ты как живешь? — вернулся Игнат. Стал одеваться.

— Ничо.

— Все на стройке вкалываешь?

— На стройке.

— Эхх... Максим, Максим...

— Ладно, брось про это.

— Чего "брось"-то? Чего "брось"-то? Жалко же мне тебя, дурака. Упрямый ты, Максим, а — без толку. Так и загнешься в своем общежитии!

— Загнусь — схоронишь. И все дело.

— Дело нехитрое. А ты лучше подумай — как не пропасть! Такой красивый парниина, а...

— На квартире жениться?

— Да не на квартире, а — нормально, чтобы не бегать потом друг к другу из общежития в общежитие. Что, Нинка — плохая баба?

— Для тебя, может, хорошая, для меня — нет. Вообще, не суйся в мои дела.

— Ох ты, господи!.. "Дела"... Пошли.

Опять прошли пустым залом.

— Как жизнь, Савелий Иванович? — покровительственно-снисходительно спросил Игнат у вахтера. Игната просто не узнать: в шикарном костюме, под пиджаком нарядный свитер, походка чуть вразвалочку — барин.

Вахтер заулыбался.

— Спасибо, Игнат Ермолаич. Хорошо.

— От это правильно! — похвалил Игнат.

Пошли к троллейбусу.

— Мне же тебе помочь охота, дура. Давай разберемся...

— Сам разберусь.

— Вижу, как ты разбираешься. Два года на стройке вкалывать, и все разнорабочим. Разобрался, называется, что к чему.

— Чем же моя работа хуже твоей?

— Ну, конечно, — научили. У тебя своя-то башка должна быть на плечах или нет?

Они разговаривают мирно, не привлекая ничего внимания.

Сели в троллейбус.

Игнат оторвал билеты. Сели на свободное сиденье.

— Ведь тебе уж, слава те господи, двадцать пять. А ты еще — ничем ничего: штанов лишних нету. Заколачиваешь девяносто рублей — и довольный. Устроился бы по-челове-

чески — хоть вздохнул бы маленько. А то ведь на себя не похож стал. Я ж помню, какой ты в солдатах ко мне приходил — любо поглядеть.

Сошли с троллейбуса, пошли двором к подъезду.

— Там, глядишь, курсы бы какие-нибудь кончид... Жить надо начинать, Максим. Пора.

Стали подниматься в лифте.

— Я старше вас и больше вашего хлебнул. Поэтому и говорю вам... А вы — что Степан, что ты — упретесь как бараны и ничего слушать не желаете.

Приехали.

Игнат позвонил.

Открыла Тамара.

— Цыпонька! Лапочка!.. Что же ты сидишь-то? Я думал, у тебя тут дым коромыслом. Надо ж собираться в дорогу-то!

— А у меня все собрано.

— А подарки! Верке-то надо взять чего-нибудь. Давай, давай, а то магазины закроют, останемся на бобах. Быстро! Не скупись — платье какое-нибудь.

Тамара стала одеваться.

— Вот сапоги купил тятя! — похвалился Игнат. — Глянь. Обрадуется старик. А это шаль — матери... Она здорово хворает-то?

— Лежит. Ногу, говорит, к затылку подводит.

Игнат сел к телефону. Заговорил миролюбиво:

— Я хочу, чтоб Воеводины жили не хуже других. Что, мы у бога телка съели, чтоб нам хуже других жить? Чтоб собрались мы, допустим, с тобой на праздник погулять, так не хуже разных там... Чтоб семьи были — все честь по чести. А то придешь — голодранец голодранцем, аж совестно...

— Если совестно, не якшайся, никто тебя не заставляет.

— Алё! — заговорил в трубку Игнат. — Коля? Коль... у меня мать, оказывается, приболела... Ты бы не мог там достать змеинного яда... Ага. Ну-ка, поинтересуйся. Жду. Совестно, Максим, совестно — честно тебе говорю...

Максим резко встал и пошел к выходу.

— Куда ты?

Вместо ответа Максим крепко хлопнул дверью.

Так же решительно, как шел от двадцать седьмой аптеки, Максим пошел снова туда.

Подошел к старичку аптекарю.

— Я к вашему начальнику пройду.

— Пожалуйста,— любезно сказал аптекарь.— Вон в ту дверь. Он как раз там.

Максим пошел к начальнику.

В кабинете заведующего никого не было. Была еще одна дверь, Максим толкнул в нее и ударил кого-то по спине.

— Сейчас,— сказали за дверью.

Максим сел на стул.

Вошел низенький человек, с усами, с гладко выбритыми, до сияния, жирненькими щеками, опрятный, полненький, лет сорока.

— Что у вас?

— Вот.— Максим протянул ему рецепт.

Заведующий повертел в руках рецепт.

— Не понимаю...

— Мне такое лекарство надо.— Максим поморщился — сердце защемило.

— У нас его нет.

— А мне надо. У меня мать хворает.— Максим смотрел на заведующего немигающими глазами: чувствовал, как глаза наполняются слезами.

— Но если нет, что же я могу сделать?

— А мне надо. Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу, гадов!

Заведующий улыбнулся.

— Это уже серьезнее. Придется найти.— Он сел к телефону и, набирая номер, с любопытством поглядывал на Максима. Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно. Ему было стыдно, он жалел, что сказал последнюю фразу.

— Алле! — заговорил заведующий.— Петрович? Здоров. Я это, да. Слушай, у тебя нет...— тут он сказал какое-то непонятное слово.— Нет?

У Максима сдавило сердце.

— Да нужно тут... пареньку одному... Посмотри, посмотри... Славный парень, хочется помочь.

Максим впился глазами в лицо заведующего. Заведующий беспечно вытянул губы трубочкой — ждал.

— Да? Хорошо, тогда я подожду его. Как дела-то? Мгм... Слушай, а что ты скажешь... А? Да что ты? Да ну?..

Пошел какой-то базарный треп: кто-то заворовался, кого-то сняли и хотят судить, какого-то Борис Михалыча. Максим смотрел в пол, чувствовал, что плачет, и ничего не мог сделать — плакалось. Он крепко устал за эти два дня. Он молил бога, чтобы заведующий подольше говорил,— может,

в тому времени он перестанет плакать, а то хоть сквозь землю проваливаясь со стыда. А если сейчас вытереть глаза, значит, надо пошевелиться и тогда заведующий глянет на него и увидит, что он плачет.

“Вот морда! Вот падла!” — ругал он себя. Он любил сейчас изведующего, как никого, никогда, наверное, не любил.

Заведующий положил трубку, посмотрел на Максима. Максим нахмурился, шаркнул рукавом пиджака по глазам и полез в карман за сигаретой. Заведующий ничего не сказал, написал записку, встал... Максим тоже встал.

— Вот по этому адресу... спросите Вадим Петровича. Не отчаивайтесь, поправится ваша мама.

— Спасибо,— сказал Максим. Горло заложило, и получилось, что Максим пискнул это “спасибо”. Он нагнул голову и пошел из кабинета, даже руки не подал начальнику.

“Вот теж морда!” — поносил он себя. Ему было стыдно, и он был очень благодарен начальнику.

На другой день рано утром к Максиму влетел Игнат. Внес с собой шум и прохладу политых асфальтов.

— Максим!.. Я поехал! Будешь провожать-то?..

Максим вскочил с кровати.

— Я быстро. А яд-то я достал вчера! Я сейчас...

— Давай. Только — одна нога здесь, другая там! — орал Игнат.— Пятнадцать минут осталось. Жена сейчас икру мечет в вагоне. Я тоже достал флакон.

— Она уже там, Тамара-то? — Максим прыгал по комнате на одной ноге, стараясь другой попасть в штанину.

— Там.

— Сейчас... мигом. Мы в магазин не успеем заскочить? Хотел тоже каких-нибудь подарков...

— Да ты что! — взревел Игнат.— Я что, по шпалам жену догонять буду?!

— Ладно, ладно...

Побежали вниз, в такси.

— Друг,— взмолился Игнат.— Десять минут до поезда. Жми на всю железку! Плачу в трехкратном размере.

Жена ждала Игната у вагона. Оставалось полторы минуты. Она вся изнервничалась.

— Игнат, это... это черт знает что такое,— встретила она мужа со слезами на глазах.— Я хотела чемоданы выносить.

— Порядок! — весело гудел Игнат.— Максим, пока! Крошка, цыпоська,— в вагон.

Поезд тронулся.

— Будь здоров, Максим!

Максим пошел за вагоном.

— Игнат, передай там: я, может, тоже скоро приеду! Не забудь, Игнат!

— Не-ет!

Максим остановился.

Поезд набирал ходу.

Максим опять догнал вагон и еще раз крикнул:

— Не забудь, Игнат: скажи — приеду!

— Передам!

Надо было уже бежать за вагоном.

— Игнат, скажи!..

Но Игнат уже не слышал.

Уже расходились с перрона люди.

А Максим все стоял и смотрел вслед поезду.

...Уже никого почти не осталось на перроне, а Максим все стоял. Смотрел в ту сторону, куда уехал брат. Там была Родина.

Летит степью поезд.

Кричит...

...Игнат пинком распахнул ворота, оглядел родительский двор и гаркнул весело:

— Здорово, родня!

Тамара, стоящая за ним, сказала с упреком:

— Неужели нельзя потише?.. Что за манера, Игнатий!

— Ничего-о,— загудел Игнат.— Сейчас увидишь, как обрадуются. Э-э... А дом-то новый у них! Я только сейчас заметил. Степка с отцом развернулись...

Из дома вышел Ермолай Воеводин... Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза.

— Игнаха, хрен моржовый,— сказал он и пошел навстречу Игнату.

Игнат бросил чемодан... Облапили друг друга, трижды крест-накрест — поцеловались. Ермолай опять вытер глаза.

— Как надумал-то?

— Надумал...

— Сколько уж не был! Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь?.. В спину что-то вступило...— Отец и сын

глядели друг на друга, не могли наглядеться. О Тамаре совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика.

— А это жена, что ли? — спросил наконец Ермолай.

— Жена,— спохватился Игнат.— Познакомься.

Женщина подала старику руку... Тот осторожно пожал ее.

— Тамара.

— Ничего,— сказал Ермолай, окинув оценивающим взглядом Тамару.— Красивая.

— А?! — с дурашливой гордостью воскликнул Игнат.

— Пошли в дом, чего мы стоим тут! — Ермолай первым двинулся к дому.— Степка-то наш пришел, окаянная душа.

— Как мне называть его? — тихо спросила Тамара мужа. Игнат захохотал.

— Слышь, тять!.. Не знает, как называть тебя,— сказал он.

Ермолай тихо засмеялся.

— Отцом вроде довожусь.— Он взошел на крыльцо, заорал в сенях: — Мать, кто к нам приехал-то?

В избе, на кровати, лежала мать Игната. Увидела Игната, заплакала.

— Игнаша, сынок... приехал?

Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемодан. Гулкий, сильный голос его сразу заполнил всю избу.

— Шаль тебе привез... пуховую. А тебе, тять,— сапоги. А это — Верке. А это — Степке. Все тут живы-здоровы?..

Отец с матерью, для приличия снисходительно сморщившись, с интересом наблюдали за движениями сына — он все доставал и доставал из чемодана.

— Все здоровы. Мать вон только...— Отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щипать, мять, поглаживать добротный хром.— Ничего товар... Степка износит. Мне уж теперь ни к чему такие.

— Сам будешь носить. Вот Верке еще на платье.— Игнат выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним.— Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас. Как Степка-то?

— Соскучился, так раньше бы приехал.

— Дела, тять.

— “Дела”...— Отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына.— Какие уж там дела-то!

— Ладно тебе, отец,— сказала мать.— Приехал — и то слава богу.

— Ты говоришь — какие там дела! — заговорил Игнат, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца. — Как тебе объяснить?... Вот мы, русские, — крепкий ведь народишко! Посмотришь на другого — черт его знает!.. — Игнат встал, прошелся по комнате. — Откуда что берется! В плечах — сажень, грудь как у жеребца породистого — силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, выступить где-то на соревнованиях — боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. О культуре тела — никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее.

С последними словами Игнат обратился к жене.

Тамара заскучала и стала смотреть в окно.

— ...Поэтому, тятя, как ты хошь думай, но дела у меня важные. Поважнее Степкиных.

— Ладно, — согласился отец. Он слушал невнимательно. — Мать, где там у нас?... В лавку пойду...

— погоди, — остановил его Игнат. — Зачем в лавку? Вот и эту привычку тоже надо бросать русскому народу: чуть что — сразу в лавку. — Но отец так глянул на него, что он сразу отступил, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол. — На деньги.

Отец обиженно приподнял косматые брови.

— Ты брось тут, Игнаха... Приехал в гости, — значит, сиди помалкивай. Что у нас, своих денег нету?

Игнат засмеялся.

— Ты все такой же, отец.

— Какой?

— Ну... такой же.

— Да ладно вам — сцепились. Что вас лад-то не берет? — вмешалась мать. — Иди в лавку-то. Пошел — дак иди.

Ермолай ушел.

— Сынок... не хотела уж при им спрашивать: как там Максим-то?

— Максим?... Честно говорить?

— Господи, ну дак а как же?

— Плохо.

Мать вздохнула.

— А что шибко-то плохо?

— Плохо, потому что дурак... И не слушается. Причем... колосс — сильный, конечно, парень... Приходит как-то с девушкой — ничего, хорошая девушка... — Игнат повернулся к жене. — А? Нинка-то.

— Да.

— Двухкомнатная квартира с удобствами, в центре — это же!.. Ну, думаю, поумнел парень. Вызвал его на кухню. "Ты, — говорю, — опять не свалий дурака". А девка — без ума от него. Ну и что? Через неделю — конец: горшок об горшок — и кто дальше. Наш Макся затеял. Она мне звонила потом, деска-то. Чуть не плачет. "Вы, — говорит, — скажите ему, Игнатий Ермолаич, чтобы он не уходил". Скажи ему — хлопнет дверь и поминай как звали.

Матери тяжело было слышать все это про младшего сына. Она не разбиралась в перипетиях дел городских сыновей, ей было горько за младшего.

— Господи, осподи, — опять вздохнула она. — Помог бы уж там ему как-нибудь.

— Да не хочет! — искренне воскликнул Игнат. — Ну, скажи ей: не стараюсь, что ли!

— Это верно... мамаша: он не хочет никого слушать.

— Отцу-то уж не говорите про него.

В сенях загремело ведро. Шаги...

— Верка идет, — сказала мать.

— Она где работает-то?

— Дояркой.

Вошла немая... Всплеснула руками, увидела брата, кинулась к нему. Расцеловала.

— От она... От мы как. От как, — приговаривал Игнат, чуть уклоняясь от поцелуев. — От мы как брата любим... Ну та... Ну, хватит... Познакомься вот с женой моей.

Вера поглядела на Тамару. "Спросила": "Вот это твоя жена?"

— Ну. А что?.. — Игнат показал: "Хорошая?"

Вера закивала головой и начала целовать Тамару. Тамара улыбалась смущенно.

— Пойдемте, я вам платье привезла, — сказала она. Вера не поняла.

— Верка, иди в горницу — платье мерить.

Вера всплеснула руками и запрыгала по избе, счастливая. Все были довольны.

— Да хватит скакать-то! — притворно рассердилась мать. — Прямо уж обрадуется, так удержу нету.

Тамара с немой ушли в горницу.

— Так у тебя что со здоровьем-то? Да! Я ж лекарство привез — змеиный яд-то, ты просила.

— Вот хорошо-то, сынок, спасибо тебе... Может, подымусь теперь. Радикулит — измучилась вся. А сказали тут...

Пришел Ермолай.

— А Степан все плотничет? — продолжал расспрашивать Игнат, расхаживая по прихожей избе.

Отвечал теперь отец:

— Плотничает, ага. Коровник счас рубют. Ничо, хорошо получают. Этта девяносто рублишек принес. Куда с добром!

— Не закладывает?

— Бывает маленько... Так ведь оно что — дело холостое. Соберутся с ребятами, заложут.

— Жениться-то собирается?

— А мы знаем? Помалкивает. Да женится... куда девается... Садись, пока суть да дело — пропустим маленько.

— Подождали бы Степку-то.

— Мы по маленькой... Садись.

Из горницы вышла немая в новом платье. Вышла торжественная и смотрела на всех вопросительно и удивленно. И в самом деле, она сделалась вдруг очень красивой. Молча смотрели на нее. Она прошла раз-другой... сама не выдержала важности момента, опять запрыгала, поцеловала брата. Потом побежала в горницу, привела Тамару и стала показывать ее всем и хвалить — какая она добрая, хорошая, умная.

Тамаре неловко стало.

Игнат был доволен.

Вера потащила Тамару на улицу, мыча ей что-то на ходу.

...Выпили маленько.

Ермолай склонился головой на руки, сказал с неподдельной грустью:

— Кончается моя жизнь, Игнаха. Кончается, мать ее... А жалко.

— Почему такое пессимистическое настроение?

Отец посмотрел на сына.

— А ты, Игнат, другой стал, — сказал он. — Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно.

Игнат смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал.

— Ты вот давеча вытащил мне сапоги... Спасибо, сынок! Хорошие сапоги...

— Не то говоришь, отец, — сказал Игнат. — При чем тут сапоги?

— Не обессудь, если не так сказал, — я старый человек. Ладно, ничего. Степка скоро придет, брат твой... Он плотничает. Ага. Но, однако, он тебя враз сломит, хоть ты и про

физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Степана. Куда там...

Игнат засмеялся: к нему вернулась его необходимая веселость-снисходительность.

— Посмотрим, посмотрим, тятя.

— Давай еще по маленькой,— предложил отец.

— Нет,— твердо сказал Игнат.

— Вот сын какой у тебя! — не без гордости заметил старик, обращаясь к жене.— Наша порода — Воеводины. Сказал “нет”, — значит, все. Гроб. Я такой же был. Вот Степка скоро придет.

— Ты, отец, разговаривай что-то,— урезонила жена старика.— Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те чего мслет. Не слушай ты его, брехуна, сынок.

Пришли Вера с Тамарой. Тамара присела к столу, а Вера начала что-то “рассказывать” матери. Мать часто повторяла “Ну, ну... Батюшки мои! Фу ты, господи!”

— Не такой уж ты стал, Игнаха. Ты не обижайся,— повернулся он к Тамаре.— Он сын мне. Только другой он стал.

— Перестал бы, отец,— попросила мать.

— Ты лежи, мать,— беззлобно огрызнулся старик.— Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь.

Тамара поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко.

Игнат тоже встал... Завели патефон. Поставили “Грущу”.

Все замолчали. Слушали.

Старший Воеводин смотрел в окно, о чем-то невесело думал.

Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, прошло стадо. Корова Воеводиных подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом — не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня — думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло праздника? Сын приехал какой-то не такой... В чем не такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то.

— Сейчас Степка придет,— сказал он. Он ждал Степку. Зачем ему нужно было, чтобы скорее пришел Степка, он не знал.

Молодые ушли в горницу, унесли с собой патефон. Игнат прихватил туда же бутылку красного вина и закуску.

— Выпью с сестренкой, была не была! Хотя вредно, вообще-то.

— Давай, сынок, это ничего. Это полезно,— миролюбиво сказал отец.

Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игната. Пришло несколько родных. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел снисходительный могучий бас Игната, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игната сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кулками.

— Сейчас Степка придет,— сказал старик. Не было у него на душе праздника, и все тут.

Пришел наконец Степка. Загорелый, грязный...

— Игнаша наш приехал,— встретил его отец.

— Я уж слышал,— сказал Степан, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами.

Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его:

— Погоди, тятя, дай я хоть маленько сполоснусь. А то неудобно даже.

— Ну, давай,— согласился отец.— А то верно — он нарядный весь, как это... как артист.

И тут из горницы вышел Игнат с женой.

— Брательник! — заревел Игнат, растопырив руки.— Степка! — И пошел на него.

Степка засмеялся, переступил с ноги на ногу,— видно, засмеялся Тамары.

Игнатий облапил его.

— Замараю, слушай,— Степка пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал.

— Ничего-о!.. Это трудовая грязь, братка! Дай поцелую тебя, окаянная душа! Соскучился без вас.

Братья поцеловались.

Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились светлые, крупные слезы. Он вытер их и громко высморкался.

— Он тебе подарки привез, Степка,— громко и хвастливо сказал он, направляясь к чемоданам.

— Брось, тятя, какие подарки! Ну, давай, что ты должен делать-то? Делай скорей! Выпьем сейчас с тобой! Вот! Видела Воеводиных? — Игнат легонько подтолкнул жену к брату.— Знакомьтесь.

Степка даже покраснел — не знал: подавать яркой женщине грязную руку или нет. Тамара сама взяла его руку и крепко пожала.

— Он у нас стеснительный перед городскими,— пояснил отец.— А мне — хоть бы хны!

Степка осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся: готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца.

— Тятя... скажет тоже.

— Иди умывайся,— подсказал отец.

— Да, пойду маленько... того...— обрадовался Степан. И пошел в сени. Игнат двинулся за ним.

— Пойдем, полью тебе по старой памяти.

Отец тоже вышел на улицу.

Умываться решили идти на Катунь — она протекала под боком, за огородами.

— Искупаемся,— предложил Игнат и похлопал себя ладонями по могучей груди.

Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве. Отец — сзади сыновей.

— Ну, как живете-то?— басил Игнат, шагая вразвалку между отцом и братом. Он все-таки изрядно хватил там, с друзьями.

Степка улыбался. Он был рад брату.

— Ничего.

— Хорошо живем! — воскликнул отец.— Не хуже городских.

— Ну и слава богу! — с чувством сказал Игнат.— Степан, ты, говорят, нагулял тут силенку?

— Какая силенка!.. Скажешь тоже. Как ты-то живешь?

— Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена моя вам? Тять?

— Ничего. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего.

— Хорошая баба,— подхватил Игнат.— Человек хороший.

— Шибко нарядная только. Зачем так?

Игнат оглушительно захохотал.

— Обыкновенно одета! По-городскому, конечно. Поотставали вы в этом смысле.

— Чего-то ты много хохочешь, Игнат,— заметил старик,— как дурак какой.

— Рад, поэтому смеюсь.

— Рад... Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Степка вон не рад, что ли? А он улыбается — и все.

— Ты когда жениться-то будешь, Степка? — спросил Игнат.

— Не уйдет, куда торопиться.

Пришли к реке.

Игнат первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул.

— Мать честная! Вот это водичка!

— Что? — Степан тоже разделся. — Холодная?

— Ну-ка, ну-ка? — заинтересовался Игнат. Подошел к брату и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца. Степка терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, улыбался.

— Есть, — закончил Игнат. — Есть, братишка. Давай попробуем?

— Да ну! — Степка недовольно тряхнул волосами.

— А чего, Степка? Поборись! — Отец с укором смотрел на младшего. — Не под бабой лежать...

— Бросьте вы, на самом деле, — упрямо и серьезно сказал Степка. — Чего ради стребемся? На смех людям?

— Тыфу! — рассердился отец. — Ты толкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то телок у нас — всего стесняется.

— А чего тут стесняться-то! Если б мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно.

— Объясни вот ему!

Степка нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными лугами; вода вскипала под ним.

— Силен! — с восхищением сказал Игнат.

— Я же тебе говорю! Он бы тебя уложил.

— Не знаю, — не сразу ответил Игнат. — Силы у него больше, это ясно.

Отец сердито высморкался на песок.

Игнат постоял еще немного и тоже полез в воду.

А отец пошел вниз по реке, куда выплывал Степка.

Когда тот вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо разговаривали. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки. Игнат подплыл к ним, они замолчали.

Игнат вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова.

— Катунь-матушка, — негромко сказал он.

Степка и отец тоже посмотрели на реку.

На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью; ослепительно белели ее тупые круглые колени.

— Юбку-то опусти маленько, ай! — крикнул старик.

Баба подняла голову, посмотрела на Воеводиных и продолжала молотить вальком белье.

— Вот халда! — с возмущением негромко сказал старик. — Хоть бы хны ей!

Братья стали одеваться.

Хмель у Игната прошел. Ему что-то грустно стало.

— Чего ты такой? — спросил Степка, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.

— Не знаю. Так просто.

— Не допил, поэтому, — пояснил старик. — Ни два ни полтора получилось.

— Черт его знает. Не обращайтесь внимания. Давайте посидим, покурим...

Сели на теплые камни... Долго молчали, глядя на волны.

Солнце село на той стороне, за островами. Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое... Игнат присмирел.

— Что, Степа? — негромко сказал он.

— Ничего, — Степка бросил камешек в воду.

— Все строгаешь?

— Строгаем.

Игнат тоже бросил в воду камень. Помолчали.

— Жена у тебя хорошая, — сказал Степан. — Красивая.

— Да? — Игнат оживился, с любопытством, весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно: — Ничего. Тятя вон не нравится.

— Я не сказал, что не нравится, чего ты зря? — Старик неодобрительно посмотрел на Игната. — Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.

Игнат захохотал.

— Ты у нас приבלатненный, тятя! Ты знаешь, что такое фартовая-то?

Отец отвернулся к реке, долго молчал — обиделся. Потом повернулся к Степке и сказал сердито:

— Зря ты не поборолся с ним. Ну, хоть в ухо стукнитесь?

— Вот привязался! — удивился Степка. — Ты что?

— Заело что-то тятю, — сказал Игнат. — Что-то не нравится ему.

— Что “не нравится”? — повернулся к нему отец.

— Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.

— Ты шибко грамотный стал, прямо спасу никакого нет. Все ты видишь, все понимаешь!

— Будет вам! — сказал Степка. — Чего взялись. Нашли время...

— Да ну его! — Отец высморкался и полез за кисетом. — Приехал, расхвастался тут... Подарков навез, подумашь!

Игнат даже растерялся.

— Тять, да ты что, на самом деле?

Степан незаметно толкнул его в бок — “не лезь”.

— А то — уехали, на метре там разъезжают!.. “Хорошо живем!” Ну и живите, хрен с вами! Тот дурак молодой — тоже... Чего ты его сманил туда, Максима-то? Что он там ошивается? Гнать его надо оттуда, а ты подучивашь, как ему скорей квартиру с сортиром получить. Умник!

— Ну и тут тоже — не рай, — рассердился и Игнат. — Что он тут будет делать, молодой парень? Ни выйти никуда...

— А Степка что делает?

— И Степке, думаю, не сладко... Привык просто. Не велика услада — топором всю жизнь махать.

— Дак если уж вы там такие умные стали — приезжайте, садитесь на машины да работайте. Вон их сколько!.. Город без вас не обедняет, я думаю. И жизнь счас здесь вовсе не такая уж захирелая. Самим ее надо делать, а не гоняться за рублем сломя голову. Или вы на готовенькое приедете? Трепачи!.. Да еще хвастаются приезжают... Подарки везут. Нужны они мне, твои подарки, как гармошка попу. Поп, он с кадилой проживет, а мы без твоих хромовых сапог обойдемся.

— Ну, тять... я не знаю. Я хотел как лучше...

— “Лучше”... Умные люди делом занимаются — вот это лучше. А ты дурочку валяешь. И не совестно? Сильный, дак иди вон лес валить — там нуждаются. Кто ее тебе дал, силушку-то? Где ты ее взял?.. Здесь? Здесь и тратить надо. А ты — хвост дудочкой и заваялся в город: смотрите, какой я сильный! Бесстыдник! Дед твой был бы живой, он бы тебе показал силу. Он бы тебя в узелок завязал с твоей силой, хоть и старик был. У него вот была сила! Дак его добром люди вспоминают, не зря прожил. А ты только людей смешить ездить по городам. “Культура тела”! Он вот зря не хочет стукнуться с тобой, — Ермолай показал на Степана, — а то бы ты улетел со своей культурой тела... в воду вон.

— Ну, хватит. — Степан поднялся. — Тять, пошли домой.

— У тебя деньги есть? — спросил тот.

— Есть. Пошли.

Старик поднялся и не оглядываясь пошел первым по тропке, ведущей к огородам.

Игнат и Степан шли сзади.

— Чего он? — Игната не на шутку встревожило настроение отца...

— Так... Ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь.

— Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним песни?

— Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он... Пройдет. Опять шли огородам друг за другом, молчали. Игнат шел за отцом, смотрел на его сутулую спину.

— У него, что, слушай, — действительно одно плечо ниже или пиджак так идиотски пошит? — спросил Игнат тихонько.

Степан посмотрел на отца, пожал плечами.

— Не знаю. Что-то не замечал.

...Утро. Степан с отцом вкапывали на дворе большой воротный столб.

Подожли плотники с топорами и ножовками за поясами. Поздоровались.

— Чего это вы? — спросил один из плотников. — С утра пораньше...

Ермолай нахмурился и ничего не сказал. Степан усмехнулся.

— Братень вчера силенку пробовал.

— Неужели выдернул? Не может быть...

Ермолай строго посмотрел на него, кто усомнился.

— Может, попробуешь поборешься с ним?

— Из меня борец...

— Он с женой приехал?

— С женой, — ответил Степан. — Жена мировая.

— Здорово гульнули вчера?

— Маленько гульнули, — хотел соскромничать Ермолай и тут же добавил: — Ефим Галюшкин на карачках домой ушел. Седня прибежал похмеляться, говорит: все руки вчера отдавили.

Посмеялись.

— Ну-ка, помогите.

Взялись за столб, подняли насколько можно и всадили в ямку.

— Будь здоров, Игнаха, — сказал при этом один из плотников. — Валяй на здоровье городских силачей, чтоб знали наших.

Ермолай разгладил бороду.

— У его шешнаццать орденов одних, — сказал он. — Вчера фотокарточку показывал.

— Медалей, — поправил Степан.

— Ну — медалей. Какого-то немца так, говорит, приложил — у того аж в поясице что-то хрустнуло. Весь в меня, подлец. Я в парнях когда был, одного Сосняковского мужика задел, подрались чего-то с ними, — он весь свой век одним ухом не слышит. А счас вот...

— Ну, доделаешь тут, — сказал Степан. — Пойду. — Он пошел в дом за топором.

— Красивая, говоришь, жена?

— Да им глянется, а мне что?.. Восемьдесят рублишек ухнули вчера, — опять вернулся Ермолай к волнующей его теме. — Было дело.

— А где жена-то работает? Тоже циркачка?

— А шут ее знает, я не спросил. Ничто, уважительная бабенка. Меня — “папаша”, “папаша”... Весь вечер от меня не отходила. Одета с иголочки. Спят ишо. — Ермолай кивнул на дом.

Вышел Степан. Улыбался.

— Проснулся. Рассол дует.

Еще когда мужики только подошли, из дома вышла немая Вера, увидела посторонних, вернулась, надела вчерашнее дареное платье и прошлась по двору, вроде по делу. Потом ушла в дом, опять сняла его и пошла на работу в своем обычном.

...Шли по улице неторопливо. Разговаривали.

— Про Москву-то рассказывал? — все пытали Степана.

— Говорил маленько...

— А вот чо, правда или нет, говорят, на Кремле-то часы величиной с колесо? — спросил один невысокий, болезненный на вид мужичок.

— Я слышал — больше, — возразил другой.

— Дык тогда какую же надо пружину, чтоб они ходили?

— Может, они не от пружины ходют. Может, специально движок какой-нибудь есть.

Немая, которая шла с ними вместе, свернула в переулок.

Под селом, из-за гор, вставало огромное солнце.

Там и здесь хлопали калитки, выходили на работу...

Ночью прошел небольшой дождик. Умытая земля парила под первыми лучами, дышала всей грудью.

Идут улицей плотники — строить.

СТРАННЫЕ ЛЮДИ

Чудик

Рано утром Чудик шагал по селу с чемоданом.

— К брательнику, поближе к Москве! — отвечал он на вопрос, куда это он собрался.

— Далеко, Чудик?

— К брательнику, отдохнуть. Надо прошвырнуться.

При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали.

Но до брата было еще далеко.

Пока что благополучно доехал города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока закупить подарков племяншам — конфет, пряников...

Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот без году неделя руководит коллективом — и уже: "Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?" Нахал!

Шляпа поддакивала.

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь — склероз! А Сумбатыч?... Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подождал его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада и отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-то глянул по полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит... Чудик даже задрожал от радости, глаза разгорелись. Второпях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать в очереди про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал громко и весело. На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

“Наверно, тот в шляпе”, — сказал сам себе Чудик.

Решили положить бумажку на видное место, на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: “У нас, например, такими бумажками не швыряются!”

Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунул в карман — нету. Туда-сюда, нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то! Зараза ты, зараза...

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать:

— Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотенную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету.

Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: “Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить”. Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать...

— Да почему же я такой есть-то? — горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... и не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

...Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

— Это... я деньги потерял.— При этом курносый нос его побелел.— Пятьдесят рублей.

У жены отвалилась челюсть. Она заморгала; на лице появилось просительное выражение: может, он шутит? Да нет, эта лысая скважина (Чудик был не по-деревенски лыс) не посмела бы так шутить. Она глупо спросила:

— Где?

Тут он невольно хмыкнул.

— Когда теряют, то, как правило...

— Ну, не-нет!! — взревела жена.— Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — И побежала за ухватом.— Месяцев девять, скважина!

Чудик схватил с кровати подушку — отражать удары.

Они закружились по комнате...

— Нна! Чудик!..

— Подушку-то мараешь! Самой стирать...

— Выстираю! Выстираю, лысан! А два ребра мои будут! Мои! Мои! Мои!..

— По рукам, дура!..

— Отт-теньки-коротеньки!.. От-теньки-лысанчики!..

— По рукам, чучело! Я же к брату не попаду и на бюллетень сяду! Тебе же хуже!..

— Садись!

— Тебе же хуже!

— Пускай!

— Ой!..

— Ну, будет!

— Не-ет, дай я натешусь. Дай мне душеньку отвести, скважина ты лысая...

— Ну, будет тебе!..

Жена бросила ухват, села на табурет и заплакала.

— Берегла, берегла... по копеечке откладывала... Скважина ты, скважина!.. Подавиться бы тебе этими деньгами.

— Спасибо на добром слове,— “ядовито” прошептал Чудик.

— Где был-то,— может, вспомнишь? Может, заходил куда?

— Никуда не заходил...

— Может пиво в чайной пил с алкоголиками?... Вспомни. Может, выронил на пол... Бежи, они пока ишо отдадут...

— Да не заходил я в чайную!

— Да где же ты их потерять-то мог?

Чудик мрачно смотрел в пол.

— Ну, выпьешь ты теперь читушечку после бани, выпьешь... Вон — сырую водичку из колодца!

— Нужна она мне, твоя читушечка. Без нее обойдусь...

— Ты у меня худой будешь!

— К брату-то я поеду?

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему разъяснила жена, ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила.

Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории...

Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: “Руки,— кричит,— руки-то не обожги, сынок!” О нем же и заботится. А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот.— У нас, за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудик у надо было еще лететь местным самолетом. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости.

— В нем ничего не испортится? — спросил стюардессу.

— Что в нем испортится?

— Мало ли... Тут, наверно, тыщ пять разных болтиков. Сорвется у одного резьба — и с приветом. Сколько обычно собирают от человека? Килограмма два-три?..

— Не болтайте.

Взлетели.

Рядом с Чудиком сидел толстый гражданин с газетой. Чудик попытался говорить с ним.

— А завтрак зажилили, — сказал он.

— Мм?

— В самолетах же кормят.

Толстый промолчал на это.

Чудик стал смотреть вниз.

Горы облаков внизу...

— Вот интересно, — снова заговорил Чудик, — под нами километров пять, так? А я — хоть бы хны. Не удивляюсь. И сейчас в уме отмерял от своего дома пять километров, поставил на попа — это ж до пасеки будет!

Самолет тряхнуло.

— Вот человек!.. Придумал же, — еще сказал он соседу. Тот посмотрел на него, опять ничего не сказал, зашуршал газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего, — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко рассмеялся и больше не стал говорить. Быстро стали снижаться.

Вот уже земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объяснили знающие люди, летчик “промазал”.

Наконец — толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовой стук и скрежет. Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика большой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал.

Стали.

Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из

пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что вы, сами не видите,— ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.

У читателя даже нос побагрел.

— Почему обязательно надо руками хватать? — закричал он шенеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду?! Где?!

Чудик этого тоже не знал.

— Поедьте со мной? — предложил он.— У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

...В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

“Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Васятка”.

Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик.— Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

“Приземлились. Все порядке. Васятка”.

Телеграфистка сама исправила два слова: “Приземлились” и “Васятка”. Стало: “Прилетели, Василий”.

— “Приземлились”... Вы что, космонавт, что ли?

— Ну, ладно,— сказал Чудик.— Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна быть еще сноха, — как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

“Тополя-а-а, тополя-а-а...”

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь? — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уж не стали оставлять. И все равно: только отвернутся — я около тебя: опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?! — тоже вспоминал Чудик. — Как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна, совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговаривать.

— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?.. — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке! Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата:

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За што? Ведь она невзлюбила тебя... А за што?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что, действительно?

— А вот за то, што ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Што она, не знала, што ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело, вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, — так выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, не заносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уж там куда деревня! А — пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста, — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл. — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребяташками приехал — сидели бы все на веранде, чай бы с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже

невзлюбит... А я как-нибудь поласковой буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот... Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а — не скажи, сразу ругань.

— Мых!.. — чего-то опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, она такая работает в магазине — грубая. Эх, вы!.. А она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: зачем они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети — постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе.

Тут на глаза ему попала детская коляска. “Эге! — воскликнул Чудик. — Разрисую-ка я ее!” Он дома так разрисовал печь, что все удивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено — коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголкам понизу, — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — заглядение. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка. — Он хотел мира со снохой. — Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на храмы, подолгу торчал у витрин. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. “И его тоже разрисую”, — подумал.

Походил еще, поглядел, попил воды из автоматов... И присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит:

— Молодой человек... простите, пожалуйста. — Подошла красивая молодая женщина с портфелем. — Разрешите я займу минутку вашего времени?

— Зачем? — спросил Чудик.

Женщина присела на скамейку.

— Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции...

— Кино фотографируете?

— Да. И нам для эпизода нужен человек. Вот такого... вашего типа.

— А какой у меня тип?

— Ну... простой... Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город.

— Так, понимаю.

— Вы где работаете?

— Я приезжий... к брату приехал...

— А когда уезжаете?

— Не знаю пока. Я отдохнуть приехал.

— Мм... А у себя... в селе, да?.. В селе живете?

— Да.

— У себя в селе где работаете?

— Трактористом.

— Нам нужно, чтобы вы по крайней мере недели две здесь побыли. Есть такая возможность?

— Есть.

— Я хочу показать вас режиссеру... для... как вам попроще: чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем. Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице.

— Пошли.

По дороге Чудик узнал, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят...

— А этот тип — зачем приезжает в город?

— Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются.

— Интересно, — сказал Чудик. — Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал: домишко к осени хочу перебрать. У вас всем хорошо платят?

Женщина засмеялась.

— Вы несколько рановато об этом.

Режиссер, худощавый мужчина лет за пятьдесят, с живыми, умными глазами, очень приветливо встретил Чудика. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло.

Женщина вышла.

— Как вас зовут?

— Вася, — Чудик встал.

— Сидите, сидите. Я тоже сяду. — Режиссер сел напротив. Весело смотрел на Чудика. — Тракторист?

— Да нет, просто в колхозе...

Любите кино?

- Ничего. Редко, правда, бывать приходится...
- Что так?
- Да ведь... летом почесть все время в бригаде, а зимой на кубы уезжаем.
- Это что такое?
- На лесозаготовки.
- Так, так... Вот какое дело, Василий: есть у нас в фильме эпизод: в город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых. А знакомство такое... шапочное: городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?
- Понятно.
- Отлично. Дальше: городская семья недовольна приездом парня — лишняя волокита, неудобства... и так далее. Парень неглупый, догадывается об этом, вообще начинает понимать, что городская судьба — дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?
- А как же так: сами жили — ничего, а как к ним приехали — не нравится.
- Ну... бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее. — Режиссер помолчал, глядя на Чудика. — Это непонятно?
- Понятно — темнят.
- Темнят, да. Попробуем?... Слова на ходу придумаем. А?
- А как?
- Входите в дверь — перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше — посмотрим. Ведите себя как бог на душу положит. Помните только, что вы не Василий, Вася, а тот самый деревенский парень. Назовем его — Иван. Давайте!
- Чудик вышел из номера... и вошел снова.
- Здравствуйте.
- Надо постучаться, — поправил режиссер. — Еще раз. Чудик вышел и постучал в дверь.
- Да!
- Чудик вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга.
- А где “здравствуйте”?
- Я же здоровался.
- Мы же снова начали.
- Снова, да?
- Снова.
- Чудик вышел и постучался.
- Да!

— Здравствуйте!
— О, Иван! Входите, входите, — “обрадовался” режиссер. — Проходите же! Каким ветром?

Чудик заулыбался.

— Привет! — Подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. — Как житуха?

— А чего ты радуешься? — спросил режиссер серьезно.

— Тебя увидел. Ты же тоже обрадовался.

— Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался?

— А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок.

Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Чудику.

— Пожалуй, — сказал он. — Давай еще раз. Я поторопился, верно.

Чудик опять вышел и постучался.

Все повторилось.

— Ну, как житуха? — спросил Чудик, улыбаясь.

— Да так себе... А ты что, по делам в город?

— Нет, совсем.

— Как “совсем”?

— Хочу артистом стать.

Режиссер захохотал.

Чудик выбился из игры.

— Опять снова?

— Нет, продолжай. Только — серьезно. Не артистом, а... ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город?

— Ага.

— Ну и как?

— Что?

— А где жить будешь?

— У тебя. Вы же у меня жили — теперь я у вас поживу.

Режиссер в раздумье походил по номеру.

— Что-то не выходит у нас... Сразу быка за рога взяли, так не годится, — сказал он. — Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я — недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду — тоже радуешься. Попробуем?

— Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу — его просто разнесут по бревнышку.

— Почему “разнесут”?

— От удивления. Меня же на руках вынесут!..

— Мда... Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления.

Чудик вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.

— Ваня! Как ты здесь?! — воскликнул режиссер.

— А тебя как зовут?

— Ну, допустим... Николай Петрович.

— Давай снова, — скомандовал Чудик. — Говори: “Ваня, ты как здесь?!”

— Ваня, ты как здесь?!

— Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи: “Ваня, ты как здесь?!” — Чудик показал, как надо сделать. — Вот так. Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился.

— Хорошо. Ваня, ты как здесь?! — хлопнул руками. Чудик сиял.

— Здорово, Петрович! Как житуха?

— Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен! Хотя... Ну, хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной повнимательней. Ваня, ты как здесь?

— Хочу перебраться в город.

— Совсем?

— Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться...

— А жить где будешь? — сполз с “радостного” тона Николай Петрович.

— У тебя, — Чудика не покидала радость. — Телевизор будем вместе смотреть.

— Да, но у меня тесновато, Иван...

— Проживем! В тесноте — не в обиде.

— Но я уже недоволен, Иван... то есть, Вася! — вышел из терпения режиссер. — Разве ты не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.

— Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу — переберусь в общежитие.

— Но тогда надо другой фильм делать! Понимаешь?

— Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?

— Ты родом откуда? — перебил режиссер.

— Из деревни...

— А хотел бы действительно в городе остаться?

— Черт ее... не думал про это. Нет. Мне у нас лучше глянется. Не подхожу я к этому парню-то?

— Как тебе сказать...— Режиссеру больно было огорчать Васю.— У нас другой парень написан. Вот есть сценарий...— Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже к столу, но вдруг повернулся.— А как бы ты сделал? Ну, вот ты приехал в город...

— Да нет, если уж написано, то зачем? Вы же не будете из-за меня переписывать.

— Ну а если бы?

— Что?

— Приехал ты к знакомым...

— Ну, приехал... "Здрассте!" — "Здрассте!" — "Ты как здесь?" — "Хочу на фабрику устроиться"...

— Ну?

— Ну и все.

— А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.

— А что тут такого, я никак не пойму? Ну, пожил бы пару недель...

— Нет, ну, вот они такие люди, что — недовольны. Прямо не говорят, а недовольны. Как тут быть?

— Я бы спросил: "Вам што, не глянется, што я пока поживу у вас?"

— А они: "Да нет, Иван, что ты! Пожалуйста, располагайся!" А сами недовольны, ты видишь. Как тут быть?

— Не знаю. А как там написано? — Чудик кивнул на сценарий.

— Да тут... иначе. Ну а притвориться бы ты не смог? Ну-ка, давай попробуем! Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только...

Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку.

— Ну... ну... Да почему же?! Я же говорил!.. Я показывал какие! Тьфу!.. Сейчас я спущусь. Иду. Вася, подожди минут пять... Там путаница вышла... Черти! — Режиссер вышел.

Чудик закурил.

Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила:

— Ну, как у вас?

— Никак.

— Что?

— Не выходит.

— Режиссер просил подождать?

— Ага.

Женщина порылась в столике сценариев, взяла один...

— Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка — ваш эпизод.— Она сунула Чудик у сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса больше к нему не было.

Чудик положил сценарий на стол, взял цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал:

“Нет, не выйдет у нас. С пр. Василий”.

Домой Чудик пришел часу в шестом. Шел и ясно себе представил, как он сейчас весело расскажет, как он чуть было не стал киноартистом. Как все будут от души смеяться. (Немое изображение: Чудик рассказывает брату, его жене, детям, показывает, как они репетировали с режиссером; все покатываются со смеху, даже маленький в разрисованной колясочке.)

Чудик дорогой улыбался сам себе.

Едва он ступил на крыльцо братниного дома, как услышал: брат Дмитрий ругается с женой. Собственно, ругалась одна Софья Ивановна, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну, что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна.— Завтра же пусть уезжает! Чтоб духу его тут не было!..

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не “ладно”! Не “ладно”! Пусть не дожидается. Выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике.— Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества!

Он просидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело.

Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот...— сказал он.— Это... опять расшумелась. Коляску-то не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки и побежал по теплой, мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

“Тополя, тополя-а...”

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужу; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

Звали его — Василий Егорович Князев. Было ему тридцать лет от роду...

Миль пардон, мадам!

Сельсовет. Непомерно большие, мягкие кресла, большой стол, большие диаграммы, плакаты на стенах...

В кресле, почти утонув в нем, ежится Бронька Пупков. Над ним — строгий предсельсовета, в новенькой военной гимнастерке, при ордене Красной Звезды и трех медалях.

— Ну, так што будем делать-то? Бронислав?..

Бронька морщится.

— Ну, што, што?

— Долго будем историю исказать?

— Та-а...

— Не “та-а”, не “та-а”... Ты скажи прямо: прекратишь это или нет?

— Та-а чего там!..

— Ничего! Ты дурак или умный? Для чего тебе это надо?

— Ну, все, прекратили. Ты у нас один — умница. Еще дураком обзывает...

— Кто же ты!

— Если ты председатель сельсовета, так тебе можно оскорблять личность? Врежу счас пепельницей... за оскорбление...

— Ты историю оскорбляешь!.. Я же тебя счас посадить могу...

- Скажет. Интересно, по какой статье?
- За искажение истории...
- Нет такой статьи.
- Найдем!
- Один такой — нашел... Найдет он. Сам загудишь раньше меня.
- Ну што делать с этой дубиной!.. Неохота ведь сажать-то...
- Не сажай.
- Ты даешь слово, что прекратишь эту свою глупость?
- Даю, даю.
- Смотри, Бронислав!..
- Смотрю.

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вон, Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. — И как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков — еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался — и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде ("педике") — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали денег, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, из всех сил крепился... И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем и Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так, — отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варила щерба из кабачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закурился...

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет, я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки... — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать: "Удивительно? Мне самому удивительно". И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что я, не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю.

— Да ну, ерунда какая-то...

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга. Вот так: нажал пальчиком — и пух! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на...

— Погоди? Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем...

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знает какой...

— Да все будет в порядке! — Людям уже не терпелось послушать. — Рассказывайте.

— Прошу плеснуть. — Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. — Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха!

Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит:

— Погоди-ка, санитар, не уходи.

Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтобы я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают.

Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: "Вам надо полежать!" — "Да пошел ты!" — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает. Откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. "Это хорошо, — говорит генерал. — Стреляешь метко?" Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. "Ну, ничего, — говорит, — там высшего образования не потребуется. А вот если, — говорит, — ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет". Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?... Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековые сибирские... Мы от казаков приходим, которые тут недалеко Бой-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесь вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

— Где это? Куда сопровождали?

— А в городе было. Мы его тут коллективно взяли, а в город вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него луб — веди.

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А пон у нас Ванька Пупков — хоть бы што.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так... Где я остановился?

— Генерал расспрашивает...

— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: "Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы,— говорит,— взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо.

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом, тому — с переливом. Прошу плеснуть. Ха! Поясню: я похож на того гада как две капли воды. Ну и — начинается житуха, братцы мои! — Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг.— Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только...— Бронька шевелил губами — считал.— Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, на третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его как шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю: сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. "Как, товарищ Пупков?" Готов, говорю, к выполнению задания!

“Давай,— говорит.— С богом,— говорит.— Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись!” Я говорю: если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает.— Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг — и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил куда стрелять — в усики. Я делаю рукой “Хайль, Гитлер!”. В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо — ручкой: миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьурер! — Бронька сглотнул.— И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было... — Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завывать, рвануть на груди рубаху... — Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу — тоже так. Кхе!..

— Ну? — тихо спросит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке “смирно”... Он улыбается. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. — Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе.— Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты

ползучий!!! — Это уже душераздирающий крик. Потом грубая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрéлил...— Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо с ужасом говорит:

— Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

— Прошу плеснуть,— тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про “покушение”.

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

— Пошла ты!..— вяло огрызается Бронька.— Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена.— Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду сейчас!.. Я сейчас пойду — в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудят когда-нибудь! За искажение истории...

— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумятая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий, злой взгляд. Говорит негромко, с силой:

— Миль пардон, мадам... сейчас ведь врежу!..

Жена хлопает дверью, уходит прочь — жаловаться на “лесного скота”.

Зря она говорит, что Броньке — все равно. Нет. Он тяжело переживает, страдает, злится... И дня два пьет дома. За водкой в лавочку посылает сынишку-подростка.

— Никого там не слушай,— виновато и зло говорит сыну.— Возьми бутылку и сразу домой.

Его опять вызывают в сельсовет, совестят, грозятся принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорит сердито, невинно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивает в лавочке “банку”, маленько сидит на крыльце — чтоб “взяло”, встает, засучивает рукава и объявляет громко:

— Ну, прошу! Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

И стрелок он правда — редкий.

Думы

Как только наступает ночь...

Поужинав...

Помолившись...

Повздыхав...

Угомонятся и заснут наработавшиеся за день люди, он начинает...

Заводится с края села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная — орет.

— От же ж паразит!... — возмущаются люди. — Завелся.

— Не идет же, черт блажной, к реке, здесь старается.

— Пойду счас, собаку на него спущу...

— Они его не кусают. Я пробовала.

— Когда он спит-то!

— Черт его в душу знает, лунатик какой-то. Какой-то ненормальный парень: то куклы мастерит, то по ночам шляется...

— К Нинке, што ль, ходит?

— Но. Она тоже! Выходила бы уж скорей за него, может, угомонился бы парень, за ум взялся...

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил извне переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала звенеть, потом огибала дом и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала орать в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил:

— Все: завтра исключу, дурака, из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

— Лежи уж — исключишь,— сонно говорила жена Матвея.

— Исключу!

Днем Матвей встретил Кольку.

— Ты долго будешь по ночам шлаться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь.

— Имею право,— нахально ответил Колька и улыбнулся от уха до уха.— За это никакой статьи нет.

— Я для тебя найду статью. Если надо, сам напишу.

— Статьи в Москве пишут.

— Ты почему такой ешь-то, Колька? Почему на одном месте не работаешь? Куда я тебя посылал?..

— Потому что я талантливый,— кратко и серьезно пояснил Колька.

— Оболдуй ты, а не талантливый. Выучился бы на счетовода, уважаемым человеком был бы...

— Это одна смехота, а не специальность. “Дебет-кредит”. “Приход-расход”... Тыфу!

— Ну, раз ты такой умный, иди в кузню молотобойцем. А с куклами перестань возиться — смеются ведь люди.

На эту тему — о куклах — Колька ни с кем не разговаривал. Презрительно молчал.

— Иди, махай кувалдой, раз в конторе не хошь сидеть.

Дома мать запричитала:

— Господи, да за што же мне доля такая выпала!.. Посылали ведь, дурака, учиться — так нет же, нет!.. Иди вот тсперь, выворачивай руки-то там.

— Погляжу.

— Хоть там-то поддержишь, а то ведь от людей уж известно.

— Люди не понимают в искусстве...

— Тыфу!.. Журавь.

Помахав пару дней тяжелой кувалдой, Колька аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

— Все.

— Что?

— Пошел.

— Почему?

— Души нету в работе.

— Тепло, — просто сказал кузнец. — Выйди отсюда.

Колька с изумлением посмотрел на старика кузнеца.

— Почему ты сразу переходишь на личности?

— Балаболка, если не тепло. Что ты понимаешь в железе? “Души нету”... Даже злость берет.

— А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

— Может, попробуешь?

Колька накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

— Прощу, мадмоазель.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

— Иди корову подкуй такой подковой. “Мадмоазель”..

Колька взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее — не тут-то было.

— Что?

— Ничего. Остаюсь. Научусь, тогда уйду.

— Ты, Колька, парень — ничего, но болтун, — сказал ему кузнец. — Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

— Это верно: я очень талантливый.

— А где твоя работа сделанная?

— Я ее никому, конечно, не показываю.

— Почему?

— Они не понимают. Один Захарыч только понимает.

— Принеси мне. Я гляну.

А ночью опять звенела гармонь...

И Матвей опять сидел в кровати, думал. Гармонь уже уходила далеко в улицу, и уж не слышно ее было, а он все сидел.

Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана брюк папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то!

— Спи. Я маленько подумаю.

— Чего эт середь ночи? Дня, что ли, не хватит?

— Гармошка Колькина... дьявол ее побери — хворь какую-то в душе подымает. Думы всякие в башку лезут...

И вот другая ночь — черная. Костер треплется под теплым ветром... У костра трое: маленький Матвей (лет

двенадцать), брат его младший, Кузьма, и отец их, Ефим Рязанцев.

Днем, в самую жару, маленький Кузьма потный напился воды из ключа, а ночью у него “завалило” горло.

Отец велел поймать коня и во весь дух гнать в деревню (они были на покосе, километрах в десяти от деревни).

— Я его тут пока побаюкаю... Привезешь молока, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас. Как мы с тобой не доглядели!.. Воды, дурачок, из ключа напился... Ах ты, горе-горюшко! Кузя, Кузенька, сынок, продохни... Возьми да силком, силком продохни как следоват.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной пудой, погнал в деревню. И вот — теперь уж Матвеем скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо была в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и баюкал его:

— Ну, сынок... ты что же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задышался, уже посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый, чужой мальчик...

— Проклятая гармошка!.. — бормотал старый Матвей. — Ничего другого — а вот надо про ту ночь назвенеть в душу...

— А?

— Да вот — была целая жизнь: гражданская была, женитьба с тобой, коллективизация, другая война... а ничего не пробудила проклятая гармонь, а пробудила одну ночь, когда у нас Кузьма на покосе помер. И теперь вся душа как чирей ноет. А мало ли каких ночей было-перебыло — всяких...

— Ну, Матвей, ты что-то уж совсем...

— Вот и "совсем"! Говорю тебе — хворь.

На другой день Колька принес в кузницу какую-то штуkenцию с кулак величиной, завернутую в тряпку...

— Вот.

Кузнец развернул тряпку... и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени... Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человека, под ситцевой рубахой — синей, с белыми горошинами, — торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами... Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

— Смолокур, — сказал он.

— Ага. — Колька глотнул пересохшим горлом.

— Таких нету теперь.

— Я знаю...

— А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?

— Песню поет. И думает.

— Помню таких, — еще раз сказал кузнец. — А ты-то откуда их знаешь?

— Рассказывали.

Кузнец вернул Кольке смолокура.

— Похожий.

— Это — что! — воскликнул Колька, заворачивая смолокура в тряпку. — У меня разве такие есть!

— Все смолокуры?

— Почему... Есть солдат, артистка одна есть, тройка... еще солдат, раненный. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.

— А у кого ты учился?

— А сам... ни у кого.

— А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например.

— Я все про людей знаю. — Колька гордо посмотрел сверху на старика. — Они все ужасно простые.

— Вон как! — воскликнул кузнец и засмеялся. — Ну и ну!..

— Скоро Стеньку сделаю... Поглядишь.

— Смеются над тобой люди?

— Это ничего. — Колька высморкался в платок. — На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.

Кузнец опять рассмеялся.

— Ну и дурень ты, Колька! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?

— А что?

— Совестно небось так говорить.

— Почему "совестно"? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.

— А какую он песню поет? — без всякого перехода спросил кузнец.

— Смолокур-то? Про долю свою.

— А артистку ты где видел?

— В кинофильме. — Колька прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. — Я женщин люблю. Красивых, конечно.

— А они тебя?

Колька слегка покраснел.

— Тут я затрудняюсь тебе сказать. Нинка у меня — не того, не очень.

— Хэх!.. — Кузнец стал к наковальне. — Чудной ты парень, Колька. Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки — кукла.

Колька ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

— Не можешь ответить?

— Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, — ответил Колька.

Как-то Матвей зашел в кузницу. Присел на высокий порожек.

— Куете?

— Куем!

Колька в такт своему молоту пропел:

— "Эх, пусть говорят, что я ведра починаю,

Эх, пусть говорят, что дорого беру!

Две копейки — донышко,

Три копейки — бок:

Вот и вся работушка —
Стоит пятачок”.

Матвей усмехнулся.

— Жениться-то скоро будешь, Колька?

— Жениться — не напасть, дядя Матвей. Слышал?

— Слышал. Дурная поговорка.

— Скоро женюсь.

— Матери-то уж тяжело одной. На Нинке хочешь?

— На ней.

— Больше-то никто небось не пойдет, — вставил старик. — Шибко уж непутевый ты, паря. Избенку бы перекрыть надо, а он заместо этого — игрушки разные режет.

Колька молчал, бухал молотом.

— Женись — помогу с избой-то, — пообещал председатель. — Только, на самом деле, бросай ты эти разные свои фокусы... куклы свои.

Колька молчал.

— Глянется работа-то? — еще спросил Матвей.

— Ничего. Хорошенько научусь — уйду.

— Пошто?

— Не могу всю жизнь на одном месте...

— Ты гляди, какие они теперь! — изумился Матвей.

— У их это легко... Как птицы небесные: жрут да котышки на землю роняют. Сделать бы чего-нибудь надо — на помин людям.

— Я и делаю. Только вам не понять. Вы всю жизнь в землю смотрите... И видите только, как птицы котышки роняют. А как летают они, вы ни разу не видали.

— Где нам! — спорил с Колькой старик. — Это один Захарыч твой понимает. И тебя научил. Погоди, он тебя и пить научит...

— Он — от одиночества.

— Мало одиноких-то?.. Да все бы и пили? А ишо учитель был, антилигентный человек, — не стыдно?

— Он сам страдает...

— Погоди, Колька, — пытался выяснить Матвей, — вот вы все: “не хочу”, “не нравится”... А если — надо! Ведь не все же так жить, чтоб только в корысть себе да в усладу. А вот — надо? Вот я, к примеру, всю жизнь так и живу: надо — делаю. Сказали, надо идти в колхоз — пошел, пришла пора жениться — женился, ни годом раньше, ни годом после: как все, так и я. Да как отец сказал. В войну — воевал, тоже надо. Да ишо на двух воевал. Ранили, пришел домой раньше других мужиков, сказали: “Становись, Матвей, председа-

лем колхоза. Больше некому". Пошел. Надо. А какой, к шутам, из меня был председатель! Это уж счас втянулся — тридцать лет скоро будет, везу этот воз... А тогда, бывало, мне — про "агрокультуру", мол, человека высылаем с высшим образованием, а я думаю: прокурор едет. Во как!

— Чего же тут хвастаться?

— Да разви ж я хвастаюсь! — искренне изумился Матвей. — Просто рассказываю, как жил. Мне счас не совестно пред людьми.

— Кинофильмов много за свою жизнь видел? Книжек — хоть штуки три прочитал? — злорадно полюбопытствовал Колька.

— Мне не до кинофильмов было.

— Вот так.

— Што — "так"? — обозлился старик кузнец. — А по-твоему: каждый день в клуб запыльскивать? Кикиморы болотные... Скоро вся Расея без штанов останется — с такими рассуждениями-то.

— Не останется. Будем в бостоновых костюмчиках ходить. Вот так. Даже — на работу. А в клубе я выставку сделаю, люди приедут смотреть и будут рыдать и плакать. Но вас я на выставку не приглашу.

— Счас, разбежался я на твою выставку — спина вспотела, — сказал старик. — Молоти знай — пока, до выставки-то.

Колька взялся за кувалду.

Матвей курил. Ждал гармонь.

— Чего эт звонаря-то нашего нет? — спросил жену.

— То он мешает ему, то сидит ждет... Небось куклы дома рсжет. Или Нинка уехала куда... Бегаю я за ним?

Матвей лег. Полежал.

Не спалось.

— А ни хрена я им не верю! — воскликнул он. — Песни — про любовь, кинофильмы — про любовь!.. Страдают!..

— Чего ты опять?

— Притворяются. Не притворяются, привычка такая пошла у людей: надо трезвонить про любовь — ну, давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая... А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, тальянит. А чего не походить? Молодой, силенка

играет... И всегда так было! Так они навдумывают себе: мы теперь не так! Мы теперь по-другому!.. Тыфу! Как?!

— Да чего они тебя тревожат-то? Чего ты взъелся-то на них?

Матвей долго молчал.

— А может, мы, правда, по-другому прожили? Не так как-нибудь? Может, чего-нибудь пропустили?..

— Как не так? Чучело.

— Спи, ну ты!..

Жена легко и согласно заснула.

Матвей тоже задремал.

...И увиделось ему, как они — молодые, нарядные — идут в хороводе на зеленом лугу... И сидят в кругу три балалаечника и подыгрывают спокойной старой русской песне, которую поет, кружась, хоровод. И спокойно, и красиво, и солнышко светит...

Но вдруг каким-то образом в хоровод ворвался Колька со своей гармозой трехрядной... Рванул ее, сломал хоровод, и девки и парни пошли давать трепака — по-теперешнему, с озорными частушками. И, что самое удивительное, сам Матвей и его жена теперь, Алена, тоже молодые, — тоже так лихо отплясывают, что Матвей от удивления даже проснулся.

Звенела в переулке Колькина гармонь...

Матвей сел, закурил. Долго сидел, слушал гармонь.

Толкнул жену.

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь.. Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил? Ты не вставал?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не "хлебнувши", но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего эт тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... опять как-то... заворшилось.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон

как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь вспомнил
среди ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я совсем забыла
сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю, будете травы топтать — штраф по десять
рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды
красным-красно. Выгони коровенку-то.

— Ладно.

— Не забудь!

— Сама ты корова, — беззлобно, добродушно даже, ска-
зал Матвей.

— А ты кто? Бык при мне?..

— Я-то?.. Я мерин был хороший. Всю жизнь. А теперь
вот — дурею. К старости все дуреют. У тебя квас где?

— В сенцах. Накрой кувшин-то опять, а крышечку
камешком придави.

Матвей вышел в сени, шумно напился... открыл дверь,
вышел на крыльцо.

С неба лился на теплую грудь земли белый мертвый свет
луны. Тихо и торжественно было вокруг.

— Ах, ночка!.. — тихо сказал Матвей. — В такую-то
ночку грех не любить. Давай, Колька, наверстывай за всех...
Горлань во всю мочь, черт заполошный. Придет время —
замолчишь... Станешь вежливый.

...С работы Колька шагал всегда быстро... Размахивал
руками — длинный, нескладный, с длинными, до колен,
руками. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал, а в ногу, на
манер марша, подпевал:

*“Эх, пусть говорят, что я ведра починаю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки — донышко,
Три копейки — бок...”*

— Здравствуй, Коля! — приветствовали его.

— Здоров, — кратко отвечал Колька и шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и некоторое время резал Стеньку. Потом брал гармонь и уходил в клуб. Потом, проводив Нинку из клуба, возвращался к Стеньке... И работал иной раз до утра.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Колька, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Колька очень талантливый. Он приходил к Кольке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы... Последнее время начал попивать. Колька глубоко уважал старика. До поздней ночи сживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился — слушал про Стеньку.

— ...Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Но и конины не всем хватало. И увидел раз Стенька: один казак совсем уж стощал, сидит у костра, бедный, голову свесил — дошел окончательно. Стенька толкнул его — подает свой кусок мяса. "На,— говорит,— ешь". Тот видит, что атаман сам почернел от голода. "Ешь сам, батька. Тебе нужнее". — "Бери". — "Нет". Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе. "В три господя душу мать! Я кому сказал: бери!" Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Колька, бледный, с горячо повлажневшими глазами, слушает...

— А княжну-то он как! — тихонько, шепотом, восклицает он. — В Волгу взял и кинул...

— Княжну!.. — Захарыч, тщедушенький старичок с маленькой сухой головой на тонкой шее, вскакивал и, размахивая руками, кричал:

— Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.

...Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Колька аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда "делалось", он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

— Сарынь на кичку!

Спину ломило. В глазах начинало двоить... Колька бросал нож и прыгал по горнице на одной ножке и негромко смеялся.

А когда "не делалось", Колька сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову... сидел час, два — смотрел на звезды... потом начинал выть негромко:

— Мм... у-у-у... эх, у-у-у...— И думал про Стеньку.

...Когда приходил Захарыч, он спрашивал в первой избе:

— Николай Егорыч дома?

— Иди, Захарыч! — кричал Колька, накрывал работу тряпкой и встречал старика.

— Здоровеньки булы! — так здоровался Захарыч — "по-казацки".

— Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

— Не кончил еще?

— Нет. Скоро уж.

— Показать можешь?

— Нет.

— Нет? Правильно. Ты, Николай...— Захарыч садился на стул.— Ты — мастер. Большой мастер. Только никогда не пей, Коля. Это — гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай...

Колька подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

— Он про волю поет,— говорил он.— Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен.— И он неожиданно сильным красивым голосом пел:

"О-о-ох ты, воля, моя воля!

Воля-вольная моя.

Воля-сокол в поднебесьи,

Воля — милые края..."

В Кольке перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча... Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать... всех людей. И любовь эта жгла

и мучила — просилась из груди. И не понимал Колька, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.

— Захарыч... милый,— шептал Колька побелевшими губами, и крутил головой, и болезненно морщился.— Не надо, Захарыч, я не могу больше...

Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице. А Колька склонялся над верстачком.

— От же проклятое дело: не могу теперь уснуть без гармошки Колькиной,— жаловался Матвей жене, стелившей постель.— А он, как нарочно, вожжается с ней до полночи. Телка семинтальская, разве ж она так рано отпустит парня!..

— Дуреешь, правда, Матвей.

— Дурею,— соглашался Матвей, вышагивая босиком по избе.

— Вот как перестанет ее провожать, уведет к себе в дом,— что делать-то будешь?

— Прямо не знаю! Я уж седня намекнул ему: подожди, мол, пока со свадьбой, домишко сперва надо перебраться... Куда ты ее приведешь — он уж скоро совсем на бок завалится. Погуляй, мол, пока...

— Вот ведь по-разному люди дуреют: один с вина, другие с горя большого... Ты-то с чего? Не шибко уж и старый-то. Вон у нас — какие старики есть, а рассуждают — любо слушать.

— Дай-ка мне рюмку, к слову пришлось — устал седня что-то... Да, может, и засну лучше. Вот беда-то еще навалилась — хоть матушку-репку пой.

Легли поздно. Гармошки не было.

Матвей, правда, заснул... Но спал беспокойно, ворочался, постанывал и вздыхал — обильно поужинал, выпил стакан водки и накурился до хрипоты.

Гармошки Колькиной все не было.

...Светлым днем по улице села ударила грустная похоронная музыка... Хоронили Матвея Рязанцева.

Люди шли грустные...

Сам Матвей Рязанцев... шел за своим гробом, тоже грустный... Рядом шедший с ним мужик спросил его:

— Что ж, Матвей Иванович, шибко жалко уходить-то отсюда? Ишшо бы пожил?..

— Как тебе сказать, — стал объяснять Матвей, — знамо, пожить бы ишшо — не вредно. Но другое меня счас заботит: страха, понимаешь ли, нет, боли какой-нибудь на сердце — тоже, но как-то удивительно. Все будет так же, как было, а меня счас отнесут на могилки и зароют. Во трудно-то што понять: как же это будет все так же — без меня? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. А люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда уж не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет пять-шесть повспоминают еще, што был такой Матвей Рязанцев, потом — все. А охота уж узнать, какая у них тут будет жизнь. А так — вроде ничего не жалко. И на солнышко насмотрелся вдосталь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало, и... Да нет — ничего. Повидал много. Но как подумаешь, нету тебя, все какие-то есть, а тебя — тю-тю, никогда больше не будет... Как-то пусто им пруде без меня будет. Или ничего, как думаешь?

Мужичок пожал плечами.

— Хрен ее знает...

...Тут невесть откуда вылетел навстречу похоронной процессии табун лошадей... Раздался разбойный свист; люди с похорон сыпанули в разные стороны. Гроб уронили... Из него поднялся Матвей...

— Тыфу, окайнные!.. Я вам кто — председатель или латычка! Бросили, черти...

Матвей со стоном вскочил, долго, с трудом дышал. Качал головой...

— Ну, все: это уж — надо в больницу везти, дурака. Слышь-ка!.. Проснись, — разбудил Матвей жену. — Ты смерти страшишься?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну ты!..

Но вспомнилась опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце сжалось — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

В эту ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звоняря нашего совсем не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя, гуляет. Теперь еще на свадьбу залетится — считай неделя улетела.

“Завтра поговорить надо с Филей”.

День этот наступил. Вернее, утро.

Колька постучал Захарычу в окно.

— Захарыч, а Захарыч!.. Доделал я его.

— Ну?! — откликнулся из темноты комнаты обрадованный Захарыч. — Сейчас... я мигом, Коля!..

Шли темной улицей к Колькиному дому и негромко почему-то, возбужденно говорили.

— Скоро ты его... Не торопился?

— Нет вроде... эту неделю ночами сидел, вплоть до работы...

— Ну, ну... Торопиться здесь не надо. Не выходит — лучше отложи. Это какой-то — или уж слишком бедный, или непомерно самонадеянный человек заявил: “Ни дня без строчки”. А за ним — и все: творить надо каждый день обязательно. А зачем — обязательно? Этак-то “затворишься” — и подумать некогда будет. Понимаешь ли меня?

— Понимаю: спешка нужна при ловле блох.

— Что-то в этом роде.

— Тяжело только, когда не выходит.

— И — хорошо! И — славно! А вся-то жизнь в искусстве — мука. Про какую-то радость тут — тоже зря говорят. Нет тут радости. Помрешь — лежи в могиле и радуйся. Радость — это лень и спокойствие.

Подошли к дому.

— Захарыч,— зашептал Колька,— давай в окно залезем... А то... эта... молодая-то заворчит...

— Ну?! Уже ворчит?

— Ворчит, ну ее! “Чего не спишь по ночам, свет зря мотасшь!”

— Ая-яй!.. Плохо это, Коля. Ах, плохо. Ну, полезли.

На верстачке, закрытая тряпицей, стояла работа Кольки. Колька снял тряпицу...

...Стеньку застали врасплах. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их... Знал он и этих, что ворвались: приходилось, он делил с ними радость и горе тех ранних походов и набегов, когда был он молодым казаком, гуливал с ними... Но не с ними, нет, хотел испытать атаман горькую чашу — это были домовитые казаки. Стало на Дону худо, нахмурился в Москве царь Алексей Михайлович — и они решили сами выдать грозного атамана. Они очень хотели жить как раньше — вольно и сладко.

...Кинулся Степан Тимофенч к оружию, да споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозился. Хрипели. Негромко и страшно матерились. Нашел с себе силы Степан приподняться, успел прилобанить одному-другому могучей своей десницей... Но ударили сзади чем-то тяжелым по голове. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

— Выбейте мне очи, чтоб я не видел вашего позора,— сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Так рассказал Кольке Захарыч. (Рассказ идет на изображение.) И эту трагическую сцену, конец ее, остановила рука художника — Кольки...

Долго стоял Захарыч над работой Кольки... Не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел к окну. И тотчас вернулся.

— Хотел пойти выпить, но... не надо.

— Ну, как, Захарыч?

— Это... Никак...— Захарыч сел на лавку и заплакал — горько и тихо.— Как они его... а! За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады.— Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Колька мучительно сморщился и заморгал.

— Не надо, Захарыч...

— Что “не надо”-то? — сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал.— Они же дух из него вышибают!..

Колька сел на табуретку и тоже заплакал — зло и обильно.

Сидели и плакали.

— Их же ж... их вдвоем с братом,— бормотал Захарыч.— Забыл я тебе сказать... Но ничего... ничего, паря. Ах, гады!..

— И брата?

— И брата... Фролом звали. Вместе их взяли. Но брат — тот... Ладно. Не буду тебе про брата. Не буду.

Чуть занималось светлое утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах...

По поселку ударили ранние петухи.

Тут вышла из-за перегородки жена Кольки, Нинка. Заспанная и недовольная.

— Людям на работу с утра, а они толкутся всю ночь, как... эти...

— Чего ты? — попытался воздействовать на жену Колька.

— Да ничего! И нечего по ночам сюда шлаться. Пить-то и одному можно... А других подговаривать... учителя вроде бы так и не делают.

— Нинка!..

— Не ругайся, Николай... Не надо...

Захарыч, к удивлению Нинки, вылез в окно и ушел.

Как-то Матвей поздно ночью завернул к дому Кольки... Стукнул в окно.

Колька вышел на крыльцо.

— Ты чего, дядя Матвей?

— Так...

Сели на приступку.

— Как оно? — спросил Матвей.

— Да так... Ничего.

Помолчали.

— Вынеси гармонь, сыграй чего-нибудь.

Колька удивленно посмотрел на председателя.

— Ну, што, лень, што ли? То всю деревню ходил булгати...

— Счас вынесу.

Колька принес гармонь.

— Какую?

— Ну... какую-нибудь, какие по ночам играл.

Колька заиграл "Ивушку".

И тут в дверях выросла Нинка... В спальной рубаше, босая.

— Чего эт — ночь-заполночь разыгрались тут!..

Колька перестал играть.

— Людям спать надо, а тут... Нальют глаза-то и ходют... Колька, иди спать!

— Ты што это, Нинка? — удивился Матвей. — И двух недель не живешь с мужем, а уж взяла моду ворчать, как карга старая. Бесстыдница ты такая!.. Што же дальше будет?

— А нечего тут...

— Чего "нечего"? Дьяволы злые. Молодая ишо, радоваться бы надо, а ты уж — как бы поядовитей слово из себя выдавить. Кто это тут глаза налил? Ну?

— И нечего тут...

— Заладила, ворона... Тебя ж, Нинка, любить надо, а где тут! Душа не повернется — так-то будешь. Не бери пример с наших деревенских дур, которые только и знают, что всю жизнь лаются... Будь умней таких. Жизнь-то — всего одна, и та, не успеешь оглянуться, — к вечеру уж. И тут тянет человека оглянуться... Вот и оглядываются — каждый на свое. Не надо, Нина, штоб душа ссохлась раньше времени... Не надо.

Нинка хлопнула дверью, ушла в дом.

— Ты, Колька, не давай ей особо язык распускать...

— Ругаться, что ль, с ней?

— Да не надо бы ругаться-то... Хоть ты умней будь, и толкуйвай почаще...

— Играть?

— Давай.

Колька заиграл опять "Ивушку". Вяло как-то... И Матвей слушал вяло. Потом он сказал:

— Ладно, не надо. Всему, видно, свое время.

Посидели молча. Закурили.

— Игрушки-то свои делаешь?

— Делаю.

— Ну и делай, не слушай никого, ну их к дьяволу. Глянется — делай. А то указчиков много найдется... Посплетничают, позубоскалят — и думают: они хорошие. Клади на всех...

Колька засмеялся.

— А сыграю я, дядя Матвей!

— Валяй.

Колька заиграл веселый мотив...

ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ...

В небольшом русском городке, где-то на окраине, где дальше — за пустырем — виден уже и лес и не дымят трубы, в аккуратном домике из трех комнат жила женщина. Звали женщину красиво — Агриппина, Агриппина Игнатьевна Веселова, попросту — Груша. Было ей тридцать четыре года, и были у нее сын Витька двенадцати лет да брат Николай Игнатьевич, главный бухгалтер пригородного совхоза, да где-то был муж... С мужем они разошлись три года назад: тот взял в подруги... бутылку, и та подруга белоголовая завлекла его куда-то далеко, даже и не слышно было, где он.

Брат Николай приезжал по воскресеньям к сестре и племяннику, старался как-нибудь им помочь, продукты привозил, деньжонок иногда.

И один раз, в воскресенье, приехал он с важным каким-то делом... Но пока дело это не выкладывал, а как обычно, они с Витькиной матерью воспитывали Витьку.

— Ну сладу нет — не слушается, и все,— жаловалась мать.— Совсем парень выпрягся...

— Что же это ты, Витька? — гудел большой дядя Николай, постукивая толстыми прокуренными пальцами по клеенке.— Не годится так, не годится. А что же дальше-то будет, если ты уже сейчас... черт те чего вытворяешь? Ведь матери-то одной трудно с тобой, как ты это не поймешь!..

— Ни дьявола не понимает! На днях чего удумал: взял да соседской свинье глаз выбил...

— Глаз? — удивился дядя Николай.

— Но! Ветеринар, сосед-то... ладно, мужик добрый — не пошел никуда жаловаться. А то бы было дело!

— Зачем же ты ей глаз-то выбил? — спросил дядя.

Лобастый Витька сидел тут же за столом, делал вид, что усердно читает книгу. Молчал.

— Витьк!

— Ну?

— Зачем глаз-то свинье выбил?

— Я нечаянно,— буркнул Витька.

— “Нечаянно”! — воскликнула мать.— Знаю я, как нечаянно... Нечаянно.— И повернулась к брату — рассказать: — Я его все в пример ставлю, ветеринара-то: выучился человек, теперь живет-поживает, в доме-то только живой воды, наверно, нет... Бери, мол, пример — приглядывайся. А он его и невзлюбил...

— При чем же тут животное, если тебе человек не поглянулся? Витьк!

— Ну?

— Разве можно такие вещи делать?! Ты что, живодер, что ли?

Витька молчал.

— Папа родимый — привыкнется, и не сдвинешь с места,— заключил дядя Николай. Помолчал. Спросил сестру: — Где он сейчас? Не слышно?

— “Где”! — горько воскликнула мать.— У него дорог много, и все — веселые.

— Алименты-то шлет?

— Шлет.

— Эх, Витька, Витька...— вздохнул дядя Николай.— Что ж ты так живешь-то? А?

Витька молчал.

— Витька!

— Ну?

— Чего молчишь?

— Я читаю.

— Что ты мне очки втираешь! — осердился дядя Николай.— Читает он!...— Потянулся, взял у Витьки книгу.— Что ты читаешь? То ж — задачник! Кто же так задачник читает... как художественную литературу. Менделеев мне нашелся!

— Вот так он меня все время обманывает,— сказала мать.— Спросишь: Витька, выучил уроки? Выучил! А где выучил, где выучил — ничего не выучил, одна улица на уме...

— Ты эту улицу брось, Витька,— резонно стал убеждать дядя Николай.— Она до добра не доведет. Хватишься потом, да поздно будет. Вот он, близко будет, локоть-то, да не укусишь. Улица от тебя не убежит, а время уйдет, не воротись. Ты лучше возьми да уроки хорошенько выучи,

чем... глаза-то свиньям вышибать. Чем выбил-то, камнем, что ли?

Витька водил пальцем по синим клеточкам клеенки. На вопрос только неопределенно поморщился и пожал плечами.

Дядя помолчал и спросил совсем другим тоном — мирно, несколько удивленно:

— Так что, здесь тоже свиней держут?

— Держут, — откликнулась мать. — А чего? Мужик-то в доме, так и держут. Зато всю зиму без горюшка — с мясом. Мужик-то есть, чего не держать?

— Витька, — повернулся дядя к Витьке, — иди учи уроки в ту комнату, мне надо с матерью поговорить.

Витька незаметно с облегчением вздохнул и ушел в другую комнату. Накачка кончилась.

— Я вот о чем с тобой, — заговорил Николай негромко. И посмотрел на часы. — Помнишь, я тебе говорил про мужика-то?..

— Ну, помню.

— Это... видал я его в пятницу, говорил с ним...

Груша насторожилась. Заинтересовалась.

— Ну?

— Он придет сегодня... — Николай опять глянул на часы. — Через десять минут.

— Батюшки! — испугалась Груша. — Чего же ты молчишь-то сидишь? Надо же хоть маленько прибраться, что ли?..

— А что у тебя?.. Нормально и так.

Груша вскочила было, но оглянувшись, села опять.

— Так ты расскажи про него... Что хоть за человек-то? Ты откуда его знаешь-то?

— Учился с ним на курсах бухгалтеров вместе...

— Так это когда было-то!

— Давненько. А тут встретил сго — я в банк приехал, и он туда же пришел. Ну, разговорились... Ну как, мол, живешь?.. То, се... Одиноким он счас — разошлись тоже, двое детей было...

— А чего разошлись-то?

— Пил тоже...

— Вот те на! Так это, что же мне, шило на мыло менять?

— Да погоди ты! Пил, счас не пьет — лечился, что ли, или так бросил, не спрашивал. Но твердо знаю, что счас не пьет. Хороший мужик. Я рассказал про тебя: вот, есть, мол, сестра — одинокая тоже, парнишка в пятом классе... Приду,

говорит. Посмотри, может, что и выйдет у вас. Чего же одна будешь с этих лет...

Через приоткрытую дверь в горницу Витька слышал весь разговор. Навострил уши.

— Страшно, Коля,— говорила мать.— С одним всадилась до ушей... Но тогда хоть молодая была — простительно, а теперь-то — это уж глупость будет несусветная. Сама себя исключашь...

— А не торопись, никто тебя силком не гонит,— отвечал на это Николай.— Присмотрись сперва... Да и он, думаю, тоже не кинется сломя голову. Алименты только с него здоровые дерут...

— Да это-то... черт бы его бей, с алиментами, они все нынче с алиментами. И я-то ведь не девка. Был бы человек хороший. Не зряшний какой...

— Да нет, он так-то ничего вроде. Вон он идет! Особо не суетись — тоже не в поле обсевок. Но и... это... не строй из себя... Нормально, как всегда...

— Да уж как-нибудь сумею. А семья-то его где, здесь живет?

Николай не успел ответить. В дверь снаружи постучали.

— Ну? — кивком показал на дверь Николай — откликнись, мол.

Груша чего-то растерялась...

Помолчали и вместе сказали:

— Да!

— Войдите!

Вошел носатый, серьезный, преуспевающий на вид человек лет этак сорока трех — сорока пяти. В добром, сталистого цвета плаще, при шляпе и при большом желтом портфеле. Маленькими глазами сразу с любопытством воткнулся в женщину... Но смотрел ровно столько, сколько позволило первое приличие.

— Ну вот, не заблудился,— сказал он.— Здравствуйте.

Николай поднялся ему навстречу.

Поздоровались за руку.

— Сестра моя... Груша — знакомьтесь,— представил Николай.

Груша, по-молодому еще стройная, ладная, тоже поднялась, подала руку.

— Владимир Николаевич,— назвалась гость.

— Груша.

— Груша — это... Графена?

— Агриппина,— сказал Николай.— Это родители наши всрующие были, ну, крестили, конечно... Хорошо, я под Миколу-Угодника угодил, а то был бы тоже какой-нибудь... Евлампий.— Николай мелко, насильственно посмеялся.— У нас был в деревне один Евлампий...

— Он потом переменял имя,— сказала Груша.

— Да, потом, правда, променял на... забыл, кто он стал-то?

— Владимир?

— Тезки, значит.— Владимир Николаевич тоже искусственно посмеялся.

— Садитесь,— пригласила Груша.

— Спасибо. Я бы разделся...

— О господи! — спохватилась Груша. И покраснела.— Раздевайтесь, пожалуйста!

Она была еще хороша, Груша. Особенно заметно стало это, когда она суетилась и на тугие скулки ее набежал румянец, и глаза, широко расставленные, простодушно, искренне засмеялись.

Владимир Николаевич опять ненароком прицелился к ней мелким, острым взглядом.

— Витька! — громко позвал дядя Коля.— Иди-ка сюда. Вошел Витька.

— Познакомься с... дядей Володей,— сказал дядя Коля. Витька стоял и смотрел на носатого дядю Володю.

— Ну, герой!..— добренько сказал дядя Володя. И поискал в карманах у себя...— На-ка — пиратом будешь.— Подал простенький пистолетишко, который даже и без пистонов был, а просто чакал.

Витька не смог сдержать снисходительную ухмылку. Чакнул пару раз...

— Это для первачей только.

Матери стало неловко, что сын у нее такой неблагодарный. Она опять покраснела.

— Ну, Витька!..— сказала она. И засмеялась, и опять доверчиво и ясно засмеялись ее глаза.

— Ну, дядя Володя тебя еще не видел, не знал, что ты такой большой,— пришел на выручку дядя Коля.— В следующий раз принесет... А что тебе, пушку, что ли, надо?! Какой!

— Садитесь, Владимир Николаевич,— пригласила мать.

Владимир Николаевич прихватил портфель и прошел с ним к столу. Присел, портфель поставил возле ног.

— Тепло как на улице-то,— сказал он.— Все же — сентябрь месяц, должно уже чувствоваться...

— Ну что, Витька? — спросил дядя Коля.— Небось на улицу лыжи наострил? Ну, иди, иди, а то там дружки твои заждались.

Витька вопросительно глянул на мать.

— Иди, поиграй,— разрешила мать.

Витька ушел.

Дружков у Витьки было несколько. Но самый задушевный, самый верный и умный, кому Витька подражал во всем почти, был Юрка, девятиклассник, квартирант старика Наума Евстигнеевича, что жил по той же улице, через три дома.

У Юрки нелегкое положение. Отца у него нет, погиб на лесоповале, одна мать, а у матери кроме Юрки еще трое на руках — мал мала меньше. Мать живет в небольшой деревне, в сорока километрах отсюда, там вот нет десятилетки. Мать бьется из последних сил: хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский. Единственный, перед кем Витьке совестно, что он плохо учится,— перед Юркой.

Огромный старик Наум Евстигнеевич хворал с похмеля. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — старик аккуратно напивался. И после этого дня по два лежал в лежку.

— Как черти копытьями толкут! — слабо удивлялся старик на печке.— О! О! Что делают!..

Юрка учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка,— возвестил старик.— Все.

— Не надо было напиваться,— жестко сказал Юрка: старик мешал ему.

— Молодой еще рассуждать про это — надо, не надо. Шибко уж много вы нынче знаете!

Юрка ниже нагнулся к книге.

— А что же мне делать, если не выпить? — Старик охота поговорить: все, может, полегче будет.— Все ученые стали! — Старик всерьез недолюбливает Юрку за его страсть к учению. У него свои дети все выучились и разъехались по

блему свету; старик остался один и винит в этом только учение.— В собаку кинь — в ученого попадешь.

Юрка молчит. Шевелит губами.

Вошел Витька.

— Здорово, Витька! — сказал старик.— Хвораю.

— Опять? — спросил Витька.

— Вон дружок твой ругает, что выпил... Должен же я хоть раз в месяц отметиться.

— Зачем? — спросил Юрка, откинувшись на спинку стула и подмигнув Витьке на старика.— Зачем напиваться-то?

— Что я, не человек, что ли?

— Хм...— Юрка качнул головой.— Рассуждения, как при крепостном праве. Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — Старик смотрит сверху страдальчески и снисходительно.— Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка, а сидит рассуждает...

Юрка скосоротился и безнадежно махнул рукой.

Витька подсел к нему.

— Как дела? — спросил Юрка негромко.

— Ничего!

— Все знают! — разошелся старик.— Все на свете знают. А чего человек с похмелья хворает, это вы знаете, товарищи ученые?

“Ученые” переглянулись...

— Отравление организма,— отчеканил Юрка.— Отравление сивушным маслом.

— Где масло? В водке?

— Так точно, ваше благородие! — Юрка с Витькой хихикнули.

— Доучились! — Старик доволен, что поймал зеленых на явной глупости.— А сыра там нет случаем? Хэх, елки-палки!..

— Хочешь, я тебе формулу покажу? — вскочил Юрка.— Сейчас я тебе наглядно докажу... На! Вот она, формула...

— Пошел ты со своей формулой! О-ох, опять накатило... О, что делается!

— Ну, похмелись уж тогда, чего мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение.

Витька заговорщически наклонился близко к другу и сказал тихо:

— Денег жалко. На похмелку-то.

Юрка согласно кивнул головой: знаю, мол.

— Я тебе сала маленько принес. В сенцах оставил.

— Дядька приехал?

Витька кивнул.

— Еще какой-то гусь пришел — к маме. Володя какой-то.

— Зачем?

Витька пожал плечами.

— Сватать, что ли... Он прямо не говорит. Пистолет вот подарил.

— Ну-ка? Ой, ну и пистолет!

— Он думал, я еще маленький.

— Витька, отец-то пишет? — спросил старик. — Где он сейчас?

— Не знаю, — неохотно сказал Витька.

— Помогает вот он вам?

— Не знаю. Помогает.

— Носит нынче людей по белому свету... И моих где-то черт носит. Вот оно, ученье-то!

— Радоваться надо, что дети выучились, а он... ворчит, — заметил Юрка.

Старик приподнялся на локте.

— Сколько тебе лет учиться до хирурга?

— Шестнадцать. Десять плюс шесть в медицинском институте.

— Так, — зловеще гнул старик. — А сколько ты будешь получать?

— Не в этом дело...

— Нет, сколько?

— Я не интересуюсь зарплатой.

— А-а, завилял? Зарплатой не интересуется... Видали ухара? Витька, дай ему там подзатыльник, хвастунишке. Зарплатой они не интересуются!.. Только старикам шиш высылают.

— Что, у тебя денег, что ль, нету?

— Есть. Не про вашу честь.

— Ну и вот.

— Я тебе про другое толкую: на кой шут жилы-то из себя тянуть столько лет? Иди вон на шофера выучись да работай. Они вон по сколь зашибают. Да ишо приворовывают: где лешишко кому подкинет, где угля — деньги. И матери бы помог. У ей ведь трое на руках... Шутка в деле! Кажилитесь на тебя, кажилитесь, а ты потом — хвост трубой и завьешься в большой город.

— Не твое дело.

— Знамо, не мое. Я чужой человек, плотишь мне пять рублей — живи на здоровье. Мне матерю твою жалко. Легко, думаешь, ей с вами?..

— Проживем! — резко сказал Юрка. — Никому до этого... Исчего! Жили и проживем.

— Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету. Ты нишо кто? — сосунок, а уж по квартирам ошиваешься. Дома родного не знаешь.

— Если дома нет десятилетки, что я теперь?

— Во-от! “Десятилетки”, “пятилетки”... Жили раньше без всякого ученья — ничо, бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас одно на уме — “раньше”!

— А то... ирапла-анов наделали — дерьма-то.

— А тебе больше глянется на телеге?

— А чем плохо на телеге? На телеге-то я если поехал, то хоть знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернесся с этого своего ираплана — костей не соберут.

Юрка махнул рукой.

— Витька, спорь с ним, если охота. Мне надо учить.

— А космос? — значительно спросил Витька старика.

— Что “космос”?

— Космос. Куда наши космонавты лётаят...

— Летают, — поправил Юрка.

— Летают, — поправился Витька.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин. Много уже.

— А чего они туда летают? Ну и что, что летают? Что толку-то?

— Во, дает! — воскликнул Юрка, опять откинувшись на спинку стула.

— Понял? — сказал Витька. — А что, им лучше на печке лежать?

— Чего вы привязались с этой печкой? — обиделся старик. — Доживите до моих годов, тогда вякайте. Только сперва доживите.

— Я же не в обиду тебе говорю, — продолжал Витька. — Но спрашивать, зачем люди в космос летают, — это, я тебе доложу...

— Доложи, сделай милость. Доложи старику. Я, видишь, не спрашиваю, зачем ты, паршивец, ко мне в сад лазишь — знаю потому что, а в космос — не знаю, доложи, сделай милость.

Витька великодушно пропустил мимо ушей замечание про сад.

— Ну, во-первых: основание космоса — это... надо. Придет время, люди совсем сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры, так? А на Венере, может, тоже люди живут...

— На Марсе,— поправил Юрка.

— Ну, на Марсе. Разве ж не интересно глянуть на их?

— Они такие же, как мы?

Витька оглянулся на Юрку... Юрка пожал плечами.

— Этого я точно не знаю,— честно сказал Витька.— Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся,— сказал старик.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — Старик явно заинтересовался Витькиным рассказом.— Незванный гость хуже татарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются.

— Еще неизвестно, кто из нас умнее,— включился в разговор Юрка.— Может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим...— Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе.— Мы же еще не знаем, сколько еще таких планет, похожих на Землю. А их, может, много! И везде живут... существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, что ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! “Жениться”...

— У них одно на уме — жениться,— недовольно заметил Витька.

— Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Вот тогда будет жизнь! Захотел ты, допустим, своих сыновей повидать прямо с печи — пожалуйста: включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Ругайся, если хочешь. А медицина будет такая, что люди будут до ста — ста двадцати лет жить...

— Ну, это уж ты... приврал.

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок. Мы только не располагаем данными... Но мы их возьмем у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс...— Юрка даже слегка кокетничает, изображает из себя какого-то учителя.— Может, мы и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро.

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство...

— “Средство”... Открыли бы лучше какое-нибудь средство от похмелья. А то башка, как...

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали. Юрка опять решительно сел за учебник.

— У вас только одно на языке: “Будет! Будет!” — опять начал старик.— Трепачи. Ты вот — шешнаццать-то лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты сделаешь?

Юрка не намерен больше болтать. Молчит.

— Вырежет ему чего-нибудь,— сказал Витька.

— Да если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?

Витька не знал.

— Я на такие... темные вопросы не отвечаю.

— Нечего отвечать, вот и не отвечаете. Светлые ваши головушки... только мякиной набиты.

— Нечего? — опять вскочил Юрка.— А вот эти люди?..— сгреб кучу книг и показал.— Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего — вранье одно. У меня на квартире жил один...

— Во дает?! — сказал Витька.

— Ладно! — Юрка опять начал ходить по избе.— Чума раньше была?

— Была. У нас в двадцать...

— Где она теперь? Есть?

— Не приведи господи! Может будет...

— В том-то и дело, что больше не будет. С ней научились бороться. Дальше! Если бы тебя раньше укусила бешеная собака, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.

— И помер бы. А сейчас — сорок уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас — пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые. “Вранье”... Хоть бы уж помалкивали, если не знаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Ладно. Собака — это ладно. А змея укусит?.. Где они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало пошепчет — и как рукой снимет. А ведь она институтов ваших не кончала.

— Укус был не смертельный, вот и все. Это элементарно.

— Иди подставь: пусть она тебя разок чикнет...

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю и пусть кусает, сколько влезет — я только улыбнусь.

— Хвастунишка.

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал на книги. — Люди на себе экспериментировали! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он умирает...

— Как это? — очень заинтересовался старик.

Витька тоже не слышал про это.

— Так. “Вот,— говорит,— сейчас у меня холодеют ноги — пишите”. Они писали. Потом руки отнялись. Он говорит: “Руки отнялись”.

— А они пишут?

— Они пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: “Пишите”. Они плакали и писали. — У Юрки у самого на глазах показались слезы. На старика тоже рассказ произвел сильное действие.

— Ну?

— И помер. И до последней минуты рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими вашими бабками еще бы... триста лет в темноте жили. “Раньше было! Раньше было!” Какие-то кулацкие уклоны... Вот так было раньше? — Юра подошел и включил радио. Пела певица. Немного все послушали ее. — Где она? — спросил Юрка.

— Кто?

— Певица-то. Ее же нет здесь, а поет.

— Так это по провода-ам.

— Это радиоволны! “По провода-ам”. По проводам — это у нас здесь. А она, может, где-нибудь в Москве или в Ленинграде поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке, видел: вдоль железной дороги провода висят. На столбах. Чего ты говоришь-то?

Юрка махнул рукой.

— Тебе не втолковать! Мне надо уроки учить. Все.

— Ну и учи.

— А вы отрываете. — Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал усердно читать.

Долго в избе было тихо.

— Витька, а ты на кого хочешь учиться? — спросил старик.

Витьку этот вопрос застал врасплох.

— Я пока выбираю,— сказал он.

— На кого он будет учиться! — оторвался от книги Юрка.— У него по арифметике плохо. Не исправил, Витька?

— Не...

— Что ж ты?

— Знаешь на кого учишься? На судью,— посоветовал старик.

— О-о! — удивились ребяташки.— Чего это?

— Люди будут бояться. Скажут: вон, вон судья идет! Большое дело.

— Тогда уж — на прокурора,— сказал Витька.— Он пострашней.

— Прокурор — это не все понимают, что страшно. А вот судья... это судья. Это уже тюрьмой пахнет.

Еще помолчали.

— Он есть на карточке? — спросил вдруг старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Витьке тоже показал редкостного ученого.

— Старенький уж был,— сказал Евстигнеев жалостливо.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые.— Юрка отнял книгу.— И не валялся потом на печке, не матерился...

— Чего вы взъелись-то на меня?! — вскричал больной старик.— Ты гляди что — житья не дают! Комиссары на-шлись... Вам ба по тогдашнему делу — только комиссарами быть. Они тогда молодые были... Такие же вот... молокососы заполошные. Командовали.

Юрка сел опять за учебники, а Витька стал листать книжку с портретами ученых.

— Ох, мать ты моя-а!..— закричал опять старик. И полез с печки. Надел валенки, взял нож и вышел в сени.

— Куда это он? — спросил Витька.

Юрка пожал плечами.

— Ну и что этот гусь? — спросил Юрка.— Наверно, отцом твоим станет?

Витька уставился на друга, точно до него только сейчас дошел истинный смысл прихода дяди Володи в их дом.

— “Отцом”? — переспросил он.

— Ну а кем же? Не родным, конечно, но жить-то у вас будет.

Вошел старик... Нес в руке добрый кус сала.

— Нате поешьте... ученые. А то, пока дойдете до своих хирургов-то,— загнетесь.

— Зачем? У меня есть — мне Витька принес...

— Ешьте! “Витька принес”... У Витьки самого... зад сверкает. Безотцовщина. Ешьте, это доброе сало, не базарное.

— Нам дядя Коля привез из деревни — тоже доброе,— вступился Витька за свое сало.

— В деревне теперь разучились солить. Не разучились, а... не хотят. Тоже все на базар норовят: как попало посолил, лишь бы вид сохранить.— Старик опять полез на печку.— Ох, язви ты в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Давай, мы сбегает за четвертинкой? — еще раз предложил Юрка.

Старик помолчал.

— Не надо,— сказал.— Перемаюсь как-нибудь.

Ребятишки достали хлеб и принялись за сало.

— Ну и как мне его теперь, папкой, что ли, звать? — спросил Витька негромко.

Юрка пожал плечами.

— К нам, когда папка помер, тоже приходил один... я его дядей Сашей звал. Не мог. Я папку-то хорошо помню.

— И я помню.

— Ну и будешь дядей звать... Нечего их наваживать. Старый?

— Старый,— сказал Витька, всерьез озабоченный новым “папкой”.

— А у него, что же, родных-то никого не было, что ли? — спросил старик с печки.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

— Были, конечно. Никого если б не было родных-то, немного надиктуешь. Плохо человеку одному. Не приведи господи!

...Мать Витькина громко засмеялась.

— Не знаю,— сказала она.— Я так не думаю.

— Уверю вас! — тоже улыбаясь, воскликнул слегка заалевший Владимир Николаич.

И дядя Николай тоже слегка заалел... Всем было хорошо, все слегка поразмякли.

— А не спеть ли нам?! — догадался дядя Николай.— А? Эх, Витьки нет, он бы нам сейчас на баяне подобрал какую-нибудь.

— Хорошо играет? — спросил Владимир Николаич.

— Мой подарок,— не удержался, похвастал дядя Николай.— На день рождения ему отвалил — пускай учится.

— Люблю музыкальных детей,— сказал Владимир Николаич.

— Так споем, что ли!

— Какую? — спросила Груша.

— Давай какую-нибудь. Ты у нас песельница.

— Ну, прямо!.. Нашел песельницу.

И вдруг Владимир Николаич, прикрыв маленькие петушинные глаза, зачастил не шутя, козлом:

— “Небо, небо, небо, небо-о”!..

Хотел-то он всерьез, но так это вышло смешно и нелепо, что Николай и Груша засмеялись. Тогда засмеялся и Владимир Николаич — будто он хотел пошутить.

— Давай, Груша! — попросил опять Николай.— Помнишь, про колечко как-то... Про любовь, про колечко. Ты часто пела...

Груша, справившись со смущением, вскинула голову, как-то простецки-смело глянула на “суженого”, усмешливо улыбнулась и негромко, красиво запела:

*“Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина-а?
Головой-ой склоняясь
До самого тына-а...”*

Брат Николай неожиданно хорошо, в лад поддержал:

*“...Голово-ой склоняясь
До самого-о тына-а”.*

Они, видно, певали раньше — славно у них вышло.

“Там через дорогу...” —

повела дальше Груша:

*“За-а рекой-ой широкой
Та-ак же о-одинок
Ду-уб стоит высокий”.*

Владимир Николаич заблеял было:

“Та-ак же одиноко-о...”

Но — смолк. Не умел он. Стал слушать.
Брат с сестрой пели:

*“Как бы мне, рябине,
К ду-убу перебраться,
Я б тогда-а не стала-а
Гнуться и качаться-а!..
Ох, я б тогда-а не стала-а...”*

Тут вошел Витька.

Песня погибла. Мать что-то опять смутилась, вскочила из-за стола, улыбаясь, и какой-то извиняющийся тон появился.

— Сынок пришел! Поестъ хочешь?

— Нет, — сказал Витька. — Я у Юрки поел...

— Господи!.. “У Юрки”. Он и так едва концы с концами сводит, а он объедает ходит...

— Нам дед Ефим сала дал.

— Витьк, ну-ка, сыграй нам! — сказал дядя Коля. — А?

— Я уроки не выучил, — сказал Витька. И посмотрел на дядю Володю не очень любезно.

— Ну, сыграл бы... — попросила и мать.

— Хо!.. Говорят: уроки не выучил...

— Что ж ты их до сих пор не выучил? — обиделся дядя Коля. — Ох, Витька, Витька... Ну, иди учи.

Матери неловко стало за столь открытую нелюбезность сына.

— Ну, иди, иди — учи, — тоже сказала она.

Витька ушел в горницу.

Дядя Володя поднялся...

— Ну, пора и честь знать, как говорят.

— Да посиди еще! — воскликнул Николай.— Чего ты? Еще успеешь. Куда торопиться-то?

— Посидите,— сказала и Груша.

— Да нет, пойду... А то темно станет. Включу сейчас телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Витька у себя в горнице похоже передразнил дядю Володю.

— Да нет, пойду... А то темно станет, хулиганов полно на улицах... Гусь-Хрустальный.

— Ну, приходите... Не забывайте,— слышалось из большой комнаты. Мать говорила.

— Ладно, ладно — приду,— опять изобразил Витька ненавистного ему гостя.— В воскресенье приду. Может, в субботу... Явлюсь, так сказать.

И стал дядя Володя являться. По субботам и воскресеньям.

Раз явился:

— Здравствуйте. Немного все же похолодало. Чувствуется. Лист уже пожелтел.

Два явился:

— Здравствуйте. Сегодня потеплей. Но все равно скоро — конец. Лист только до первого ветра: слетит.

Три явился:

— Слетел. Голенькие стоят. Пора.

Один раз мать с Витькой откровенно поговорили.

— Уроки выучил?

— Выучил.

— Ну-ка сядь — поговорим. Как тебе дядя Володя-то?

Витька хотел увилинуть от ответа. Пожал плечами, как он делал, когда не хотел говорить прямо.

— Что? — спросила мать.

— Ничего...

— Не глянется?

Витька опять пожал плечами.

Мать кивнула головой, подумала... И вдруг засмеялась милым своим, ясным смехом.

— Ох, и но-ос!.. На семерых рос, одному достался. А, Витька?.. Вот так нос!

Витька моментально осмелел, затараторил:

— Да он этим своим носом всю мебель нам посшибает! Это же не нос, а форштвень!

— Руль,— коротко определила мать.— Но... Витька... дружок: нам не до жиру — быть бы живу. Так, сына. Дело наше... неважноецкое.

— Да что, с голоду, что ль, умираем?

Мать засмеялась.

— Да нет, что же?... Нет. Немолодая уж я, сынок,— выбирать-то. Вот штука-то. Время мое ушло. Ушло времечко...— Мать вздохнула.— Десять бы годков назад — этот бы дядя Володя...— И не стала досказывать. А стала говорить совсем другое — может, себя убеждала:

— Да он неплохой — так-то... Вон какой рассудительный. Не пьет.

— Не пьет, а по бутылочке всегда приносит.

— Да это ж... что ж? Разве это пьет? Так-то пьет — это не страшно...

— С бутылочки все и начинается,— стал тоже рассуждать Витька.

Мать опять засмеялась.

— Нет, у него тоже уж теперь — не начинается. Сам не молодой. Нет, так-то... зачем же зря человека хаять? Не надо. Не витязь, конечно, но...

— Какой уж там витязь — гусь!

— Не надо так! — строго велела мать.— Разговорился! Малой еще — так разговаривать. Ишь ты... Подрасти сперва, потом уж рассуждай. А то... больно языкастые нынче стали.

И опять пришел дядя Володя.

Витька увидел его раньше в окно.

— Идет! — крикнул он.

— Кто?

— Ну, кто?... Хрустальный!

— Витька! — сердито сказала мать.— Ну-ка, отойди оттуда, не торчи.

Витька отошел от окна.

— Играть, что ли?

— Играй, какую-нибудь... поновей.

— Какую? Может, марш?

— Да зачем же марш-то? Генерал, что ли, идет? Вот, какую-то недавно учил...

— “Венок Дуная”? Мы его еще не одолели. Давай “Смешное сердце”?

— Играй. Она грустная?

— Помоги-ка снять... Не так чтобы очень грустная, но за душу возьмет. Ручаюсь.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Витьке на колени.

— Там есть, например, такие слова: “Смешное сердце, не верь слепой надежде: любовь уходит...” Куда уж грустней — зареветь можно.

— Да уж...

Витька заиграл “Смешное сердце”.

Вошел дядя Володя, аккуратненько отряхнул шляпу у порога и тогда только сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Владимир Николаич, — приветливо откликнулась мать.

Витька перестал было играть, чтоб поздороваться, но увидел, что дядя Володя не смотрит на него, отвернулся и продолжал играть.

— Дождик, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять.

Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, состоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит — переставит. За время, пока он сюда ходил, он осмелел, вошел во вкус единоличного говорения — когда слушают.

— Пора... Сегодня у нас... что? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

— Лист облетел? — спросил Витька.

— Весь. Отдельные листочки еще трепыхаются, но... скоро и эти слетят.

Дядя Володя прошел к столу, вынул из портфеля бутылку шампанского. Поставил на стол.

— Все играешь, Витя?

— Играет! — встряла мать. — Приходит из школы и начинает — надоело уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь; Витька даже приостановился играть, изумленно глянул на мать... и продолжал играть. Вообще Витьку удивляло, что мать, обычно такая живая, острая на язык, с дядей Володиной во всем тихо соглашалась.

— Хорошее дело, — похвалил дядя Володя. — В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию — все будут строевой шаг отбатывать, а ты — в Красном уголке на баяне тренироваться.

— На баяне не тренируются, — сказал Витька. — Тренируются на турнике.

— А на баяне что же делают?

— Репетируют.

Дядя Володя снисходительно посмеялся... Посмотрел на мать, показал глазами на Витьку.

— Все знают.

— Ну, они нынче...

Витька тоже посмотрел на дядю Володю... И ничего не сказал. Продолжал играть "Смешное сердце".

— Садитесь, Владимир Николаич. Садитесь.

— Если талант есть — большое дело, — продолжал дядя Володя, сев за стол. — С талантом люди крепко живут.

— Наоборот, — опять не выдержал Витька. — Юрка говорит: талантливым всегда первым попадает.

— Витя!..

— Какой Юрка?

— Да мальчик тут один... по соседству, — пояснила мать.

— Давайте, Владимир Николаич...

— С плохими товарищами не знайся, — сказал дядя Володя.

— Да вот, он хороший мальчик... учится хорошо. На квартире здесь живет. Витя, ты если сел играть, играй.

— Играю.

— Попадает, Виктор, не талантам, попадет... неслухам, грубиянам — этим попадает, верно. А талант... — это талант. Ну, и учиться, конечно, надо само собой.

— Вот учиться-то... — Мать строго посмотрела на Витьку. — Лень-матушка... вперед нас, видно, родилась.

Витька поддал на баяне.

— Витька, смотри, маленько. В ушах, правда, звенит.

— Плохо с учебой, Виктор?

— Чего только не делаю: сама иной раз сяду с ним: "Учи! Тебе ведь надо-то, не мне". Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы отец-то... Нас-то много они слушают!

— Отец-то пишет, Виктор?

— А чего ему писать? — отвечала мать. — Алименты свои платит и довольный. А тут рости как знаешь.

— Алименты — это удовольствие ниже среднего, — заметил дядя Володя. — Двадцать пять?

— Двадцать пять.

— Стараться надо, Виктор. Маме одной трудно.

— Понимали бы они...

— Ты пришел бы из школы, сразу раз — за уроки. Уроки приготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Витька играл "Смешное сердце".

Дядя Володя открыл бутылочку шампанского.

— Как она у нас — пук! — засмеялся он, довольный.

— Надо наклонять, — встрял Витька, — тогда и “пук” не будет.

— Шампанское должно пу... стрелять, — авторитетно сказал дядя Володя. — Прошу вас, Агриппина Игнатьевна. — И дядя Володя опрокинул шампанское в большой рот.

— Ху-у-у, — сказал он. И поморгал маленькими глазами. — В нос дает.

Витька захохотал.

Мать с укоризной поглядела на него.

— Держите, Агриппина Игнатьевна.

Мать тоже выпила... И долго улыбалась и вздрагивала.

— Стремиться надо, Витя, — продолжал дядя Володя, наливая еще два фужера.

— Уж и то говорю ему: “Стремись, Витька...”

— Говорить мало. Что говорить!

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя кивнул головой, приглашая Грушу опрокинуть фужерчик.

— Ху-у-у, — опять сказал он. — Все: пропустили по поводу воскресенья, будет. — Дядя Володя закурил. — Я ведь злоупотреблял, крепко злоупотреблял...

— Вы уже рассказывали. Счастливый человек — сократились... Взяли себя в руки.

— Бывало, утром на работу идти, а от тебя, как от циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего — откроешь рот, он побрызгает, тогда уж идешь. Хочешь на счетах три положить — кладешь пять.

— Гляди-ка!

— Да. В голове — дымовая завеса, — обстоятельно рассказывал дядя Володя, полагая, что это и занимательно и поучительно. — А у меня еще стол напротив окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли же комичные возникают: в ведомости, допустим, написано: “Такому-то на руки семьдесят пять рублей”. А ты думаешь: “Это ж сколько поллитр выйдет?!” Хе-хе... И ведь начинаешь делить, вот что самое любопытное. Делить начинаешь невольно!

— До чего можно дойти! — сочувственно заметила мать. — Ай-яй!

— Гораздо дальше идут. У меня приятель был — тот все по ночам шанец искал...

— Что это?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал, искал, и показалось же ему, что кто-то позвал с улицы, шагнул с балкона — и все, не вернулся.

— Разбился?!

— Ну, с девятого этажа... Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: “Эй, вы что?!”

— Сердешный,— вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Витьку.

— Отдохни, Виктор. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как у нас главный говорит. Тоже бросил пить и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить. Давай заполним.

Витька посмотрел на мать.

Мать улыбнулась.

— Ну отдохни, сынок.

Витька с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромодила баян на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учишься, Виктор. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли с женским полом, а ты — раз за шахматы: “Желаете?” К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— Трояк.

— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: “Е-два, Е-четыре, как сказал гроссмейстер”. А ты не знаешь, где это написано. А надо бы знать. Двигай.

Витька походил пешкой.

— А зачем говорят-то: “Е-два, Е-четыре...”? — спросила мать, наблюдая за игрой.

— А шутят,— пояснил дядя Володя.— Шутят так. А люди уже понимают: “Этого голой рукой не возьмешь”. У нас в типографии все шутят. Ходи, Виктор.

Витька походил фигурой.

— А вот пили-то,— поинтересовалась мать,— жена-то как же?

— Жена-то? — дядя Володя задумался над доской: Витька сделал неожиданно каверзный ход.— Реагировала-то?

— Да, реагировала-то?

— Отрицательно. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Не только из-за этого, но большинство из-за этого. Вот так, Витька! — дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен.— Из-за этого и горшок об горшок у нас получился.

— Как это? — не понял Витька.

— Горшок об горшок-то? — дядя Володя снисходительно посмеялся. — Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать тоже засмеялась.

— Еще рюмаху, Владимир Николаич?

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения — и будет. Раньше не отказался бы. Я ведь злоупотреблял...

— Вы говорили уже. Не думаете сходить-то? — вдруг спросила мать.

— С кем, с ней? Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Дело принципа: она мне параллельно с выпивкой таких... вещей наговорила... Я, по ее мнению, оказываюсь "тоскливый дятел".

Мать и Витька засмеялись. Но мать тотчас спохватилась.

— Что же это она так? — сказала она якобы с осуждением той, которая так образно выразилась.

— Сильно умная! — в сердцах сказал дядя Володя. — Пускай теперь...

Пока дядя Володя волновался, Витька опять сделал удачный ход.

— Ну, Виктор!.. — изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Витьку за штанину — уступи, мол. Витька протестующе дрыгнул ногой — он вошел в азарт.

— Так, Витенька... — дядя Володя думал, сморщившись. — Ты так? А мы — вот так!

Теперь Витька задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивала мать.

— Проведу. — Дядя Володя закурил. — Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет сейчас небось?

— Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У меня сейчас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой придешь — сердце радуется. Включишь телевизор, обстановку какую-нибудь посмотришь. Хочу еще софу купить.

— Ходите, — сказал Витька.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка подкрашенный нос.

— Так, Витька... Ты так? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские... Раздвижные — превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу...

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку в Сибирь ездит, закажу ему, он привезет.

— А волчья хуже? — спросил Витька.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Витя.

Дождик перестал, за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Скоро зима, — вздохнула мать.

— Это уж как положено. У вас батареи не за... Хотя у вас же печное! Нет, у меня паровое. С пятнадцатого затопят. Ну, пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Дядя Володя надел у порога плащ, шляпу, взял портфель...

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

— Виктор, а кубинский марш не умеешь?

— Нет, — сказал Витька.

— Научись, сильная вещь. На приглашать.

Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел.

Через две минуты он шел под окнами по тротуару, осторожно обшагивая отставшие доски, — серьезный, сутуловатый, положительный.

Мать и Витька проводили его взглядами... И долго молчали.

— Так это что же, — не скрывая изумления, заговорила мать, — он так и будет ходить теперь? Чего ходить-то?

— Тоже ж... один кукует, — сказал Витька. — Вот и ходит. Гнать его в три шеи!

— А?

— Так и будет ходить. А чего ему?

Мать все никак не могла понять:

— Нет, так чего же тогда ходить? Нечего и ходить тогда.

Витька о чем-то вдруг задумался.

Дня через два они с Юркой решили одну хитроумную задачу. Волновались, спорили.

Тут же, в избе, у порожка, старик Наум налаживал улей.

— Если тут вот подпилить, он здесь наступит — она только вон где сработает. Она же не достанет его. — Так рассуждал умный Юрка.

— Почто не достанет?

— А рычаг-то вот где? Вот — нога наступила, а вот — рычаг, а вот аж где голова.

— Ну а как?

— Надо рычаг ближе... И под тротуаром маленько подрыть...

— Кого это там пилить-то собираетесь? — спросил старик.

— Кто собирается? — поспешно сказал Витька. — Никто не собирается.

— Пакостить чего-нибудь надумали?

— Одно на уме! — воскликнул Витька.

— Это у вас одно на уме: где бы напакостить.

— Дед, — вступил Юрка, — надо сперва доказать, потом уж говорить. Чего же зря-то говорить?

— Да ну его, — прошептал Витька. — Я понял: надо доску короче выбрать. Эти, другие, все маленько с виду подпортишь, а эту нарочно сверху подновить — чтоб он на нее и наступил. Понял? Он наступит... Понял?

— А вдруг другой кто-нибудь пойдет и наступит?

Витька об этом не подумал.

— А знаешь как? Как ему выходить, я выскочу и незаметно чурбак вытащу. А до этого чурбачок будет подпирать, чтоб никто не провалился. У нас там ходят-то — в день три человека. Я это все там сделаю.

И опять было воскресенье. Опять приходил дядя Володя. Приносил бутылку шампанского... Опять играли с Витькой в шахматы, опять говорили с матерью о сервантах, коврах и... алкоголиках. Долго, нудно...

А теперь дядя Володя стоял у порога и обстоятельно, нудно прощался.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья, до свиданья, — говорила мать.

— Виктор, сейчас в моду входит летка-енка. Не умеешь?

— Не умею.

- Красивый танец.
- Все равно не умею.
- А вы, Агриппина Игнатьевна?.. Не умеете?
- Не умею.
- Вообще-то... это... я бы на вашем месте научился.

Попробуйте.

- Кто, я, что ли? — удивилась мать.

— Да.

- Танцевать?.. Или на баяне?

— Нет, танцевать. Есть одно обстоятельство... Ну, ладно, потом. До свиданья.

— До свиданья.

— У меня тут родственники... У нас один диссертацию защищает... Ну, ладно, потом. До свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел.

Мать не знала, сердиться ей или смеяться.

— Так и не отелился. Мычал, мычал — и никак. Вот же смешной человек!

— Сейчас он у нас... захохочет, — тихонько сказал Витька, глядя в окно.

В окне показался дядя Володя — серьезный, даже несколько важный...

Вдруг дядя Володя делает руками так, и его по шляпе хлопает доска...

— Хватить миидальничать! — сказал дядя Коля. Они разговаривали с матерью в большой комнате. А в маленькой горенке сидел грустный Витька и катал по столу бильярдный шар. — Дальше еще хуже будет. Испортим пария... Завтра поедет ко мне и поживет пока. До зимних каникул хотя бы. Не реви, не хуже делаю, не хуже. Наоборот мои ребятишки ему там по школе помогут.

Мать Виткина плакала, вытирала слезы концом платка.

— Жалко, Коля... Сердце запеклось, ничего тебе и сказать-то путем не могу... Жалко.

— Да что, насовсем, что ли! — убеждал брат. — Да было бы хоть далеко!.. Двадцать верст — эка! Ну, приедешь когда, попроведуешь... До Нового года-то пускай поживет. Не даст он вам тут дело наладить, не даст. А наладить надо. И зря ты про мужика так думаешь, зря. Хороший мужик.

— Да больно уж он какой-то...

— Какой? А тебе что, красавца кудрявого...

— Да не красавца! У него же разговоров больше нету: пить бросил да мебель покупает.

— Ну и что, хорошее дело.

— Да что же все об одном да об одном.

— Ну, рад, что бросил, вот и говорит про это. Потом, не знаю, конечно, но ему тоже, наверно, охота с лучшей стороны себя показать. Вот мебель покупает. Бабам же нынче што — лишь бы не пил да деньги зря не мотал. Вот он и жмет на это. Его тоже понять надо. Мой тебе совет: не торопись с выводами. Подожди. А Витьку я заберу. И не переживай: хуже не будет. Будет только лучше.

— У тебя у самого там тесно...

— Ничего.

— Да Нюра бы не осердилась: скажет — во-от, еще племянника привез. Своих мало!

— Ну и дура будет, если так скажет. Да и не скажет сроду — поймет. Давай, нечего думать. Испортим парня. А так — мы его счас оторвем от всяких его дружков да от улицы, он волей-неволей за книжки сядет. Пусть поживет в деревне, пусть... Давай, собирай его — прямо счас и поедem. Чего тянуть-то? Да и мне надо сегодня же вернуться... Давай. Где он?

— Там.

Дядя Коля заглянул в горницу.

— Да где?

— Нету?! — испугалась мать. — Мать пресвятая богородица!.. Здесь был!

Дядя Коля подошел к окну, тронул створки — они распахнулись.

— Не пужайся — здесь он где-нибудь. В окно вылез.

Мать кинулась сразу к Юрке.

Витька был там. Юрка и Витька сидели на лавочке, дед лежал на печке, но не хворал, а так — погреться залез. Молчали.

Быстро вошла встревоженная мать.

— Витька... Здравствуйте! Ох, Витька... — мать успокоилась, но еще не могла отойти от быстрой ходьбы. — Что же ты ушел, сынок? Там дядя Коля ждет.

Витька, Юрка и старик молчали.

— Пойдем домой.— Матери стало неловко, потому что она почувствовала в их молчании суд себе.

— Что, Витька... в ссылку ссылают? — сказал старик.

— В какую ссылку?! — вспыхнула мать.— Что ты, дедушка, говоришь-то!

— Да я шутейно,— успокоил старик.— Так я... болтанул. В гости он поедет. Хорошее дело.

— Пойдем, Витя,— опять сказала мать.

Витька сидел. Молчал.

— Я не в осуждение говорю,— продолжал старик.— Кого осуждать? Такая теперь жизнь. Но вот раньше понимали: до семнадцати годов нельзя парня из дома трогать. У нас тада вся деревня на отхожий промысел ходила... И вот, кто поумней был — отцы-то, те до семнадцати лет сына в город не отпускали. Как ушел раньше, так все: отстал человек от дома. Потому что не укрепился, не окреп дома, не пустил корешки. А как раньше время оторвался, так все: начинает его крутить по земле, как лист сухой. Он уж и от дома отстал и от крестьянства... А потому до семнадцати, что надо полюбить первый раз там, где родился и возрос. Как полюбил на месте — дома, так тебе это и будет — родина. До самой твоей смерти. Тосковать по ей будешь...

— Чего ты, дедушка, мелешь лежишь! — осердилась мать.— “Полюбил”, “не полюбил”... Чего попало! Пойдем, Витька.

Витька встал... Подал Юрке руку.

— Пока.

— До свиданья. Пиши.

— Ладно. Ты тоже пиши. До свиданья, деда.

— До свиданья, Витька. Не забывай нас.

— Господи, прямо как на войну провожают...— не могла скрыть удивления мать.— Или, правда,— на заработки куда. Он едет-то — двадцать верст отсюда! К дяде родному.

— Это хорошо,— опять сказал старик.— Чего же?

Потом, когда шли по улице, мать сказала:

— Тебе там хорошо будет, Вить.

Витька молчал.

— Неохота?

Витька молчал.

Мать тоже замолчала.

Зато дома мать выпряглась.

— Никуда он не поедет, — заявила она брату с порога. — Не пушу. Вот.

Дядя засмеялся.

— Ну, конечно, не надо: а то он там... потеряется. Заблудится. Волки его съедят... Витька, а ты-то чего? Тоже как баба, елки зеленые! Чего ты? Мужик ты или не мужик?..

Ехали в деревню к дяде в легком коробке, сытая сильная лошадь бежала податливо. Коробок мягко качался на рессорах.

— Витька, почему ты не учишься, как все люди, — хорошо?

— Все, что ли, хорошо учатся? У нас в классе семь двоечников.

— А тебя разве самолюбие не заедает, что ты попал в эту семерку?

Витька промолчал на это.

— И все семь — мальчишки? Или и девчонки есть?

— Одна. Мы ее жучим, чтоб она исправлялась. Она бестолковая.

Дядя захохотал.

— Дак а себя-то... ха-ха-ха!.. Себя-то чего не жучите? О какие!.. А вы-то чем умнее — такие же двоечники, как она. А? Витьк?

— Она к нам не касается. Она же работать не пойдет.

— Во-он вы куда-а!.. — понял дядя. — Вот оно что. Та-ак. Ну и кем, например, ты хочешь работать? Когда подрастешь мало-мало.

— Шофером.

Дядя даже сплюнул в огорчении.

— Дурак. Вот дурак-то! Это вас кто-нибудь подговаривает там? Или вы сами придумали — с работой-то?

— Сами.

— Вот долдоны-то! А учителя знают про ваш уговор?

— Нет. По восемь классов мы как-нибудь кончим...

— Тыфу! — расстроился дядя. — Хоть поворачивай и выдавай всю эту... шайку. Ты думаешь, шофером — хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в шофера-то идет. Голова садовая! Ну, ничего, ничего!.. Я возьмусь за тебя. Шофером!.. Да это уж кого приперло: грамотешки нет — ну, в шофера. А так-то его бы черт туда затолкал, в шофера-то. А тебе... Ну, ничего, я тебя направлю на путь

истинный. Ты у меня пятерочник будешь — на удивление всем.

А ехали лесом, воздух в лесу был зеленый. Тишина пугала.

Витьке было интересно... И грустно.

— Ох, “То-о... — запел вдруг дядя негромко, задумчиво —

*...То не ве-ете-ер ве-етку кло-онит,
Ох, да не дубра-авушка-а шуми-ит:
То-о мое, ох, мое сердечко сто-онет,
Как, ох, как осе-енни-ий лист дрожди-ит... ”*

И замолчал. И задумался.

— Эх, Витька-а, — сказал дядя невесело, — махнулся б я с тобой годами. Эх и махнулся бы! — не глядя! Я б — не то что учиться, я бы черту рога свернул. Знаю теперь, как их свернуть можно, только... Но нам, Витька, война дорогу переехала. Война, будь она проклята. Не война, так я б теперь высоко-о летал. Да-а... А ты учиться не хочешь. Глупыш ты такой.

— Мама же вон не воевала, а тоже не выучилась.

— Мама не воевала, зато с голоду пухла здесь... Мама лет с пятнадцати работать пошла. Чего ты на маму киваешь? Счас не то время. Счас ты бо-ольшого дурака сваляешь, если не выучишься. Большого, Витька. Помни мое слово.

...Приехали в деревню затемно.

Распрягли во дворе лошадь, дали ей овса.

— Ну, пойдем знакомиться... Не робей, там все свои.

В большой прихожей избы сидела за столом одна только круглолицая, ясноглазая, чем-то отдаленно напоминающая Витькину мать девушка, учила уроки.

— Знакомьтесь, брат с сестрой, — сказал дядя Коля.

— Это Витя? — радостно спросила девушка.

— Витя. Собственной персоной. — Дядя разделся, взял у Витьки чемодан. — Раздевайся, Витька, будь как дома. Где все-то? Мать...

— Телевизор у Баявых смотрят.

— А наш чего же?

— Опять сломался. Раздевайся, Витя! Давай, я тебе помогу. Ну?... Меня Ольгой зовут... — Ольга помогла Витьке снять пальтишко. Была она рослая, красивая и очень какая-то простая и приветливая. Витьке она очень понравилась.

— Надо же: такие глаза, и парню достались! — засмеялась Ольга.

Глаза у Витьки, правда, девичьи: большие, синие. Витька смутился. Нахмурился.

— Ты сперва не глаза разглядывай,— строго сказал отец,— а давай-ка накорми нас. Потом уж глаза разглядывай. А потом сделаешь мне его отличником. Срок — три месяца.

В городке дела хоть медленно, но подвигались к завершению.

В одно воскресенье Владимир Николаич пригласил Грушу к себе домой.

Шли принаряженные по улицам городка.

— Меня тут... некоторые знают...— предупредил Владимир Николаич,— могут окликнуть или позвать... куда-нибудь.

— Куда позвать?

— В пивную. Не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше никого не знаю, оглоедов. Чужбинников. Я сейчас опять на почете стал... Меня в приказах отмечают. Они злятся. Им же ведь все равно: уровень, не уровень — лезут.

— А самого-то не тянет больше к ним?

— К ним?! Я их презираю всех до одного!

— Хорошо,— искренне похвалила Груша.— Это очень хорошо! Теперь жить да радоваться.

— Я и так пропустил сколько времени! Я бы уж теперь главным был.

— А теперь-то еще опасаются пока главным-то ставить?

— Я думаю, что уже не опасаются. Но дело в том, что у нас главным работает старичок... Он уже на пенсии вообще-то, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что неудобно его трогать. Но, думаю, что внутреннее решение они уже приняли: как только этот козел уйдет, я занимаю его кабинет.

Пошли через городской парк.

Там на одной из площадок соревновались городошники. И стояло много зрителей, смотрели.

Владимир Николаич и Груша остановились тоже, посмотрели...

— Делать нечего,— негромко сказал Владимир Николаич, трогаясь опять в путь.

— А у вас, Владимир Николаич, я как-то все не спрошу, родные-то здесь не живут?

— Здесь! — почему-то воскликнул Владимир Николаич. — Тут вот в чем дело: они все на известном уровне, а я — отстал, когда принялся злоупотреблять-то. Ну и... наметилось такое охлаждение. — Владимир Николаич говорил об этом не сожалея, не огорчаясь, а как бы даже злясь на этих, которые “на известном уровне”. — Но они об этом еще крупно пожалеют. Я им не... это... не мальчик, понимаешь, которого можно сперва не допускать к себе, потом, видите ли, допустить. У меня ведь так: я молчу, молчу, потом ка-ак покажу зубы!.. Меня же вот в районе-то все же боятся. Как выезжаю куда с ревизией... А дело в том, что меня иногда, как сильного бухгалтера, просят из других учреждений съездить обревизовать на местах. Как приезжаю, так сразу говорят: “Дятел прилетел!” Страх и уважение нагоняю. Меня же ничем не купишь. Сколько уж раз пытались: то барана подсунут, то намекнул, мол, шифоньер по заказу сделаем или книжный шкаф... Фигу! А один раз поехал в промартель, тут вот, километров за сорок, ну, сижу в конторе. Приходят: “Владимир Николаич, мы тут валенки хорошие катаем... Может, скатать?” Что ж, давайте, говорю. Я заплачу по прейскуранту, все честь по чести. Это не возбраняется. Ладно. Через два дня приносят валенки. Так они что сделали: чтоб угодить мне, взяли да голенища-то несколько раз — вот так вот — изогнули, изогнули... Раза в три слой получился.

— Как бурки?

— Как бурки, только это не бурки, а нормальные валенки, но с голенищами такая вот история. Ладно. Я помалкиваю насчет голенищ. Сколько спрашиваю, стоит? Да ничего, мол, не надо. Кэ-эк я дал счетами по столу, как заорал: цена?! Полная стоимость по прейскуранту! И развернуть голенища, как у всех трудящихся!.. Я вам покажу тут!..

Прохожие, некоторые, стали оглядываться на них — Владимир Николаич всерьез кричал.

— Потихе, Владимир Николаич, — попросила Груша. — А то оглядываются.

— Да, да, — спохватился Владимир Николаич. — Это не очень интеллигентно. Горячность чертова...

И вот пришли они домой к Владимиру Николаичу.

Этакая уютненькая квартирка в пятиэтажном кирпичном ковчеге... Вся напрочь уставленная и увешанная предметами.

— Ну те-с... вот здесь мы и обитаем! — оживленно сказал Владимир Николаич.

И стал вежливо, но несколько поспешно предлагать Груш: снять плащик шуршащий, болонью, сесть в креслице, полистать журнал с картинками с журнального столика на гнутых ножках... Вообще дома он сделался суетливым и чего-то все подхихикивал и смущался. И очень много говорил.

— Раздевайтесь. Вот так, собственно, и живем. Как находите? Садитесь. Я знаю, вы сейчас скажете: не чувствуется в доме женской руки, женского глаза... Что я на это скажу? Я скажу: я знаю! Не хотите? Журналишка... Есть любопытные картинки. Как находите квартиру?

— Хорошо, хорошо, Владимир Николаич,— успела сказать Груша.

— Нет, до хорошего тут еще... Нет, это еще не называется хорошо.— Владимир Николаич налаживал стол: появилась неизменная бутылка шампанского, лимоны в хрустальной вазочке, конфеты — тоже в хрустальной вазочке.— Хорошо здесь будет... при известных, так сказать, обстоятельствах.

— Холодильник-то как? В очереди стояли?

— В очереди. Мы вместе в очереди-то стояли, а когда разошлись, я сходил да очередь-то переписал на новый адрес — на себя. Она даже не знает, ждет, наверно.— Владимир Николаич посмеялся.— Ругает, наверно, Советскую власть... Прошу! Сейчас мы еще музыку врубим...— Владимир Николаич потрусил в другую комнату и уже оттуда сообщил: “Мост Ватерлоо”!

И из той комнаты полилась грустная, человечнейшая мелодия.

Владимир Николаич вышел довольный.

— Как находите? — спросил.

— Хорошо,— сказала Груша.— Грустная музыка.

— Грустная,— согласился Владимир Николаич.— Иной раз включишь один, плакать охота...

Груша глянула на него... И что-то в лице ее дрогнуло — не то жалость, не то уважение за слезы, а может,— кто знает? — может, это любовь озарила на миг лицо женщины.

— Прошу! — опять сказал Владимир Николаич.

Груша села за стол.

— Нет, жить можно! — воскликнул Владимир Николаич. И покраснел. Волновался, что ли.— Я так скажу, Агриппина Игнатьевна: жить можно. Только мы не умеем.

— Как же? Вы говорите, умеете.

— В практическом смысле — да, но я говорю о другом: душевно мы какие-то неактивные. У меня что-то сердце

волнуется, Груша... А? — Владимир Николаич смело воткнулся своим активным взглядом в лицо женщины, в глаза ей. — Груша?

— А?

— Я волнуюсь, как... пионер. Честное слово.

Груша смутилась.

— Да чего же вы волнуетесь?

— А я не знаю. Я откуда знаю? — Владимир Николаич с подчеркнутым сожалением перевел взгляд на стол, налил в фужеры шампанского. — Выпьем на брудершафт?

— Как это? — не поняла Груша.

— А вот так вот берутся... Дайте руку. Вот так вот берут, просовывают, — Владимир Николаич показал как, — и выпивают. Вместе. Мм?

Груша покраснела.

— Господи!.. Да для чего же так-то?

— А вот — происходит... тесное знакомство. Мм?

— Да что-то я... это... Давайте уж прямо выпьем!

— Да нет, зачем же прямо? Все дело в том, что тут образуется кольцо.

— Да неловко ведь так-то.

— Да чего тут неловкого?.. Ну, давайте. Смелей! Музыка такая играет... даже жалко. Неужели у вас не волнуется сердце? Не волнуется?

— Да нет, волнуется... Господи, чего говорю-то?.. Зачем говорить-то об этом?

— Да об этом целые книги пишут! — взволнованно воскликнул Владимир Николаич. — Поэмы целые пишут.

Груша все никак не могла уразуметь, почему надо выпить таким заковыристым образом.

— Ну? — торопил Владимир Николаич. Он и правда волновался. Но жесты его были какие-то неуверенные, незавершенные. — Ну? А то шампанское выдыхается.

— Да давайте прямо выпьем, какого лешего мы будем косობочиться-то?

— Так образуется два кольца. Неужели непонятно? После этого переходят на "ты".

— Ну и перейдем на "ты"... без этих фокусов.

— Мы сломаем традицию. Традицию не надо ломать. Смелей!.. Просовывайте сюда вот руку... — Владимира Николаича даже слегка трясло. — Музыка такая играет!.. Мы ее потом еще разок заведем.

— Вот наказание-то! — воскликнула Груша. И засмеялась.

Витьку принялись подгонять в учебе сразу три отличницы: сестра Оля и две ее подружки, Лидок и Валя. Все девушки рослые и, как показалось Витьке, на редкость скучные. Особенно Витька невзлюбил Лидок. Лидок без конца сосала конфеты и поглаживала Витьку по голове. Витька стряхивал ее руку и огрызался. Девушки смеялись.

— Ну! — скомандовала Оля. — Повторим домашнее задание.

— Хоть уж в воскресенье-то... — попробовал было увильнуть Витька. Но Оля была непреклонна.

— Никаких воскресений! Ты у нас будешь... Циолковским.

— Нет, он у нас будет Жолио Кюри. — Лидок погладила Витьку по голове. — Верно, Витя?

— Да иди ты! — Витька так тряхнул головой, что у него шея хрустнула.

Девушки засмеялись.

— Не хочет. А кем же ты хочешь, Витя?

— Золотарем.

Лидок не знала такой профессии. Решила, что это что-то связанное с золотом.

— Ну, Витя, это тяжело. Это где-то в Сибири — там холодно.

Витя в свою очередь посмеялся от души. И не стал объяснять невестам, кто есть золотарь.

Сели за стол.

— Ты таблицу умножения знаешь, конечно? — начала Лидок.

— Знаю, конечно.

— Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся.

Витька умножил скучное число на число еще более скучное, получил скучнейший результат.

— На.

— Пра-ально. Еще. Тренируйся больше.

— Ну и дура ты! — не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку.

— Витя, да ты что?! — изумилась сестра Оля. — Разве так можно?

— А чего она?..

— Чего она?

— “Тренируйся”... Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в футбол.

— А зачем же обзывать-то? Нехорошо это.

— А еще городской! — вставила Валя.

— Они, городские-то, хуже наших,— заметила Лидок.— Получают там раннее развитие... и начинают.— Она опять принялась сосать конфетку.— Давай дальше. Умножь от этого на это.

Витька стал умножать.

Лидок склонилась над ним сзади и следила.

— Не пра-льно,— сказала она.— Семью восемь — сколько?

— Пятьдесят шесть.

— Ну... А ты сколько пишешь?

— Шесть пишем... А!

— Ну, о-от.

Витька принялся снова вычислять.

Лидок стояла над ним.

— Та-ак, та-ак...

— Перестань сосать свои конфеты! — взорвался Витька.

Лидок толкнула ладошкой Витьку — носом к тетрадке.

— Умножай.

— Дура,— сказал Витька.

— Папа! — позвала сестра Оля.

Из горницы вышел дядя, строгий и озабоченный: он составлял какой-то отчет, на столе в горнице лежал ворох всяких ведомостей.

— Как же ему помогать? — пожаловалась Оля.— Он на нас говорит — “дуры”.

— Зайди ко мне,— велел дядя Коля.

Витька без робости зашел к дяде в горницу.

— Вот что, дорогой племянничек,— заговорил дядя, стоя посреди горницы с бумажкой в руке,— если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

— Понял.

— Вот так. Иди извинись перед девками. Они целые невесты уж, а ты... Сопляк какой! С ним же занимаются, и он же начинает тут, понимаешь... Иди.

Витька вышел из горницы. Сел на свое место.

Девушки неодобрительно посматривали на него.

— Попало? — спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги... подумал, глядя на крупную Лидок... И написал размашисто, во весь лист: “ФИФЫЧКА”. И показал одной Лидок.

Лидок тихонько ахнула, взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

“ШИРМАЧ ГОРОДСКОЙ” — было написано на листе.

Витька не понял, что это такое. Взял новый лист и написал: **“СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”**.

Лидок фыркнула, взяла лист и быстро написала: **“ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРΟΣ”**.

Витька долго думал, потом написал в ответ: **“СВЕЖА-СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ДУБ”**.

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла было с ним в горницу.

— Ну, давай умножать-то?! — воскликнул Витька.— Чего ты бегаешь-то туда-сюда?

Какой-то родственник Владимира Николаича защитил диссертацию. По этому случаю давался банкет в ресторане. Приглашены были и Владимир Николаич с Грушей.

Опять шли улицей городка. Опять было воскресенье; где-то из громкоговорителя рвалась железная музыка.

Шли под ручку. И были нарядны пуще прежнего.

— Я вот этого знаю, — нетерпко сказал Владимир Николаич. — Только не оглядывайся! Попозже оглянись.

Груша прошла несколько шагов и оглянулась.

— Ну? И что?

— Он раньше в Заготконторе работал... Мы однажды приехали с ним в командировку, он говорит: “У меня тут приятель в доме отдыха, пойдем к нему”. Ну, пошли к приятелю... Выпили, конечно. И вот этот, который сейчас прошел-то, Струков его фамилия, берет гитару и начинает петь “Не шей ты мне матушка”... Потом идет в прыгательный бассейн... А там какие-то соревнования по прыжкам были. Он идет с гитарой на самую вышку и прыгает солдатиком — и поет.

— Да он что?!

— И что характерно: даже когда летел, он умудрялся играть на гитаре. Потом вынырнул, вылил из гитары воду и все равно продолжал играть и петь.

— В воде-то? Как же?

— Ногами работал... Ну, конечно, сообщили на работу. Приходил ко мне: “Напиши, как свидетель, что я случайно сорвался”.

— Ну и ты что?

— Ничего. Что я, дурак, что ли? Он случайно зашел на вышку, случайно прыгнул, случайно плавал в бассейне и орал... Все случайно! Кто поверит? Не стал я ничего писать.

— Ну, выгнали? С работы-то?

— Наверно. Не знаю, не встречал его после. Наверно, выгнали. Таких спортсменов долго не держат.

— Вот дурак-то!

— Не дурак! Какой он дурак? Это так называемые духари: геройство свое надо показать. Я, если напивался, сразу под стол лез...

— Под стол?

— Не специально, конечно, лез, но... так получалось. Я очень спокойный по натуре.

В ресторане для банкета был отведен длинный стол у стены.

Приглашенные некоторые уже сидели за столом. Сидели чинно, прямо. Строго поглядывали на другие столики, где ужинали, выпивали, курили, разговаривали...

Играла музыка, низенький, толстый человек пел итальянскую песню.

— Гордо, но — с уважением, — учил второпях Владимир Николаич, пока они с Грушей шли через зал к банкетному столу. — Станут интересоваться, где работаешь, — фабрика тонкорунного волокна. Все. Кем — неважно. В поведении можно быть немного небрежнее. Вон та, в голубом платье... Да вон, вон!.. — зашипел Владимир Николаич, показывая глазами. — Возле самовара-то!

— Ну?

— Эту опасайся насчет детского воспитания: она в садике работает, какая-то там начальница, — затрызжет...

— За что?

— Все. — Владимир Николаич широко заулыбался, полупоклонился всем и пошел здороваться с каждым отдельно.

Груша следовала за ним. На нее смотрели вопросительно, строговато. Женщина в голубом платье посмотрела даже подозрительно. Груша очень смущалась.

Наконец они сели на отведенное им место. Получилось — напротив женщины в голубом, а по бокам пожилые и не очень пожилые, серьезные люди, явно не завсегдатаи ресторана, больше того, кажется, презирующие всех, кто в тот вечер оказался в ресторане.

Смотрели в зал, переговаривались. Делали замечания. Не одобряли они все это — весь этот шум, гам, бестолковые разговоры.

— А накурено-то! Неужели не проветривается?
— Дело же в том, что тут специально одурманивают себя.
Зачем же проветривать?
— А вон та, молоденькая... Вон-он, хохочет! Заливается!
— С офицером-то?
— Да. Вы посмотрите, как хохочет!— будущая мать.
— Почему “будущая”? У них сейчас это рано...
— Это уж вы меня спросите! — воскликнула женщина в голубом.— Я как раз наблюдаю... результат этого хохота.
— А где наш диссертант-то? — спросил Владимир Николаич.

— За руководителем поехал.
— За генералом, так сказать?
— За каким генералом?
— Ну, за руководителем... Я имею в виду Чехова,— пояснил Владимир Николаич. И повернулся к Груше: — У него руководитель — какой-то известный профессор.
— А ты говоришь, генерал.
— Ну, генерал — в переносном смысле,— даже рассердился Владимир Николаич. Но говорил он негромко.— Я шучу так. Ты тоже пошути с кем-нибудь... Состри чего-нибудь. Чего сидишь, как...

Груша, изумленная таким требованием, посмотрела на своего жениха... И ничего не сказала.

— Немножко будь оживленнее,— уже мягче сказал Владимир Николаич.— Не теряйся, я с тобой. Покритикуй алкоголиков, например.

Груша молчала.

А вокруг говорили. Подходили еще родственники и знакомые диссертанта, здоровались, садились и включались в разговор.

— Кузьма Егорыч,— потянулся через стол Владимир Николаич к пожилому, крепкому человеку,— не находишь, что он слишком близко к микрофону поет?

— Нахожу,— кивнул пожилой, крепкий.— По-моему, он его сейчас съест.

— Кого? — не поняли со стороны.

— Микрофон.

Ближайшие, кто расслышал, засмеялись.

— Сейчас вообще мода такая: в самый микрофон петь. Черт знает, что за мода.

— Ходит с микрофоном! Ходит и поет.

— Шаляпин без микрофона пел...

— Шаляпин! Шаляпин свечи гасил своим басом, — сказал пожилой, крепкий. Сказал так, как если бы он лично звал Шаляпина и видел, как тот гасил своим басом свечи.

— А вот и диссертант наш! — сказали родные.

К столу пробирался мимо танцующих мужчина лет сорока, гладко бритый, в черном костюме. И с ним пожилой, добрый, несколько усталый, очевидно, профессор.

Встали, захлопали в ладоши. Женщина в голубом окинула презрительным взглядом танцующих бездельников.

— Прошу садиться, — сказал диссертант.

— А фасонит-то! — тихо воскликнул Владимир Николаич. — Фасонит-то! А сам на трояк, наверно, с грехом пополам натянул. Фраер.

— Откуда ты такие слова знаешь? — удивилась Груша.

— Боже мой! — в свою очередь удивился Владимир Николаич. — Выпивать-то с кем попало приходилось. Нахватайся, так сказать.

Захлопали бутылки шампанского.

— Салют! — весело сказал один курносый, в очках. — В честь свежеспеченного кандидата.

— Товарищ профессор, ну, как он там? Здорово плавал? Профессор вежливо улыбнулся.

— За здоровье нового кандидата! — зашумели.

Кандидат встал.

— За здоровье наших дам! — сказал он.

Это всем очень понравилось.

Выпили. Потянулись к закуске. Разговор не прекращался.

— Огурчики соленные или в маринаде?

— Саша, подай, пожалуйста, огурчики. Они соленные или в маринаде?

— В маринаде.

— А-а, тогда не надо. У меня сразу изжога будет.

— Тебе подать в маринаде? — спросил Владимир Николаич Грушу.

— Подай.

— Саша, подай-ка, пожалуйста, в маринаде. Что там за огурчики?..

— А танцуют ничего. А?

— Сергей... уже отметил. Слышите?! Сергей уже отметил: "Танцуют ничего".

Засмеялись.

— Подожди, он сам скоро пойдет. Да, Сергей?

— Можно. А что?

— Неисправимый человек, этот Сергей!

Владимир Николаич потыкал вилкой в огурчики, в салат... Потянулся поговорить с Кузьмой Егорычем. Но его как-то не замечали.

Поднялся курносый в очках.

— Позвольте?!

— Тише, товарищи!

— Дайте тост сказать! Двинь, Саша.

— Товарищи! За дам уже выпили... Это правильно. Но все-таки мы собрались здесь сегодня не из-за дам...

— Да, не из-за их красивых глаз.

— Да. Мы собрались... приветствовать нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто, нашего Славу! И позвольте мне тут сегодня скаламбурить: слава нашему Славе!

Посмеялись, но не дружно.

Курносый посерьезнел.

— Мы надеемся, Слава, что ты нас... так сказать, не подведешь в своей дальнейшей деятельности.

Захлопали.

Курносый сел было... Но тут же вскочил.

— И позвольте, товарищи... Товарищи, и позвольте так же приветствовать и поздравить, так сказать, руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал и являлся организатором руководимой идеи! За вас, товарищ профессор.

Опять захлопали. Дружно захлопали.

Еще закусили. Но больше налегали на разговоры.

Кузьма Егорыч и человек с золотыми зубами наладили через стол разговор с укорами. А так как гремела музыка, то и они тоже говорили очень громко.

— Что не звонишь? — спросил Кузьма Егорыч.

— А?

— Не звонишь, мол, почему?!

— А ты?

— Я звонил! Тебя же никогда на месте нет.

— А я виноват, что меня нет на месте?

— Ну, так позвонил бы хоть! Я-то на месте.

— А я звонил вам, Кузьма Егорыч, — хотел влезть в разговор Владимир Николаич.

— А? — не расслышал Кузьма Егорыч.

— Я, говорю, звонил вам!

— Ну и что? А чего звонил-то?

— Да так. Хотел... это...

Но Кузьма Егорыч уже отвернулся.

— А где бываешь-то? В командировках, что ли? — опять стал допрашивать он человека с золотыми зубами.

— В командировках, — откликнулся тот. Но говорить ему не хотелось, он больше посматривал на танцующих.

— Ну, как? — спросил Владимир Николаич Грушу. — Ничего?

— Ничего. — сказала Груша. — Долго тут будем?

— А что?

— Да ничего, просто спросила.

— Не нравится, что ли?

— Нравится.

— Я уж думал, тебя перевели куда! — кричал Кузьма Егорыч.

— Никуда меня не перевели.

— Думаю: повысили его, что ли?!

— Дождись, повысят! Скорей повесят.

— Ха-ха-ха-ха!..

— Ну, что, Таисья Григорьевна? — обратился Владимир Николаич к женщине в голубом. Но женщина в голубом постучала вилкой по графину и сказала всем:

— Товарищи, давайте предложим им нормальный, хороший вальс. Ну что они... честное слово, неприятно же смотреть!

— В чужой монастырь, Таисья Григорьевна, со своим уставом не ходят.

— Почему "не ходят"? Мы же в своей стране, верно же. Давайте попросим сыграть вальс.

— Не надо. Не наше дело: пусть с ума сходят.

— А вот это... очень неправильное суждение! В корне неправильное!

— Да хорошо танцуют, чего вы? — сказал человек с золотыми зубами. — Я был бы помоложе, пошел бы... подергался.

— Именно — подергался. Разве в этом смысл танца?

— А в чем?

— В кра-со-те, — отчеканила Таисья Григорьевна.

— А что такое красота? — все пытался тоже поговорить Владимир Николаич. — А, Таисья Григорьевна? Если вы находите, что, допустим, вот этот виноград...

— Нет, Алексей Павлыч, вы что, не согласны со мной?

— Согласен, согласен, Таисья Григорьевна, — сказал человек с золотыми зубами. — Конечно, в красоте. В чем же еще?

Владимир Николаич помрачнел.

— Пойдем домой? — предложила Груша.

— Подожди. Неловко. Поймут как позу.

— Саша, Саш!.. У тебя Хламов был? — разговаривали за столом.

— Был. Позавчера.

— Ну, как он?

— Он в порядке!

— Да? Устроился?

— Да.

— Довольный?

— Что ты!..

— Пойдем, Володя, — еще сказала Груша.

Владимир Николаич вместо ответа постучал вилкой по графину.

— Друзья! Минуточку, друзья!.. Давайте организуем летку-енку? В пикку этим...

— Да что они вам?! — вконец рассердился человек с золотыми зубами. — Люди танцуют — нет, надо помешать.

Владимир Николаич сел.

Помолчал и сказал негромко:

— Ох, какие мы нервные! Ах ты, батюшки!

Взял фужер с шампанским и выпил один.

— Володя, ты что это? — встревожилась Груша.

— Какие мы все... воспитанные, но слегка нервные! — не мог успокоиться Владимир Николаич. — Зубы даже из-за этого потеряли.

Никто не слышал его. Их с Грушей как будто даже и не было за столом — никто с ними не общался, никому не было до них дела.

— Какие мы все нервные! Да, Таисья Григорьевна?! — повысил голос Владимир Николаич, обращаясь к женщине в голубом. — Воспитанные, но слегка нервные. Точно?

Таисья Григорьевна внимательно посмотрела на Владимира Николаича.

— Нервные, говорю, все!.. — Владимир Николаич насильственно посмеялся.

— Что, опять? — спросила Таисья Григорьевна.

— А вы только не смотрите, не смотрите на меня таким... крокодилом-то: я же не в детсадике. Верно? Что вы на меня так смотрите-то?

К Владимиру Николаичу повернулись, кто сидел ближе и слышал, как он заговорил.

Владимир Николаич встал.

— Пойдем! — велел Груше.
И они вышли из-за стола... И пошли.
За столом замолчали. Смотрели вслед им.
Пробрались через танцующих...
Надели в гардеробе плащи...
И вышли из ресторана.
— Что с тобой? — спросила Груша.
Владимир Николаич молчал.
— Зачем надо было так уходить?..
— Помолчи! — резко сказал Владимир Николаич. Но
спохватился, что резко... Взял Грушу под руку. — Не сердись.
— Чего ты на них так?
— В гробу я их всех видел! — зло и громко сказал
Владимир Николаич. И еще добавил:
— В белых тапочках!

Витька ходил по избе и учил наизусть.

*“...Вот и солнце встает,
Из-за пашен блеснит,
За морями ночлег свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракут
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое...
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!”*

Витька передохнул и еще повторил:

*“Не боли ты, душа! Отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!”*

Подождал к окну и засмотрелся на улицу.

По улице, поднимая пыль, шло стадо коров... Коровы
мычали. Хлопали ворота, впуская кормилиц. А где ворота не
открывались, там коровы сами пробовали рогами поддеть их.
Мычали.

Вошла сестра Оля.

— Что не учишь? — спросила.

— Я выучил. — Витька был настроен грустно.

— Проверим,— сказала Оля. Взяла учебник...— Какое задавали?

— “Утро”.

— Давай. С выражением.

Витька стал читать:

“Звезды меркнут и гаснут.

В огне облака,

Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается.

Птички солнышка ждут, птички песни поют,

И стоит себе лес...”

— Здравствуй! — воскликнула Оля.— Поехал.

— Что?

— Куда заехал-то? “Дремлет чуткий камыш...”.

— А-а!

“Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье
Чуть приметна тропинка росистая...” *вокруг,*

— Ладно. Еще что?

— Составить описание вечера в деревне.

— Составил?

— Составил.

— Читай.

Витька прочитал:

— “Вечер. Солнышко закатилось. Курицы залезли на длинные жердочки и заснули. Петух спел последний разок и тоже задремал. Ночью опять будет орать. Стало тихо. У нас в городе лучше”.

— И все?

— Все.

Оля засмеялась.

— Вечером вместе напишем. Я сейчас в кино бегу. “Длинные жердочки”.— Оля опять засмеялась.— На — письмо тебе от мамки.

Оля ушла, а Витька пристроился ближе к окну и стал читать письмо. Читал, и письмо слегка подрагивало в его руках...

Пришел дядя Коля с работы.

— Здорово, Витька. Что это?.. От мамки? Ну-ка, чего она там?

Дядя Коля стал читать... Нахмурился, помычал, покусал губу...

— Ну! — сказал он огорченно. — Так у нас ничего не выйдет: не успел отъехать, она уже... ночей не спит. Эдак она всю душу растравит и нам тут... Чего так-то уж?

Дядя Коля посмотрел на Витьку.

Витька пожал плечами. Промолчал.

— Ты, Витька, читать читай, а к сердцу всякие эти... слова не допускай. Она — женщина, а ты — мужик, должен быть крепче ее. Садись и напиши ей: ты, мол, мамка, не блажи там, у меня, мол, все в порядке, и душу мне не бреди такими письмами. Я сам ей напишу. Мы ее сюда в гости позовем. Пусть возьмет с недельку за свой счет и придет. Ладно, Витька?

Витька кивнул головой — ладно.

— Не расстраивайся, — сказал дядя Коля. И ушел в горницу.

Витька посидел немного у окна... И вышел из избы.

...И ушел он за деревню, на косогор... Сел и стал смотреть в степь.

Вечер был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый блеск делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось совсем грустно. Он думал о матери...

Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами — с дорогой, с дождиком, с печкой... Когда они шли в прошлом году из леса с грибами, она просила: "Матушка дороженька, помоги нашим ноженькам — приведи нас скорей домой". Или, если печка долго не разгорается, она выговаривает ей: "Ну, милая... ты уж сегодня совсем что-то... Чего раскапризничалась-то? Барыня какая". Витька любил мать, но они, к сожалению, не всегда понимали друг друга. Витьке, правда, очень хотелось быть шофером... А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: "Учись ты, ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, такая теперь жизнь пошла — ученые-то вон как живут! Я осталась

исученая, так хоть ты-то выучись. Нам с тобой надеяться не на кого". Соседом ветеринаром она все глаза протыкала Витьке. Когда он едет домой на своей машине, она всякий раз вздыхает и говорит: "Вот живет человек, Витька! Вот это — живет". Верно, что из-за этого Витька и выстегнул его свинье глаз. Левый. Два дня караулил ее у забора с рогаткой...

— Матушка степь, помоги мне, пожалуйста,— попросил Витька.

А в чем помочь, он сам хорошо не знал. Он хотел бы быть сейчас дома. А как это сделать?

Он незаметно заснул.

...Разбудил его дядя Коля.

Когда Витька проснулся, дядя Коля стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Все сеялся нехолодный мелкий дождик. Было совсем темно.

— Замерз? — спросил дядя Коля.

— Не...

— Нет...— Дядя Коля поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел.— Ох, Витька, Витька... оборот ты мой милый!...— Он взял Витьку на руки и понес. Тут только увидел Витька, что рядом стоит конь.— Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя Коля сел впереди в седло.

— Ну, что? — спросил он, когда поехали.

— Ничего.

— Тоскуешь без мамки?

Витька промолчал.

— Что мне с вами делать? — вздохнул дядя Коля.— Охота помочь, и не знаю как. Вот же судьба, черт ее!.. Выпала. Стрел бы где-нибудь папу твою... родимого, я бы ему сказал пару ласковых. Дурак. Себе жизнь загробил и другим... Дурак,— еще раз крепко сказал дядя Коля.— Нашел радость в жизни. Пьют же люди, но не так же, чтобы все за ее, гадину, отдавать. Все, самое дорогое...

Дядя Коля закурил и долго молчал.

Ехали шагом.

Дождик перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. По селу лаяли собаки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Вблизи где-то

били палкой по чему-то мягкому, по перине, наверно, и приговаривали:

— Ты гляди, что делается — пыли-то! Пыли-то!

— Ничего, Витька... — заговорил дядя Коля. — Этот дядя Володя-то, он неплохой мужик. Пить хоть не будет. Не витязь, конечно... но уж... что теперь? Черт его бей уж — хоть такой: все хоть поможет вам. Все мужик в доме.

Витька представил почему-то, как дядя Володя танцует в их доме летку-енку. За него — сзади — держалась мать и тоже подпрыгивала. А за матерью подпрыгивали дед Наум, Юрка, разные молодые тети, подружки материны...

...Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворот дядя Коля соскочил с коня, открыл одну воротину, выпустил Витьку.

— Расседай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси — дождь, наверно, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печку.

Дядя Коля пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда совсем затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул коня...

Мерин разохотился в беге, нес ровно, быстро. Витька сперва ждал, что он где-нибудь споткнется, потом успокоился. Дорогу конь находил сам.

...К рассвету Витька приехал домой.

Мать спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька соскочил с коня, набросил повод на штакетину, постучал в дверь.

— Кто там? — Мать не на шутку испугалась.

— Я, — сказал Витька.

— Витька?!.. — Мать трясущимися руками долго отодвигала засов и все повторяла: — Господи, да что же это?.. Господи!.. Витенька, родной ты мой-то! — Она обняла сына, прижала к себе. — Господи!.. Да ты как? А дядя Коля где?

— Я один.

— Оди-ин?! — от испуга мать даже запела. — Да ты что? Да как же? Да говори ты скорей, господи!.. Не случилось ли чего с вами дорогой-то?!

— Нет. — Витька прошел в комнату, дождался, когда мать включит свет. Огляделся — искал, видно, признаки присутствия в доме чужого человека.

Мать во все глаза смотрела на сына.

— Да что случилось-то, Витька?!

— Ничего. — Витька присел на краешек кровати, долго молчал. И мать молчала, смотрела на Витьку... Какой-то он был странный, повзрослевший, что ли.

— Мам... — Голос у Витьки чуть дрогнул. — Ты... замуж-то не выходи. Не надо. Я теперь послушный буду. Учиться... ладно уж — хорошо буду. Мне только захотеть — я сумею... — Витька говорил негромко, с трудом. Смотрел куда-то в сторону.

Мать вспыхнула горячим румянцем, посмеялась — совсем некстати... Заговорила торопливо, фальшиво как-то — она что-то вдруг растерялась.

— Да тебе кто сказал, что я замуж-то выхожу? Во!.. Ты откуда взял-то? Ты что?

— Пойду коня расседлаю, — сказал Витька.

Когда он вышел, мать скоро натянула платьишко, покружилась по комнате, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала отчего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет... Так и пройдет теперь.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери... Неловко, бережно тронул ее по волосам — погладил.

— Не надо, мам.

— Я ничего, сынок. Я — так. Чаю хочешь?

— Я насовсем приехал...

— Ну и хорошо! Это хорошо, сынок. Я бы в субботу сама за тобой приехала. Плохо мне без тебя... Не могу.

...Когда Витька засыпал уже в своей маленькой горенке, в своей родной кровати, он слышал неясно: приехал дядя Коля. Обрывки разговора слышал.

— Да уж вижу, вижу — конь-то стоит. Отлегло от сердца... Чуток не рехнулся, сй-богу, — гудел дядя Коля. — Ладно бы свой: перепугались с матерью, да все одни. А тут — вдвойне...

— Утром... не рассвело хорошо, слышу: стук — воротца стукнули...

— Да, главное, пришел домой, разделся, лег уж — я-то! Ну, спит, думаю. И мои — тоже — не хватились. А потом вспомнил: а чего же конь-то не заржал? А он у меня всегда: как прихожу откуда ночью, потихоньку всегда заржет. Соскочил да в сарай — нет коня...

— Я-то думала: вы вместе ехали-то. Думаю, задержался где...

— Думали, думали,— сказал полусонный Витька.— Я думал, ты думал, он думал... Мы думали.

Потом, совсем уж сквозь сон, едва-едва слышал:

— Да почему? Почему? Ты можешь толком мне объяснить?

— Не могу. Сама толком не знаю: не лежит душа, и все. Хоть ты что! Сама себя уговаривала, убеждала — не могу. Лучше век одна буду жить, только... Нет! Нет, нет и нет!

— Во! — удивился дядя Коля.— Это даже суметь надо — так опротиветь за короткий срок. Чем уж он так насолил-то?

— Да, наоборот, все хорошо. Ни одного грубого слова... Нет, все хорошо. Только — нет, и все тут.

— Ну, на нет и суда нет. Насилью мил не будешь, не зря говорят. Ладно... Я думал, у вас выйдет что-нибудь... Ладно... Дальше Витька не слышал. Заснул.

Проснувшись, Витька маленько поперебирал свое хозяйство: бильярдные шары, подковы, покрывку футбольного мяча, лампочку от автомобильной фары, автомобильное зеркальце... Все было на месте.

В прихожей комнате, на столе, лежала записка:

“Витя! Я поехала на базар. Поешь молоко и хлеб. Все в шкафу, скоро приду”.

Витька открыл шкаф... Но есть не хотелось... Он вышел из дому.

Пошел к Юрке.

Старик и Юрка были дома. Очень обрадовались, увидев Витьку.

— О!.. Кто к нам пришел-то!

— Витька?... Этей! — смешно обрадовался старик.— На побывку, что ли?

— Совсем,— сказал Витька.

— Совсем? — удивился Юрка.

— Совсем.— Витька тоже был очень рад. Но он радость свою никогда особо-то не показывал.— Чего делаете?

— Чего делаем? — переспросил старик. — Мы тут, брат Витька, с разных сторон жизнь окружаем: я — сзади, он — спереду. Я себе гроб вот строгаю, вроде того, что досвидань-каюсь с ней, с жизнью-то, а Юрка в лоб ей метит — переделывать норовит. — Старик и правда строгал какие-то доски, но вид у него был вовсе не печальный. — Вот чем мы тут занимаемся, Витька.

Витька посмотрел на Юрку: правда ли, мол, что гроб-то? Юрка кивнул, что правда.

— Я уж тут убеждал, убеждал его — бесполезно, — сказал он.

— Нет, тут вы меня не убедите. В своем гробике буду лежать... Своими руками сделанный.

— Во, дает! — сказал Витька.

— Я ее, каждую тесиночку-то, с лаской обделаю, аккуратно... Как жених в ём буду лежать!

— Да зачем?! — загорячился было Юрка. — Что за... дикость такая?

— Это не дикость. Какая дикость? У нас в деревне все старики так: кто мог, завсегда сам себе гроб делал. Что я, не знаю, какой мне гроб сделают? Тяп-ляп — и готово. Лежи потом... в хреновом гробу. Там сук вылезет, там трещина... На кой мне это надо? Я лучше сам... все тут по-людски сделаю.

— А что, заболел, что ли?

— Ничего подобного. С пенсии — опять заболею. А так — ни одно ребрушко еще не ноет. А гроб... Сделаю — пусть стоит, место-то не простоят. Вот так, ребятушки, так, орелики мои... Ничего тут удивительного нет: все померем. Я уж, слава богу, пожил. Да и еще поживем! Пенсия вот скоро... масла опять купим в магазине... — Старик искренне засмеялся. — По Юркиному учению — это масло. Потом хворать полезу на печку...

— Вот логика! — сказал Юрка, тоже улыбаясь. — Железная. А чего ты приехал, Вить?

— Да этот гусь-то... он больше не будет ходить. Мама не велела больше.

— Да?

— Да.

— Давайте чай пить, раз такое дело! — весело сказал старик. Отложил рубанок, стряхнул с рубахи и со штанов стружки. — Счас медку принесем, яблоков... Заварим чай с парами. Слыхали такой — чай с парами?

— Нет. А как это?

— А вот сейчас сделаем. Это меня один сибиряк научил... У них там холода страшные, вот они и выдумали чай с парами. Подмети пока, Юрка, а я за медом схожу. Подмети, чтоб и мы в чистоте посиживали и чаек попивали. Будем чаек попивать и беседовать.

Старик вышел, а Юрка взял веник и стал подметать.

— Хорошо в деревне? — спросил он.

— Хорошо. Только скучно.

— Ну, это ты... не понимаешь. Разве там скучно? Это ты один там оказался, поэтому тебе показалось скучно. А так-то там не скучно.

— Может быть. Мне здесь больше нравится.

— Ну, конечно,— согласился Юрка.— Хорошо, что ты приехал.

— Я там скучал без вас,— признался и Витька.

— Мы тоже тебя тут вспоминали...

Вошел старик.

— Вот и медок. Сейчас... загуляем, запьем и ворота запрем. Не жуйся, ребята,— не пропадем!

БРАТ МОЙ...

В путанице ферм, кранов и тросов большой стройки девушка-почтальон нашла бригадира Ивана Громова. Иван, задрав голову, кричал кому-то:

— Смотреть надо, а не ворон считать!

Сверху что-то отвечали.

— Слезь у меня, слезь... Я тут с тобой потолкую! — проворчал Иван.

— Вы Громов?

— А?

— Громов Иван Николаич?

— Ну.

— Телеграмма...

Иван взял телеграмму, прочитал... Посмотрел на девушку, сел на грудь кирпичей, вытер рукавом лоб. (Девушка, видно, знает содержание телеграммы, понимающе смотрит на бригадира, ждет с карандашиком и квитанцией, где Иван должен расписаться.)

Иван еще раз прочитал телеграмму. Склонил голову на руки.

Подошли двое рабочих из бригады.

— Что, Иван?

— Отец помирает, — сказал Иван, не поднимая головы.

— Распишитесь, — попросила девушка.

— А?

— За телеграмму...

Иван машинально чиркнул, куда ему показали. Девушка ушла.

— Наука. — Один из рабочих взял телеграмму, прочитал.

— Семен-то... кто это?

— Брат.
— Нда...
Подошли еще рабочие.
— Что?
— Отец у Ивана помирает.

...Взвыл с надрывной тоской паровоз.
Иван в тамбуре вагона. Курит. Смотрит в окно...

...Сеня Громов, маленький, худой парень, сидел один в пустой избе, грустно и растерянно смотрел перед собой. Еще недавно на столе стоял гроб. Потом была печальная застольица... Повздыхали. Утешили как могли. Выпили за упокой души Громова Николая Сергеевича... И разошлись. Сеня остался один.

...Вошел Иван.

Сеня, увидев его, скривил рот, заморгал, поднялся навстречу...

— Все уж... отнесли.

Иван обнял шуплого Сеню, неумело приласкал. Тот, уткнувшись в грудь старшего брата, молча плакал, хотел остановиться и не мог... Досадливо морщился, вытирал рукавом глаза.

— Ладно, перестань. Ладно, Сеня...

— Он все ждал... кхэх... На дверь все смотрел...

— Ладно, Сеня.

Братья не были похожи. Сеня — поджарый, вихрастый, обычно непоседа и говорун — выглядел сейчас много моложе своих двадцати пяти лет. Ивану — за тридцать, среднего роста, но широк и надежен в плечах, с открытым крепким лицом, взгляд спокойный, твердый, несколько угрюмый...

— Ладно, Сеня, ничего не сделаешь.

Сеня высморкался, вытер слезы, пошел к столу.

Иван огляделся.

— Что же один-то?

— А кому тут?... Были. Посидели маленько, помянули и ушли. Вечером тетка Анисья придет, приберется.

Иван закурил, присел к столу, отодвинул локтем тарелку с кутьей. Еще раз оглянулся.

Сеня тоже сел.

— Поглядел бы, какой он сделался последнее время — аж просвечивал. Килограмм двадцать, наверно, осталось... А до конца в памяти был.

Иван глубоко затянулся сигаретой.

— Может, поешь с дороги?

— Пошли на могилу сходим.

Когда вышли из огады, Иван оглянулся на родительскую избу. Она потемнела, слегка присела на один угол... Как будто и ее придавило горе. Скорбно смотрели в улицу два маленьких оконца... Тот, кто когда-то срубил ее, ушел из нее навсегда.

— Завалится скоро, — сказал Сеня, догадавшись, о чем думает брат. — Перебрать бы — никак руки не доходят.

— Тут, я погляжу, все-то не лучше.

— А кому строиться-то? Разъехались строители... города строить.

Некоторое время шли молча.

— Почему так пусто в деревне-то? — спросил Иван. — Как Мамай прошел.

— Я ж тебе говорю...

— Да ну, все, что ли, разъехались?

— Много. А кто есть — все на уборке.

— У вас совхоз, что ли?

— Теперь совхоз... Отделение, а центральная усадьба в Завьялове. Когда колхоз был, поживее было. И район был в Завьялове — рядом совсем.

— А сейчас где?

— В Березовском.

— А ты шоферишь все?

— Шоферу. У нас в отделении шесть машин, я — главный.

— Механик, что ли?

— Старший шофер, какой механик.

Пришли на кладбище.

Остановились над свежей могилой, обнажили головы... Мир и покой царства мертвых, нездешняя какая-то тишина кладбища, руки-кресты, безмолвно воздегие к небу в неведомой мольбе, — все это действует на живых извечно одинаково: больно.

Иван стиснул зубы, стараясь побороть подступившие к горлу слезы. Сеня шаркнул ладонью по глазам.

— Давай помянем, — сказал он.

Он, оказывается, прихватил бутылку красного вина и рюмку. Налил брату...

Иван выпил... Помолчал. Склонился, взял горсть влажной земли с могилы, размял в руке, сказал:

— Прости, отец.

— Уберемся с хлебом — оградку сделаю, — пообещал Сеня. — И березу посажу.

Налил себе, тоже выпил.

— Пошли, Сеня. Тяжело. Хоть по деревне пройдемся.

Обратно шли медленно.

— У тебя в семье-то все хорошо? — расспрашивал Сеня.

— Нету семьи, — неохотно ответил Иван. — Разошлись.

— Почему?

— Потом...

Сеня качнул головой, но больше об этом говорить не решился.

— Поживешь здесь хоть маленько-то?

— Некогда, Сеня.

— Поживи, братка. А то мне одному... Хоть с недельку. А?

Иван переменял тему разговора.

— Ты-то почему не женишься?

Сеня горестно оживился.

— Женись... когда они, паразитки, не хотят за меня. У меня душа кипит, — он стукнул себя в грудь сухим крепким кулачком, — а им — хаханьки. Пулей прозвали — и довольны. А я просто энергичный. И не виноват, что не могу на месте усидеть. Вон она — недалеко живет, Валька-то Ковалева... Помнишь, нет?

— Ефима Ковалева?

— Но.

— Так она же вот такая была.

— А счас под потолок вымахала. Вот люблю ее, как эту... как не знаю... Прямо задушил бы, гадину! — Сеня говорил скоро, беспрестанно размахивая руками. — Но я ее допеку, душа с меня вон.

— Красивая девка?

— На тридцать семь сантиметров выше меня. Вот здесь — во, полна пазуха! Глаза горят, вся гладкая... Я как увижу, так полдня хвораю.

— Выбрал бы поменьше. Куда она тебе такая?

— Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна рядом поселилась, на сорок три сантиметра выше меня...

— Кто?

— Ты не знаешь, они с Украины приехали. Мыкола. Он тоже в нее втюрился. Так тот хочет измором взять. Как

увидит, что я к ней пошел, надевает, бендеровец, бостоновый костюм, приходит и сидит. Верить — нет, может два часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит и все — специально мешает мне. Мне уж давно надо от слов к делу переходить, а он сидит.

— Поговорил бы с ним.

— Говорил! Он только мычит. Я говорю: если ты — бык, оглобля, верста коломенская, так в этом все? Тут вот что требуется! — Сеня постучал себе по лбу. — Я говорю, я — талантливый человек, могу сутки подряд говорить, и то у меня ничего не получается. Куда ты лезешь? Ничего не понимает!

Иван узнавал младшего брата. Как только не называли его в деревне: “пулемет”, “трещотка”, “сорока на колу”, “корсак” — все подходило Сене, все он оправдывал. Но сейчас ему действительно, видно, горько было. Взъерошенный, курносый, со сверкающими круглыми глазками, он смахивал на подстреленного воробья (Сеня слегка прихрамывал), возбужденно крутил головой; показывал руками, какого роста “оглобля”, Валька Ковалева, и как много у нее всего.

— А она?

— Что?..

— Она-то как к нему?

— Она не переваривает его! Но он упрямый, хохол. Я опасаясь, что он — сидит и чего-нибудь высидит. Парней-то в деревне — я... да еще несколько.

— Трепещься много, Сеня, поэтому к тебе серьезно не относятся.

— А что же мне остается делать? — остановился Сеня. — Что я, витязь в тигровой шкуре? Мне больше нечем брать. — Сеня вдруг внимательно посмотрел на брата. — Пойдем сейчас к ней, а?

— Зачем?

— Ты объяснишь ей, что внешность — это нуль! Ты сумеешь, она послушает тебя. Ты ей докажи, что главное — это внутреннее содержание. А форма — это вон, оглобля. Пойдем, братка. Ты хоть поглядишь на нее. Я ведь весь уж высох из-за нее. А ей хоть бы что! Я сохну, а она поперек себя шире делается. Это не девка, а Малахов курган какой-то...

— Ты не захмелел?

— Да ничего! Что я? Я редко пью. Это счас уже... Пойдем.

— Ну пошли.

Уже вечерело. На улице появились люди — шли с работы.

Возле соседнего с домом Ковалевых двора Сеня остановился, спросил белоголового карапуза, который таскал на веревочке грузовик и гудел:

— Жираф дома?

— Ой,— сказал карапуз,— он тебя мизинчиком поднимет.

— Скажи ему, чтоб он вышел. Иди, скажи. А я тебе завтра петушка привезу.

— Не обманешь?

— Нет. Счас посмотришь эту оглоблю. Иди, Васька, скажи: пошли, мол, крепость брать.

Карапуз побежал в дом.

— Зачем ты? — спросил Иван.

— Счас увидишь...

— Ко-олька, иди клепость блать, Сенька-пуля зовет! — закричал еще на крыльце карапуз.

— Пойдем, ни к чему это,— опять сказал Иван.

— Подожди, подожди... Счас увидишь...

На крыльцо из дома вышел огромный парень, еще в рабочей одежде.

— Здорово, Микола! — вежливо поприветствовал Сеня.— Иди познакомься с братом.

Микола вытер тряпкой грязные огромные ладони, подошел к воротцам, протянул Ивану руку.

— Микола.

— Иван.

— Костюм погладил? — спросил Сеня.

— Он у меня всегда глаженный,— ответил Микола, не удостоив взглядом Сеню.

— Все, Микола.— Сеня высморкался на дорогу.— Больше он тебе не понадобится: идем договариваться насчет свадьбы.

Простодушный Микола беспокойно и вопросительно посмотрел на Ивана. Иван, чтоб скрыть неловкость, стал закуривать.

— Мели, Емеля...— сказал Микола.

— В общем, мы пошли.— Сеня первый деловито пошагал к дому Ковалевых.

...Валя только пришла с работы, умывалась во дворе под рукомойником. Увидев входящих Ивана и Сеню, ойкнула и, накинув полотенце, побежала в дом.

— Куда вы?!.. Я же без кофты!

— Видал? — спросил Сеня, грустно глядя вслед девушке.

— Это Валька? — удивился Иван.

— Она.

— Ну, Сеня... тут, по-моему, тебе нечего делать. Господи, растут-то как!..

— Пошли в дом.

— Она же не одетая.

— Она в горнице, а мы пока в прихожей посидим.

Ковалевы — отец, мать, молодая женщина с ребенком (невестка), младшая сестра Вали, школьница, тоже не по годам рослая, очень похожая на нее.

Поздоровались.

— Подсаживайтесь с нами, — пригласил хозяин.

— Спасибо, мы только из-за стола.

Братья присели на лавку у порога.

Ели хозяева молча, с крестьянской сосредоточенностью. Натруженные за день руки аккуратно, неторопливо носили из общей большой чашки наваристую похлебку. Один хозяин позволил себе поговорить во время еды.

— Не захватил отца-то, Иван.

— Нет.

— Что же, долго ехать шибко?

— Четверо суток почти.

Хозяин качнул головой.

— Эка... занесло тебя.

Из горницы выглянула Валя.

— Заходите.

Сеня с готовностью поднялся, ушел в горницу. Иван остался поговорить с хозяином.

— Где робишь там?

— На стройке.

— Ничто получаешь-то, хорошо?

— Да ничего, хватает. А Петро-то ваш где?

— А тоже, вроде твоего, в город подался, судьбу искать. Вы ить какие нонче: хочу крестьянствую, хочу хвост дудкой и... Наоставляют вот, с такими, горя мало. — Старик кивнул в сторону невестки.

— Да уеду я, уеду, господи! — в сердцах сказала та.— Устроится он там маленько — уеду, лишнего куска не съем.

— Мне куска не жалко,— все так же спокойно, ровно продолжал старик.— Меня вот на их зло берет.— Он посмотрел на Ивана.— Уехать — дело нехитрое. А на кого землю-то оставили? Они уехали, ты уедешь, эти (в сторону младшей дочери) тоже уедут — им надо нивирситеты кончать. Кто же тут-то останется? Вот такие, как мы со старухой? А нам веку осталось — год да ишо неделя. Вон он, Сергеич-то... раз-два и скovyрнулся. Так и все уйдем помаленьку. Что же тогда будет-то?

Из горницы выглянул Сеня.

— Иван, зайди к нам.

Иван бросил окурок в шайку, пошел в горницу. Слова старика нежданно вызвали в нем чувство вины; когда шел по улице и поразился пустотой в деревне, почему-то не подумал о себе.

Сеня ходил по горнице, засунув руки в карманы брюк. Видно, он только что что-то горячо доказывал.

— Здравствуй, Валя.

— Здравствуйте.— Навстречу Ивану поднялась рослая, крепкая, действительно очень красивая девушка. Круглолицая, с большими серыми глазами... Высокую грудь туго облегал белая простенькая кофта. Здоровье, сила чувствовались в каждом ее движении, в повороте опрятной, гладко причесанной головы, во взгляде даже.

— Валя!..— невольно сказал Иван, пожимая ей руку.— Ты когда успела так вырасти?

— Годы, Иван... Вы уж сколько не были дома-то?

— Да ну, сколько?.. Ну, может, много. Только ты все равно не “выкай”, я не привык как-то. Ты... ну, Валя, Валя...

Валя засмеялась довольная.

— Что “Валя”?

— Красавица ты прямо.

— Да ну уж...

— Вот так мы ее тут и испортили,— встрял Сеня.— Каждый кто увидит: “Красавица! Красавица!” А ей на руку.

— Сеня, ты же первый так начал,— с улыбкой сказала Валя.

— Когда?

— Когда из армии-то пришел. Ты что, забыл?

— Так то я один, а то вся деревня, языки вот такие распустили...

— Нет, Сеня, тут распускай, не распускай, а факт остается фактом.— Иван сел на стул.— Как живешь-то, Валя?

— Хорошо.— Валя внимательно посмотрела на Ивана, усмехнулась.— Надолго к нам?

— Да не знаю,— неопределенно ответил Иван.— Вспомнились слова старика Ковалева, и он невольно опять подумал о них.— Курить здесь можно?

— Пожалуйста. Я сейчас принесу чего-нибудь...— Валя вышла из горницы.

— Видал, что делается? — спросил Сеня.

— Видал. Неважные твои дела.

— Просто пройдет по горнице, а у меня вот здесь, как ножами... Видал, как счас прошла?

Иван не успел ответить. Вошла Валя, поставила на стол блюдо.

— Вот сюда пепел.

— Ты вот послушай его, если мне не веришь. Он больше нашего повидал,— начал Сеня.

— Ну? — Валя опять весело посмотрела на Ивана.

— Как было при царизме? — рассуждал Сеня.

— Как? — спросила Валя.

— Ручной труд. Эксплуатация человека человеком.— Сеня не мог сидеть, когда говорил.— Тогда, конечно, надо было, чтобы мужик был здоровый. Кого лучше эксплуатировать? Миколу или меня? Миколу. На него можно два куля навалить, и он понесет. Со мной хуже: где сядешь, там и слезешь. Теперь: наше время — атомный век. Спрашивается, для чего мне надо расти с колокольню? Я нажимаю стартер, завожу машину и везу три тонны. Сейчас даже модно маленьким быть. Японцы, например, все маленькие, и ведь живут — ничего! У нас же как вымахает какая-нибудь жердь — так все рады-радешеньки, без ума прямо! — Сеня не на шутку раскопился.— Вырос детинушка. Ладно, он, допустим, один восемьдесят. А вот этот фактор у него работает? — Сеня постучал себя по лбу.

— Пулемет ты, Сеня,— сказала Валя.— Наговорил сорок бочек... Ну, к чему ты все? Ведь по твоей теории выходит, что я... какая же я модная?

— Я про мужиков говорю.

— Так если мужикам не надо быть здоровыми, то уж бабам-то и подавно. А я вон какая...

Иван засмотрелся на девушку. Валя перехватила его взгляд, усмехнулась и покраснела.

— Куда же мне деваться-то такой? — спросила обоих. — Эксплуатации нет, кули не надо таскать. Что же мне, закрывать глаза да головой в прорубь?

Сеня беспомощно, с надеждой посмотрел на старшего брата. Тот пожал плечами.

— Иван, хорошо в городе? — спросила Валя, как-то излишне пристально глядя на него. Ей хотелось говорить с ним.

— По-разному, Валя. Как везде.

— Ну, с нами-то не сравнишь.

— Сами виноваты! — опять встрял Сеня. — Умоляют людей: записывайтесь в самодеятельность — нет, понимаешь...

— Пошли вы со своей самодеятельностью! Что я, дура, что ли, вылезу на сцену ногами дрыгать. Я ее проломлю там у них.

— Ты можешь любую роль играть, не обязательно ногами дрыгать. Дрыгают в танцевальном кружке, а есть — драматический.

В дверь горницы постучали.

— Внимание, — Сеня поднял палец кверху. — Счас будет — акт!

— Да, — сказала Валя.

Вошел Микола в бостоновом костюме.

— Здравсте.

— Здравствуй, Коля. Садись.

Микола сел на стул, подпернул на коленях наглаженные брюки. Видно, что это его привычная поза.

— Рассказал бы нам чего-нибудь про город, Иван, — попросила Валя серьезно. — Как там живут?

— Живут... Лучше расскажите, как вы живете? Мне тоже интересно.

— Микола, расскажи, — попросил Сеня.

— На провокации не идем, — отвечивал Микола.

— Иной раз посмотришь в кино, душа заболит, — заговорила Валя. — Вот, думаешь, живут люди! Все нарядные ходят, чистенькие... В комнатах все блестит, все под руками... Господи. Правда, что ли, так живут? — Валя смотрела на Ивана. Сеня и Микола тоже смотрели на него. Ждали.

Иван долго молчал, задумчиво глядя на кончик сигареты.

Опять некстати припомнились слова старика. Поднял голову, увидел, что его с интересом ждут, усмехнулся.

— Я вам не скажу за всю Одессу... По-разному живут, ребята. Бывает как в кино, бывает похуже. Мне вот ночами

часто деревня снится. Покос... Изба родительская. А давеча глянул на нее — и больно стало: то ли она постарела, то ли я...

— Ну вот у тебя сколько комнат в квартире? — Сене неприятно было упоминать об избе: его совести дело, что она заваливается, так он чувствовал. — Комнаты три?

— Перестань, Сеня. Что вы взялись допрашивать меня?

— Кого же нам допрашивать больше? — спросила Валя. — Друг друга, что ли?.. Мы и так все знаем.

— Мне расскажите.

— Я могу за всех ответить: середка на половинке живем, — сказал Сеня.

— Скучновато живем, — добавила Валя.

— Выходи за Миколу, — посоветовал Сеня, — каждый день будешь со смеху умирать.

Микола спокойно посмотрел на Сеню, хотел что-то сказать, но решил, видно, не стоит.

— Замуж надо, действительно, — согласился Иван.

— Замуж — не напасть... — непонятно сказала Валя. И, глядя на Ивана, спросила прямо: — А за кого замуж-то? Сене не подхожу — высокая, говорит, Микола — молчит. Не станешь же сама навязываться.

Обоих женихов слова эти ударили по сердцу.

— Минуточку!.. — взвился Сеня...

Микола пошевелился на стуле, так что стул угрожающе скрипнул.

— Легкая провокация.

Валя запрокинула назад голову, громко, искренне расхохоталась. Все трое невольно засмотрелись на девушку, открыто любуясь ею.

— Все хаханьки, — заметил Сеня.

Микола пожирал Валью влюбленными глазами.

Иван смотрел внимательно, несколько удивленно.

Валя досмеялась до слез, вытерла воротничком кофты глаза, сказала:

— Не обижайтесь, ребята. Меня что-то смех разобрал. Вывает...

— Ну, что, Сеня?.. Пойдем? — Иван поднялся.

— Посидите, — с просительной шоткой в голосе сказала Валя, глядя на Ивана. И такой это был взгляд — необычный, что Микола, например, обратил на него внимание.

— Устал я, Валя. Вы сидите, а я пойду прилягу немного.

— Ну уж...

— Правда. До свиданья.

Сеня посмотрел на Миколу. Микола — на Сеню... Оба
остались сидеть. Валя встала и пошла провожать Ивана.

— У нас в сенцах темно...

В прихожей отужинали.

Младшей дочери не было дома.

Невестка переодевала для сна девочку. Хозяйка убирала
со стола. Старик рубил у жерога табак в корытце.

Иван остановился около него.

— Самосад?..

— Он самый. Какой-то не крепкий нонче уродился.
Листовухи добавлю — все слабый.

Иван присел на корточки.

— Дай-ка попребую... Давно не курил.

— Спробуй, спробуй.

Валя стояла рядом, смотрела сверху на Ивана.

— Валька, ужинать-то... простынет все,— сказала мать.

— Потом,— откликнулась Валя.

Дед с Иваном закурили.

— Как?

— Хорош!

— Донничка ишо потом добавлю — ничего будет.

— Ну, бывайте здоровы.

— Мгм.

Иван с Валею вышли в темные сени.

— Давай руку,— сказала Валя.— А то тут лоб разбить
можно. Вот здесь ступенька будет.

— Где?.. Ага, вот она.

— Вот... теперь ровно.

Остановились. Плавал в темноте огонек Ивановой папи-
роски.

Некоторое время молчали.

— Ну, иди, а то там женихи-то... скучают.

— Пусть маленько поскучают.

— Сенька-то правда любит, Валя.

— Я знаю. И Микола тоже.

— Ну?..

— А я не люблю.

Молчание.

— Что делать? — спросила Валя.

— Что делать... На нет — спроса нет. Обидно, конечно,
за брата... Но этому горю не поможешь.

— Нет, а что мне-то делать?

— Валя!.. Ты уж сама большая — смотри.

— А я любить хочу.

- Пора.
- А почему ты с женой разошелся?
- Кто тебе сказал?
- Сеня.
- Во звонарь-то... успел уж.
- Почему?
- Сложно это, Валя...
- Разлюбил? Или она тебя?
- Иди к женихам-то.
- Сколько поживешь у нас?
- Не знаю... Побуду пока. Сеньке тяжело одному... Он хоть тараторит, крепится, а душонка болит...

Между тем в горнице происходил такой разговор:

- Тебе надо громоотводом работать, — советовал Сеня.
- А тебе — комиком, — невозмутимо отвечал Микола.
- Ты хоть знаешь, сколько комики получают? — снисходительно спросил Сеня.
- По зубам, в основном. За провокации.
- Комики даже лауреаты есть, комики есть депутаты Верховного Совета. Вы ж не понимаете ничего...
- А с какого этажа их спускают оттуда?
- Кого?
- Комиков.
- Я — комик? Ладно. Вот она сейчас придет, я буду молчать. Ты ж за счет меня только держишься, потому что я говорю, а тебе молчать можно. А сейчас я буду молчать. Посмотрю, что ты будешь делать. Проведем такой опыт.

Микола молчал.

- Много вывезли сегодня? — спросил Сеня.
 - Двенадцать ездов. Потом сразу два комбайна стали. Пока возились — стемнело.
 - Сделали?
 - Один. Ты ничего не заметил своим фактором?
 - Чего заметил?
 - Так. — Микола, видно, заметил какую-то перемену в Вале.
 - Чего заметил-то?
- Молчание.
- Ладно, сейчас я тоже буду молчать.
 - Зря, — сказал Микола.
 - Чего я не заметил?

Молчание.

— Все. Молчу и смеюсь внутренним смехом.

Вошла Валя. Села на кровать.

— Ну, что будем делать?

Молчание. Долгое.

— Вы что, поругались, что ли?

Молчание.

— Сень?

Молчание.

— Коля?

Молчание.

— Что случилось-то?

— Провоцируют,— пояснил Микола.

— Кто провоцирует?

— Вон...— Микола кивнул на Сеню.

— Я провожу опыт,— кратко сказал Сеня.

— Какой опыт?

Сеня сделал знак рукой.

Долго молчали все трое.

— Да ну вас! — рассердилась Валя.— Сидят, как два сыча.

Молчание.

— Тогда я ложусь спать.

— Сенька, брось,— взволновался Микола.

Сеня замотал головой — нет.

А Иван пошел к другу детства Девятову Василию. Пришел, а у Девятовых — дым коромыслом: Василий спорил с женой, как назвать новорожденного сына.

— Ванька!..— кричала жена Настя.— Где это ты их видел нынче. Ванек-то?! Они только в сказках остались — Вани-дурачки. Умру, не дам Ванькой назвать.

— Сама ты дура,— тоже резко говорил Василий.— Сейчас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

— На черта он мне сдался, твой город! Там с ума начнут сходить и ты за ними? Я своим умом живу...

— Да сын-то мой! — заорал Василий. Он был в рабочей одежде — заехал на время домой; у ворот стояла его машина.— Или чей?

— А мне он кто?!..

Супруги так увлеклись важным спором, что сперва даже не заметили гостя.

— Можно к вам? — спросил Иван.

— О! — удивился Василий.— Иван! Заходи.

Поздоровались.

— Что за шум, а драки нет?

— А вон — сына не дает Ванькой назвать.

— И не дам, — стояла на своем Настя.

— А как ты хочешь? — спросил ее Иван.

— Валериком.

— Иваны, говорит, одни дураки остались, в сказках Много ты понимаешь! Спроси вот у него, как в городе...

— Мне ваш город не указ.

Иван заглянул в кроватку к младенцу.

— Лежит... А тут из-за него целая война идет. А чего ты, Настя, Иванов-то списала со счета? — спросил он Настю. — Не рано?

— Не рано.

— Зря. Иваны еще сгодятся.

— Вот кому сгодятся, тот пускай с ними и живет, а мы будем жить с Валериком. Правда, сынок? — Мать подошла тоже к кроватке, склонилась над сыном. — Уй ты мой маленький, мой холесенький... Иваном. Еще чего!

— Ну, Валерик — это тоже не подарок, — заметил Иван, отходя от кроватки.

— Да плохо просто! — загорячился опять Василий. — Чем нехорошо — Иван Васильевич?.. Царь был Иван Васильевич...

— У нас счас, скажи, царей нету, — тютюшкалась мать с младенцем. — Нету, скажи, царей, нечего на них и оглядываться.

— Ну что ты будешь делать? — с отчаянием сказал Василий. — Ну, е-мое, Валериком он тоже не будет, это я тебе тоже не дам. Как недоносок какой — Валерик... Он должен быть мужиком, а не...

— Будет Валериком.

— Нет, не будет!

— Нет, будет!

— Назовите в честь деда какого-нибудь, — посоветовал Иван. — В честь твоего отца или твоего.

— Да они обои — Иваны! — воскликнул Василий. — В том-то и дело!

Домой Микола пришел мрачный и решительный.

— Ты чего такой? — спросил отец.

Микола сел к столу, положил подбородок на кулаки, задумался.

— А?

— Так.

Отец готовился спать. Сидел на кровати в нижней рубашке, в галифе, босиком. Шевелил пальцами ног.

На печке лежал хворый дед Северьян.

До прихода Миколы они разговаривали и теперь вернулись к разговору.

— Он, старик-то, говорит: мы, говорит, пахали их, те поля. Приехали, обрадовались — землищи-то! И давай. Ну, год, два, три — пашем. Глядим, а песок-то с той стороны все ближе да ближе к нам. Нам, говорит, тогда старики и советуют: “Пусть эта земля лучше залежью будет, лучше поурежьте свои пашни, которые к северу, а эти не трожьте. Бросьте эти поля пахать, не трогайте”. Собрались, говорит, мы миром и порешили: не пахать к югу от Сагырлака. И верно: остановился песок. Трава-то его держать стала. А сейчас опять все распахали... И уж заметно, как сохнет к северу. Еще вот лет пять попашем — и сгубим пашню. Тогда и удобрениями ничего не сделаешь — сожжем только землю...

— Сказали бы начальству.

— А то не говорили! Доказывали: никакая это не целина, это залежь, специально которую не трогали, чтобы пески держать с юга. Ну, рази ж послушают!..

— Тять, я жениться надумал, — сказал Микола.

— Эка!.. — удивился отец. — Кого же брать хочешь?

— Вальку Ковалеву, — негромко ответил Микола.

Отец кивнул головой: слышал кое-что.

— Ты говорил с ней насчет этого?

— Та-а... — Микола мучительно сморщился. — Нет.

— Я сватать не пойду, — твердо заявил отец.

— Почему?

— Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство: придешь, а девка ни сном ни духом не ведает. Сперва договорись с ней, как все люди делают, тогда пойду. А то... ты вечно, Микола... все за тебя отец. Прогонют, потом житья в деревне не будет, бежать от стыда придется.

— Ну, ты тоже принц выискался: сватать он не пойдет, — сердито сказал дед Северьян. — Ты забыл, Тимоха, как я за тебя невесту ходил провожать? Забыл.

Тимофей недовольно нахмурился.

— Ведь не пойдет она за него. Слышал я — бабенки трепались — не глянется он ей.

— Пойдет! — сказал дед. — За такого парня!.. Чего ей еще надо?

— Почему ты думаешь, что не пойдет? — спросил Микола.

— Это уж тебе лучше знать. Хоть бы поговорил с девкой!..

— Пойдем, тять. Я один не сумею.

— Счас, что ли? — испугался отец.

— Счас.

— Ты что, опупел?

— Надо... А то поздно будет. Прошу тебя, один раз в жизни сделай...

— Тимоха, помоги парню.

— Да почему счас-то? Кто так делает?..

— А то поздно будет. Фактор один появился... поздно будет.

— Какой фактор?

— Ну... поздно будет. Ее спровоцируют.

— Тимоха...

— Да ну вас к черту, вы что, на самом деле! Ночь-полночь — сваты заявили. Завтра хохотать все будут.

— Вот как раз счас самое время идти, — рассуждал дед с печки. — Никто не увидит. Откажут, никто знать не будет.

Тимофей вздохнул, задумался.

— Какой фактор-то? — спросил он сына. — Сенька, что ли?

— Нет.

— Собирайтесь и идите, а то спать лягут люди. Ничего с тобой, Тимоха, не случится — сходишь, не похудеешь. Сделай одолжение парню. А девка правда хорошая — на ней пахать можно.

— Пойдем, тять.

— Язви вас в душу!.. Может, с матерью сходишь? Она счас придет...

— Та-а...

— Чего она, мать?.. Баба есть баба. Иди, Тимоха. Вишь, загорелось парню: значит, надо. Раз какой-то хвактор появился, не надо тянуть. Они нонче такие: не успеешь глазом моргнуть — поздно будет. опередить надо.

Отец снял грязные галифе, нашел в сундуке новые брюки, надел и, болезненно сморщившись, долго ловил негнущимися темными пальцами маленькую скользкую пуговицу на ширинке.

— Тц... сердце мое чует — на радость зубоскалам идем. Ни хрена из этого сватовства не выйдет. Подождем хоть дня-то?

— Днем хуже.

— Какая тебе разница, Тимофей?

— Вот сошьют, оглоеды!.. Не лезет, хоть матушку-репку пой.

— Чего там?

— Пуговица не лезет, мать ее...

— Подрежь ножницами петельку-то,— посоветовал дед.

Микола пригладил жесткие волосы. Долго стоял перед зеркалом.

— Чего бы сделать над собой? — спросил он деда.

Дед подумал.

— Ничего, иди так. И так хорошо. Главное, смейся там побольше. Смешно, не смешно — ты: “Ха-ха-ха-ха...” Девкам это глянется. Был бы я не хворый, пошел бы с вами.

— Пол-литра-то брать, что ли? — спросил Тимофей отца.

— Возьмите в карман,— сказал дед.— Понадобится — она при себе. Не робейте, главное. Ты, Тимоха, тоже посмеивайся там поболее. А то ведь придете счас два земледава... слова сказать не сумеете.

Сеня был уже дома, когда пришел Иван.

— Что так скоро? — спросил Иван.

— Я один опыт провел: начал тоже молчать, как Микола. Он меня комиком зовет, а я ему счас доказал.

— Чего доказал?

— Что он без меня совсем пропадет.

— Чем доказал-то?

— Молчал.

— Ну?

— Ну, она нас обоих выгнала.

— Обои вы комики... Как дети, честное слово.

— Нет, пусть он теперь не вякает.

— Что, девок, что ли, не хватает в деревне?

— Они не такие...

— Зря ты, Сенька... Ты же видишь, не любит она тебя.

Сеня — в майке и в длинных трусах — задумался около сундука.

— Видать-то я вижу, братка,— серьезно и грустно сказал он.— А отстать не могу. Умом все понимаю, а вот тут...

болит. И ничего не могу сделать. Девки есть... полно. Но все не такие.

— Чем она тебе так уж?..

— Она какая-то надежная. Я бы с ней не пропал. Мне с ней легко как-то. Увижу ее, радуюсь, как дурак. Прямо, как праздник делается. И вот ты же заметил: я сразу остроумный какой-то становлюсь, жизнерадостный... Счас уж — какое горе, и то... вспомнишь про нее, легче становится. Я бы с ней хорошо прожил.

Иван прилег на кровать. Закурил. Непонятно, то ли слушал брата, то ли думал о чем-то своем.

— А так просто жениться — лишь бы жениться — неохота. Вон ребята женятся... Год-два поживут — и уже надоели друг другу. Он норовит, как бы скорей из дому да выпить с друзьями, она — ругается. И как скоро ругаться выучиваются! Так поливает, другой старухе не угнаться. Что за жизнь? Ни себе, ни людям. Охота не так.

— Всем охота,— сказал Иван.— Не всегда получается. Ты сам крепко виноват: смеются над тобой люди...

— Они ж не со зла.

— Какая разница. Доверчивый ты, душонка добрая и та... вся открытая. А есть любители — кулаком туда ткнуть. Тоже не со зла, а так — от скуки: интересно посмотреть, как скорчишься.

— Да меня вроде ничего... любят.

— Хм...

— Так ведь и я их люблю! Оттого иной раз и выкинешь какую-нибудь штуку, чтобы посмеялись хоть. А то ходят как сонные... Жалко порой делается.

— Мало били... не рассуждал бы так.

— Тебе что, часто попадало?

— Я так, к слову.— Иван поднялся. Прошел к порогу, бросил окурочек в шайку.— Это хорошо, что ты парень веселый. Но иногда надо и зубы показать. А то заласкают, как... собаку шалавую, и последний кусок отнимут, и ничего не сделаешь. Пора это понимать, тебе уж, слава богу, двадцать шестой годик — не ребенок.

Помолчали.

Иван прошелся по избе, остановился у окна.

— Тишина на улице... Ни песен, ни гармошки. Как повымерло все.

— Наработались люди — не до песен.

— Раньше-то что, не работали, что ли?

— Молодежи больше было.

— А где Ванька Свистунов? Тоже уехал?
— Ванька милиционером работает. Участковым. А живет в районе. Хорошо живет, дом недавно себе поставил.

— А Ногайцевы ребята?... Колька, Петька.

— С Петькой я вместе в армию уходил. Меня-то в первый же год помяло в танке, а он дослужил. Отслужил и завербовался куда-то. Не знаю даже где. А Колька на агронома выучился, тоже в районе живет.

— Нда-а...

— Да жить можно! — сказал Сеня, словно возражая кому.— От самих себя много зависит. Бежали-то когда? Когда действительно жрать нечего было. Счас же нет этого. Так уж... разбаловались люди, от крестьянской работы отвыкли. Учиться многие едут. Вот и нет никого. Ужинать будешь?

— А ты?

— Я не хочу что-то.

— Я тоже.

— Ты где был-то?

— К Ваське Девятову заходил. Чего-то мне, Сенька, мысли всякие в башку полезли... Шел счас дорогой, раздумался...

— Какие мысли?

— Всякие. Нехорошо как-то стало.

— Залезла бы тебе одна мысль в голову — вот было бы дело.

— Какая?

— Остаться здесь. Я не из-за себя, а так... вообще. А чего? Все равно же... семьи там нету.

— А ты сам не подумывал уехать отсюда? — спросил Иван.

— Нет. Я один-то год в армии и то едва прослужил — тянет домой.

— Привык бы. Меня первое время тоже тянуло...

— Сам же говоришь: покос снится.

— Покос снится. Вообще, какой бы сон ни увидел — все я вроде вот в этой избе.

Помолчали.

— Он сколько в больнице лежал?

— Месяц. Потом меня вызвали: вези, говорят, домой.

— Он знал или нет, что у него...

— Нет. Может, догадывался последнее время. Один раз, недели за полторы, подозвал к себе и говорит: “Я знаю, у меня рак”. Я успокоил его, бумажки всякие начал совать —

вот, мол, гляди, тут написано. Меня в больнице научили. А последние три дня знал, что умирает...

— Что говорил?

— Ничего. Молчал. Тебя ждал...

— Пораньше бы телеграмму-то дал.

— Я думал, проживет еще. Кхах... Не надо про это... Забудешься — вроде ничего, а как... это... Лучше не надо.

— Не буду.

— С семьей-то почему не получилось?

— Та... длинная история. И поганая. Спуталась она там с одним... На работе у себя. Ну ее к... Тоже не хочу об этом.

— Любил?

— Дочь жалко... Иной раз подкатит вот сюда — хоть на стенку лезь.

— Видаешь ее?

— Переехали они... В другом городе. Не надо, Сеня.

Долго молчали.

— Остался бы здесь, правда.

— Давай спать, поздно уже. Тебе ж на работу рано.

Выключили свет, легли.

Но не спалось обоим — лежали с открытыми глазами, думали.

...Утром чуть свет к братьям пришла Валя.

— Поднялись? Здравствуйте! Давайте сготовлю вам чего-нибудь...— Сразу в маленькой избе сделалось как будто просторней, светлее, когда появилась она и зазвучал ее молодой, сильный, свежий голос.— Сеня, давай за картошкой!.. Мясо-то есть?

— Господи! — воскликнул Сеня.— Завались! В погреб.

— Давай в погреб! А я пока приберусь маленько, а то заплесневеете тут. Иван, собирай половик, неси на улицу — вытрясем. Шевелитесь, ядрена мать! Мне тоже на работу надо.

Сеня побежал в погреб. Иван неумело — ногой, начал было скатывать половик.

— Да не так, господа! Руками! Спина, что ли, отвалится — нагнуться-то боишься? Вот так... Неси. Я сейчас выйду. Отвык от деревенской работы?

— Какая это деревенская?..

— Она тут всякая, милок. У нас вон ребята коров доят, ничего.

— Брось ты?
— Чего? Поломались маленько и пошли. Комсомол помог, правда. Еще как доят-то!..

— Руками?

Валя засмеялась.

— Счас аппараты есть. Но и аппарат тоже не ногами управляется. Первое время матерились, а потом ничего... Смешно только смотреть на них. Неси.

Иван взял половик, понес во двор. Валя шла следом. Развернули половик, начали трясти. Сеня вылез из погреба с куском мяса.

— Картошки я начищу.

— Давай.

Мимо ворот по улице прошел на работу Микола. Увидев Валу во дворе Громовых, склонил голову и прибавил шагу.

— Что же не здороваешься, Коль? — крикнула Валя.

Микола буркнул что-то и свернул в переулок.

Валя посмотрела на Ивана и засмеялась.

— Чего ты?

— Так. Смешинка в рот попала. Держи крепче... Пыли-то! Жени ты его, ради Христа, Иван. А то старуха-то измучилась...

— Какая старуха?

— Тетка Анисья-то ваша. Шутка в деле — с конца на конец деревни ходить старой, хозяйничать тут.

— Он же говорит, в столовой ест.

— Да ест — одно, а прибрать вот, помыть, постирать...

Выскочил Сеня на крыльцо.

— Жарить будем или как?

— Это — как хотите.

— Иван?

— Мне все равно.

— Поджарим.

— Неси, хватит.

Иван свернул половик, и они ушли с Валею в избу.

На крыльцо опять вскочил счастливый Сеня... Пробежал по двору, набрал дров, снова исчез в избе.

...А над деревней, над полями вставало солнце... Тихо загорался нежаркий, светлый осенний день. Незримые золотые колокольчики высоко и тонко вызванивали прозрачную музыку жизни...

— Хо-о, Валуха!.. — Сеня отвалился от стола. — На весь день наелся.

— Едок, — упрекнула Валя. — Съел-то всего ничего. Вот оттого и не вырос — ешь мало.

— Начинается старая песня, — недовольно заметил Сеня. — Шел я лесом-просекой...

— Спасибо, Валя, — сказал Иван.

— На здоровье.

Сеня заторопился на работу.

— Закурим, братка, и я побежал. Надо еще свой “шевролет” собрать. На ходу сыпется, зараза.

Валя принялась убирать со стола. С затаенной надеждой глянула на Ивана.

Сеня прихватил из-под кровати какие-то железки, остановился на пороге.

— Не тоскуй здесь один-то. Хошь, возьми у дяди Ефима ружьишко, перепелов сходи постреляй. Они жирные сейчас. Вечером похлебку заварим. Или порывачь... Удочки в кладовке, в углу...

— Сеня, — сказал вдруг Иван, — возьми меня с собой.

Валя и Сеня посмотрели на него.

— Зачем? — спросил Сеня.

— Ну... посмотреть поля родные...

Валя усмехнулась и качнула головой.

— Поехали! — сказал довольный Сеня.

...Посреди поля стоят комбайн и грузовик. Неподалеку — “начальственный” “газик”. В “газике” директор совхоза. Рядом стоит комбайнер.

Из-под грузовика торчат ноги шофера.

Сеня с Иваном подлетели на мотоцикле, вздымая за собой вихрь пыли. Сеня издали заорал:

— По пятьдесят восьмой пойдешь! Понял? — Осадил мотоцикл, взял гаечный ключ и пошел к шоферу. Тот торопливо вылез из-под капота. — Развинчивай!

— Сеня...

— Быстро! А то я тебе сейчас нос отверну и к затылку приставлю.

— Не я же взял-то, разорался.

— А кто взял?

— Вон. — Шофер кивнул в сторону директора. Тот уже шел к ним.

— Здравствуй, Сеня.

— Что же получается: я...

— Подожди, Сеня, я сейчас все объясню. Этот охламон залил в картер грязное масло и побил вал. А так как тебя нет...

— Что, меня век, что ли, не будет?

— Но комбайн-то стоит. А твоя все равно разобрана...

— Ее собрать — полчасика.

— Ну...

— Что же я-то делать буду?!

— Надо достать вал.

— Где? — Сеня подбоченился, склонил голову набок. — Интересуюсь, где? Адрес.

— Чего-нибудь надо придумать, Сеня. Такое положение...

Иван наблюдал эту сцену со стороны.

— Ну, тогда я рожу его. — Сеня высморкался на стерню. — Если получится — можно двойняшку.

Шофер, незнакомый Ивану, хмыкнул и сочувственно заметил:

— Трудно тебе придется.

— Чего “трудно”? — повернулся к нему Сеня.

— Рожать-то. Он же гнутый, спасу нет... — Он кивнул на свой израненный вал, валявшийся тут же.

Сеня пошел на него с ключом. Шофер отскочил.

— Сенька!..

— Ладно, Сеня, брось его, — сказал директор. И прикрикнул на шофера:

— Делай свое дело! Остряк... Ты мне еще за вал выплаатишь.

Шофер полез под капот. Директор взял Сеню под руку, отвел в сторону.

— Знаешь, у кого есть валы?

— У Макара?

— У Макара.

— Не даст. Вообще, я не хочу иметь с ним ничего общего.

— Хочешь не хочешь, а надо выходить из положения. Я бы сам поехал. Но мне он принципиально не даст. Ты как-нибудь на обаяние возьми его...

— Я его взял вчера на обаяние... Ладно, попробую.

— Попробуй.

Сеня с Иваном уехали.

...Через десять минут они подлетели к правлению колхоза “Пламя коммунизма”. Сеня опять высморкался, молодежато взбежал на крыльцо... и встретил в дверях Макара Сударушкина. Тот собирался куда-то уезжать.

— Привет! — воскликнул Сеня. — А я к тебе... С добрым утром! — Сударушкин молча подал руку и подозрительно посмотрел на Сеню.

— Как делишки? Жнем помаленьку? — затараторил Сеня.

— Жнем, — сказал Макар.

— Мы тоже, понимаешь!.. Фу-у! Дни-то, а?.. Золотые денечки стоят!

— Ты насчет чего? — спросил Сударушкин.

— Насчет коленвала. Подкинь парочку.

— Нету. — Макар легонько отстранил Сеню и пошел с крыльца.

— Слушай, монумент!.. — Сеня пошел за ним следом. — Мы же к коммунизму подходим... Я же на общее дело...

Макар невозмутимо шагал к своей "Волге".

— Дай пару валов!! — рявкнул Сеня.

— Не ори.

— Дай хоть один. Я же отдам... Макар.

— Нету.

— Кулак, — сказал Сеня, останавливаясь. — На критику обиделся?

— Осторожней, — посоветовал Макар, залезая в "Волгу". — Насчет кулаков — поосторожней.

— А кто же ты?

"Волга" плавно тронулась с места.

Сеня завел мотоцикл, догнал "Волгу", крикнул:

— Поехал в райком!.. Жаловаться. Готовь валы! Штук пять!

— Передавай привет в райкоме! — сказал Макар.

Сеня дал газку и обогнал "Волгу".

Когда выехали опять в степь, Иван попросил:

— Завези меня домой, Сеня.

— Чего?

— Да... неловко мне как-то: люди делом заняты, а я, как... этот, как тунейдец. Да еще не знаю никого... Сколько много людей новых! Все приезжие, что ли?

— Есть приезжие. А Мишку-то Докучаева ты разве не знал?

— Какого Мишку?

— А шофер-то? Лаялся-то я с которым...

— Это Мишка?!

— Мишка.

— Не узнал. Гляди-ка!.. А директор приезжий?

— Он, вообще-то, из нашего района. В райкоме раньше работал, попросился в совхоз. Сам попросился. Толковый мужик. А Макар — кулак.

— Ты же боишься так с ними разговаривать-то?

— А чего? — удивился Сеня.

— Да нет, я так... Ссади меня здесь, я пенком пройдуся. Сеня остановился.

Иван слез и пошел по малой тропинке в деревню.

— Не скучай там! — крикнул Сеня. И газанул — поехал, оставляя за собой пыльный шлейф.

Иван догнал по дороге медленно двигающуюся подводу. Молодой человек, очень не деревенский на вид, вез на дрожках листовое железо.

— Отца хоронить приезжал? — спросил молодой человек.

— Да, — ответил Иван. — Только не успел.

— Он был безнадежен.

— А вы кто?

— Я здешний доктор. Он у нас лежал.

Иван с удивлением посмотрел на молодого человека — очень уж он не походил на доктора.

— Хороший старик, — продолжал доктор. — Совестьливый. Сам попросился из больницы — неудобно, что за ним ухаживают, судно подкладывают. Не привык, говорит, так. Ну, как там город поживает?

— Поживает... Что ему?

Молодой человек вдруг посмеялся своим мыслям.

— Видите, как у нас: поменялись местами. Я — коренной горожанин.

— Вы что же, совсем сюда?

— Нет... Не думаю, — честно сказал доктор. — Наверно, как все: отработаю свои три года и поеду в свой город. А вас не тянет сюда?

— Как вам сказать... — замылся Иван.

— Значит, не тянет. — Молодой человек весело посмотрел на Ивана. — “Знать, в далекий тот век жизнь не в радость была, коль бежал человек из родного села”. Так раньше певали? Все нормально, все естественно...

— Куда это железо-то?

— Холодильник будем делать. Выроем глубокую землянку, изнутри обоешь деревом и железом... Сам додумался: медикаменты хранить. Едва выбил железо — дошли до личных оскорблений с директором совхоза. Он говорит: буду жаловаться, а я: не буду ваш плеврит лечить. У него, видите ли, плеврит, так вот пусть дальше шагает с ним. Придет на

прием, я ему велю клизму поставить...— Доктор весело логлядывал на Ивана.

— Но он же дал. Железо-то.— Иван тоже настроился на веселый лад. Как-то удивительно легко было с доктором.

— Да, но обозвал молокососом.

— А вы его как?

— Я? Я почему-то назвал его веником. Хотя почему веник? Сам не знаю.

Иван засмеялся.

В приемной райкома партии было человека три. Сидели на новеньких стульях с высокими спинками, ждали приема. Курили.

Мягко хлопала дверь кабинета... Выходили то мрачные, то довольные.

Сеня присел рядом с каким-то незнакомым мужчиной усталого вида. Мужчина держал на коленях большой желтый портфель.

— Вы крайний? — спросил его Сеня.

— Э... кажется, да,— как-то угодливо ответил мужчина.

Сеня тотчас obligé.

— Я вперед пойду.

— Почему?

— У меня машина стоит. Так бы я ничего.

— Пожалуйста.

К Сене подсел цыгановатый парень с курчавыми волосами, хлопнул его по колену.

— Здорово, Сеня!

Сеня поморщился, потер колено.

— Что за дурацкая привычка, слушай, руки распускать!

Курчавый хохотнул, встал, поправил ремень гимнастерки. Посмотрел на дверь кабинета.

— Судьба решается, Сеня.

— Все насчет тех тракторов?

— Все насчет тех... Я сейчас скажу там несколько слов,— курчавый заметно волновался.— Не было такого указания, чтобы закупку ограничивать.

— А куда их вам? Солить, что ли?

— Тактика нужна, Сеня,— поучительно сказал курчавый.— Тактика.

Из кабинета вышли.

Курчавый еще раз поправил гимнастерку, вошел в кабинет... И тотчас вышел обратно. Достал из кармана блокнот, вырвал чистый лист, пошел в угол, к урне. Сеня с недоумением смотрел на него. Когда он чего-нибудь не понимал, он чуть приоткрывал рот. Курчавый склонился и стал вытирать грязные сапоги.

Сеня хихикнул.

— Ну, что?.. Сказал несколько слов? Или не успел?

— Ковров понастелили,— проворчал курчавый. Брезгливо бросил черный комочек в урну.

Усталый гражданин пошевелился на стуле.

— Что, не в духе сегодня? — спросил курчавого (он имел в виду секретаря райкома). Курчавый ничего не сказал.

— Не в духе,— сказал усталый, повернувшись к Сене.— Точно?

— Я сам не в духе,— ответил Сеня.

...— Вот так,— сказал секретарь курчавому.— Так и передай там.

— Ладно.— Курчавый вышел.

Вошел Сеня.

— Здравствуйте, Иван Васильевич.

— Здорово. Садись. Что?

— Прорыв. Один наш охламон залил в картер грязное масло... И, главное, без меня! Она, говорит, у тебя все равно стоит!..— Сеня даже руками развел.

— Что случилось-то? — Секретарь тряхнул головой.— Короче можно?

— Вал полетел. В результате стоит машина. А запасных нету...

— У меня тоже нету.

— У Сударушкина Макара есть. Но он не дает. И главное, убеждает: нету. А я знаю...

— Так что ты хочешь-то?

— Позвоните Сударушкину, пусть он...

— Сударушкин пошлет меня куда подальше и будет прав.

— Не пошлет! — убежденно сказал Сеня.— Побойтся.

— Ну, так я сам не хочу звонить. Что вам Сударушкин, снабженец? Докатались, что ни одного вала в запасе нету! Передай своему директору, чтобы он к обеду позвонил мне и доложил: "Вал достали". Я узнаю, будет стоять машина или нет. Все.

— Все понятно. До свиданья. Значит, мы звоним?

— Звоните.

Сеня вышел.

— Великолепно! — Сеня не знал, куда теперь двинуть.
В приемной остался один усталый гражданин. Сидел, не решаясь входить в кабинет.

— Пятый угол искали? — вежливо спросил он и улыбнулся.

Сеня грозно глянул на него... И вдруг его осенило: городской вид, а главное, желтый портфель — все это вызывало в воображении Сени чарующую картину склада запчастей... Темные низкие стеллажи, а на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежали валы — огромное количество коленчатых валов. И городской незаметно сует ему пару...

— Слушай, друг!.. — Сеня изобразил на лице небрежность и снисходительность. — У тебя на авторемонтном никого знакомого нету? Пару валов вот так надо. Пол-литра ставлю.

Городской снял со своего плеча Сенину руку.

— Я такими вещами не занимаюсь, товарищ, — сказал он. Потом деловито спросил: — Он сильно злой?

— Кто?

— Секретарь-то?

Сеня посмотрел в глаза городского и опять увидел стройные ряды коленчатых валов на стеллажах.

— Нет, не очень. Бывает хуже. Иди, я тебя подожду здесь. Иди не робей.

Городской поднялся, поправил галстук. Прошелся около двери, подумал...

Дверь неожиданно распахнулась — на пороге стоял секретарь.

— Здравствуйте, товарищ первый секретарь, — негромко и торопливо заговорил усталый, ибо секретарь собирался уходить. — Я по поводу своей жалобы.

Секретарь не разобрал, по какому поводу.

— Что?

— Насчет жалобы. Она теперь в вашем районе живет и...

— Кто живет в нашем районе?

Усталый досадливо поморщился.

— Я вот здесь подробно, в письменной форме... — Он стал вынимать из портфеля листы бумаги. — Целый "Война и мир", хе-хе...

— Вот тут на улице, за углом, прокуратура, — сказал секретарь, — туда.

— Не в этом дело, товарищ секретарь. Они не поймут... Я уже был там.

Секретарь прислонился спиной к дверному косяку.

— Идите. Там все понимают.

Усталый помолчал и дрожащим от обиды голосом сказал:

— Ну что же, пойдём выше.— Повернулся и пошел на выход совсем в другую сторону.— Все забыли!..

— Не туда,— сказал секретарь.— Вон выход-то!

Усталый вернулся. Проходя мимо секретаря, горько прошептал: — А кричим: “Коммунизм! Коммунизм!”

Секретарь проводил его взглядом, повернулся к Сене.

— Кто это, не знаешь?

Сеня пожал плечами.

— А ты чего стоишь тут?

— Уже пошел, все.

Грустный грустно шагал серединой улицы — большой, солидный. Круглая большая голова его сияла на солнце.

Сеня догнал его.

— Разволновался? — спросил он.

— Заелся ваш секретарь-то,— сказал грустный, глядя перед собой.— Заелся.

— Он зашился, а не заелся. Погода вот-вот испортится, а хлеб еще весь на полях. Трудно.

— Всем трудно,— сказал грустный.— У вас чайная где?

— Вот, рядом.

— Заелся, заелся ваш секретарь,— еще раз сказал грустный.— Трудно, конечно, такая власть в руках — редко кто не заестся.

— Ты из города?

— Да.

— У тебя там на авторемонтном никого знакомого нету?

— А что?

— Пару валов надо...

— Волон?

— Валов. Коленчатых.

Грустный человек грустно посмеялся.

— Мне слышалось: волон. Надо подумать.

— Подумай, а?

Подожли тем временем к чайной. Вошли в зал. Грустный сказал:

— Сейчас... Сделаем небольшой забег — что-нибудь сообразим.

— Какой забег?

— В ширину.
 Сенья не помял. Грустный опять посмеялся.
 — Ну, выпьем по сто пятьдесят... Выражение такое есть.— Он грузно опустился на стул, портфель поставил на стол.— Садись.
 — Слушай, тут же нет по сто пятьдесят.
 — Как?
 — Не продают.
 — Тыфу!.. Демократия!
 — Красного можно.
 — Ну, возьми хоть красного. На деньги.
 Сенья принес бутылку вина, стакан.
 — А себе стакан?
 — Мы же в город поедem. На мотоцикле же. Как я поведу-то?
 — А, валы-то...— Грустный налил полный стакан, выпил, перекопился...— Ну и гадость!.. Чего только не наделают.— Налил еще полстакана и еще выпил.— От так.
 Закурили.
 — Валы, говоришь?
 — Валы.
 — Прямо хоть караул кричи?
 — Точно. Погода стоит...
 — Мне бы ваши заботы... А на кой они тебе сдались, эти валы?
 — Я же тебе объяснял: полетел...
 — Нет, я про тебя говорю. Машина-то чья?
 — Моя.
 — Личная?
 — Какая "личная"...
 — А, государственная?
 — Ну.
 — А почему тебе жарко?
 — Так я же на ней работаю!
 — А ты не работай. Нет валов — загорай. У них же все есть — пусть достанут. Они же самые богатые в мире. Они, вообще, самые свободолюбивые. Законов понаписали — во! — грустный показал рукой высоко над полом.— А все без толку. Что хотят, то делают.
 Сенья оглянулся в зал.
 — Чего ты орешь-то?
 — Братство! Равенство!..— Грустного неудержимо повело. Он еще выпил полстакана.— Они на "Волгах" разъезжают, а мы вкалываем — равенство.

Сене было нехорошо. Он не знал, что делать.

— Брось ты, слушай, чего ты развякался-то? Поедем за валами.

— Вот им, а не валы! Пусть они на своих законах ездят. Я им покажу валы... — Грустный вылил остатки в стакан, выпил. — Пусть они — петушком, петушком... Пошли их к...

— Да мне нужны валы-то, мне-е! — Сеня для убедительности постучал себя пальцем в грудь.

— Вот им — принципиально! — Грустный показал фигу.

— Значит, не поедем?

— Нема дурных, как говорил...

— Что же ты мне, гад, голову морочил? Я счас возьму бутылку, как дам по твоей люстре, чтоб ты у меня рабочее время не отнимал. Трепач.

— Потихе, молодой человек. Сопляк. Разговаривать научились! Еще гадом обзывается... Я тебе найду место. Надо честно работать, а не махинациями заниматься! — Грустный явно хотел привлечь внимание тех немногих посетителей, которые были в зале. — А я на махинации не пойду!

Сеня оглянулся — никого знакомых мужиков не было. А одному такую глыбу не свалить. Это, видно, понял и грустный, и это его приободрило.

— Щенок еще, а уже махинациями занимаешься! Хими-чишь уже... Я вот отведу сейчас в одно место, там тебе покажут валы.

— Вот сука! — удивился Сеня. И хотел было уже идти. И увидел, как в чайную вошел Микола... Повернулся к грустному и коротко и властно скомандовал: — Встать!

Теперь удивился грустный. Маленькие его глаза вовсе сошлись у переносья.

— Что-о?..

— Микола! — позвал Сеня. — Иди-ка сюда, тут твои поршня требуются.

Огромный, грязный Микола пошел к столику...

Грустный тухнул.

— Чего? — спросил Микола.

— Шпион, — показал Сеня на лысого. — Счас мы его ловить будем. Встать!

— Брось дурить-то...

— Микола, ты бери портфель — там факты лежат, — а я буду его окружать. — Сеня двинулся "окружать".

Лысый взял портфель и пошел из чайной.

— Хулиганье, черти.

Сеня провожал его до двери. У двери дал ему хромой ногой пинка под зад.

— От-тюшеньки мои!

Лысый оглянулся во гневе...

— От так!.. по мягкой по твоей! — Сеня еще разок достал лысого. — Микола, иди, тут с моей ногой ничего не сделаешь — она у него как перина. Тут кувалду надо...

Лысый плюнул и ушел от греха подальше.

Все сидевшие в зале с интересом и любопытством наблюдали за этой сценой.

Сеня вернулся к столику, где стоял Микола.

— Ты чо делаешь-то? С ума, что ли, сошел?

— Посулил гад такой вал достать, а сам обманул.

— Какой вал?

— Коленчатый. У нас вал полетел, а запасного нету. У вас нету?

— Что ты!..

— Хоть матушку-репку пой. К Макару, что ли, еще съездить...

— А что это за человек-то был?

— А хрен его знает.

— Так он же тебя сейчас посадит.

— Не посадит. А в "Заре" нет запасных, не знаешь?

— Ты лучше иди отсюда, он сейчас с милиционером придет.

Сеня посмотрел в окно, потом на Миколу.

— Да? Вообще-то лучше, конечно, без приключений...—

И Сеня скоренько похромал из чайной.

Микола подошел к стойке, посмотрел меню... Задумался, посмотрел в окно и тоже пошел из чайной.

— Еще в свидетели сейчас запишут,— сказал он буфетчице на прощание.

...Только к вечеру Сеня добыл вал. Но теперь у него стал мотоцикл. Сеня, грязный по уши, копался в нем.

...Микола издали узнал знакомую маленькую фигурку на дороге. Подъехал, остановился.

— Чего у тебя?

— Прокладку пробило... Зараза. Весь изматерился.

Микола подошел, тоже склонился к мотоциклу.

— Вроде сделаю, начну заводить — чихает пару раз и глохнет.

Микола внимательно исследовал неполадку... Покачал головой.

— Надо новую.

— Надо... Курево есть?

— Есть.

— Давай перекурим это дело.

Микола, вынимая из кармана папиросы, увидел коленчатый вал.

— Достал?

— Достал. Новенький. Если теперь кто сунется еще раз к моей машине, стрелять буду.

— А где достал?

— Тайна, папаша, покрытая мраком.

— Трепло.

— Там больше все равно нету.

...Сидели, курили.

Мимо, по тракту, шли и шли машины, груженные хлебом. Навстречу ехали пустые. А когда машин не было, слышно было, как в сухом теплом воздухе стрекочут кузнечики и заливаются сверху невидимые жаворонки.

Поле за трактом было уже убрано; земля отдыхала от гула машин и тучной ноши своей — хлеба. Только одинокие свежие скирды соломы золотились под солнцем.

Парни смотрели вдаль, думая каждый о своем.

— По двадцать семь на круг выходит, — сказал Микола. — Такой — даже у нас редко бывал.

Сеня взял с земли какой-то плоский предмет, обернутый тряпкой... Развернул тряпку, показал — патефонная пластинка.

— В районе купил. — Сеня прищурил глаза, прочитал: — Рада Волшанинова. “Уйди”. “Когда душа полна” — в скобках. Нет, вот эта: “Не уезжай ты, мой голубчик”. Тоже Рада. Братке везу, пусть послушает. Тонкий намек...

Микола глянул на Сеню... Поднялся, задавил каблуком окурков.

— Нужны ему твои... голубчики, как собаке пятая нога.

— Ничего говорить не буду, заведу молчком и сяду. Вот поет, слушай... Я давеча в раймаге чуть не заплакал. Давай забросим к тебе мотоцикл, а то я тут ночевать буду. Бери его... — Сеня завернул пластинку, взял коленчатый вал и понес в кабину.

Микола повел мотоцикл к задку кузова.

Вместе забросили мотоцикл в кузов.

Поехали.

Сеня положил пластинку в багажник. Вал держал в руках, как ребенка.

Некоторое время молчали.

Иван курил, сидя на кровати.

Валя подошла к нему.

— Встань-ка, я застелю.

Иван поднялся... Оказались друг против друга. Близко. Иван засмотрелся в ее чистые, чуть строгие от смущения глаза...

— Сватать меня вчера приходили, — тихо сказала Валя.

Иван молчал.

— Что же не спросишь — кто?

— Я догадываюсь.

— Ну? — требовательно и нетерпеливо спросила она.

— Что?

— Что же не спросишь, чем кончилось-то? Сватовство-то.

— Я знаю.

— Господи!.. Все-то он знает. Какой ведь еще... Чем?

— Отказом.

— Отказом... Легко сказать: мне их жалко обоих. Сеньку даже жалче.

Помолчали.

— Почему ж ты молчишь-то, как каменный?

— Потому что мне тоже жалко.

— А меня так вот никому не жалко!.. Или ты это — из жалости?

Иван повернул ее лицом к себе.

Валя быстро смахнула ладошкой слезу.

— Господи... так скоро и такой дорогой стал. — Валя сняла у него с подбородка табачинку, прижалась горячей ладошкой к заросшей щеке, погладила. — Колючий...

Иван обнял ее, прижал к груди. Долго стояли так.

— Валя, Валя... Мне кажется, я сумку отнимаю у нищего на дороге.

— Ты про Сенью?

— Про Сенью и про...

— Ну а что же мне-то делать, Ваня, голубчик? Мне ведь тоже любить охота. Кто же любить не хочет?

— Все хотят, — согласился Иван.

— Если бы я пожила-пожила да снова родилась — тогда можно и так как-нибудь. А снова-то не родишься.

— Тоже верно. Все понимаешь.

— Господи, я вообще все понимаю! Мне, дура, надо было мужиком родиться, а я вот...

— Не жалей.

— Как не жалеть! Были бы у нас права одинаковые с вами, а то...

— Что?

— Вам все можно, а наше дело — сиди скромничай.

— Что — “все”-то?

— Да все! Захотел парень подойти к девке — подходит. Захотел жениться — идет сватает. А тут сиди выжидай...

Иван крепко поцеловал ее.

— Чего глаза-то закрыла?

— Совестно... И хорошо. Как с обрыва шагнула: думала — разобьюсь, а взяла — полетела. Как сон какой...

Иван поцеловал ее в закрытые глаза.

— Теперь смотри...

Когда он ее целовал, вошел Сеня... Мгновение стоял, пораженный увиденным, потом повернулся и хотел выйти незамеченным. Но споткнулся о порог... В этот момент его увидел Иван. Валя ничего не видела, не слышала. Открыла глаза, счастливая, и ее удивило, как изменился в лице Иван.

— Ты что?

Иван прижал ее, погладил по голове.

— Ничего. Ничего.

— Ты как-то изменился...

— Ничего, ничего. Так.

Сеня загремел в сенях, закашлял.

— Сеня идет.

Валя отошла к столу, принялась готовить.

— Как раз к ухе-то. Он ее любит. Сейчас — страда, некогда, а то все время на речке пропадает.

Вошел Сеня. Улыбчивый.

— Привет!

— Здравствуй, Сеня! Как раз ты к ухе своей любимой подоспел.

— Так я ведь... Где только не подоспею! — Сеня мельком глянул на Ивана, проверяя: видел тот его, как он выходил из избы? Иван ничем себя не выдал — сидел, как всегда, спокойный. Он боролся с собой, как мог — горько было. — Ходил удить?

— Посидел маленько. Плохо клюет.

— Э-э, это уметь надо! Мы вот с дядей Емельяном всегда ходим и сидим на одном месте — он нарочно подсаживается... И что ты думаешь? Я не успеваю дергать, а он только матерится. А я и сам не знаю, как у меня получается. Иной раз и не хочешь, а смотришь — клюет.

Иван кивнул головой, поддакнул:

— Бывает. Что это у тебя?

Сеня положил пластинку, достал патефон, завел.

— Ты чего это, Сень? — спросила Валя.

— Пластинку одну купил... Услышал давеча в раймаге — поглянулось...

Иван, когда Сенья суетился с патефоном, смотрел на него. И ему нелегко было. Только Вале было легко и хорошо.

— Какую пластинку-то?

— Вот... слушай.

*“Не уезжай ты, мой голубчик,
Печально жить мне без тебя;
Дай на прощанье обещанье:
Что не забудешь ты меня”*

Цыганистый с надрывом голос больно ударил по трем потревоженным сердцам. Трое, притихнув, внимательно слушали.

*“Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня.
Что любишь меня.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь ты меня...” —*

стонал, молил голос.

Сенья, пытаясь унять боль и волнение, хмурился, шваркал носом. Ни на кого не смотрел.

Валя повлажневшими глазами открыто смотрела на Ивана.

Иван курил, тоже слегка хмурился, смотрел вниз, как виноватый.

*“Когда порой тебя не вижу,
Грустна, задумчива сижу,
Когда речей твоих не слышу,
Мне кажется, — я не живу”.*

Слушают...
Сеня...
Иван...
Валя...

*“Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня.
Что любишь меня.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь ты меня”.*

“Она” допела... Сене невольно было оставаться здесь еще. Он вскочил, глянул на часы...

— Я ж опаздываю! Елкина мать, у меня же дел полно еще!

— Уху-то,— сказала Валя.

— Не хочу,— сказал на ходу Сеня и вышел, не оглянувшись.

— Хорошая песня,— похвалила Валя.— Душевная.

Иван встал с места, принялся ходить по избе.

— Сенька все видел.

Валя резко обернулась к нему... Ждала, что он еще скажет.

— Ну? Что дальше?

— Все. Отнял все-таки сумку-то... Встретил на дороге и отнял. Среди бела дня.

— Так...— Валя села на стул, положила руки на колени.— Жалко?

— Жалко.

— Что же теперь делать-то? Ограбил нищих — ни стыда, ни совести, теперь хватай меня, догоняй этих нищих и отдавай обратно.— Валя насмешливо и недобро прищурила глаза.— А как же?

Иван остановился перед ней. Тоже резковато заговорил:

— А усмешка вот эта... она ни к чему! Больно мне, ты можешь понять?

— Нет, не могу. Ты куда приехал-то? К нищим, к темным... И хочешь, чтобы его тут понимали. Не пойдем мы.

— Ну и к черту все! — Иван обозлился.— И нечего толковать. Вас, я вижу, не тронь здесь: “Мы темные, такие-сякие”...

— Да не мы, а ты нас сюда жалеть-то приехал, болеть за нас.

— Значит, уехать надо!

— Уезжай, правильно. А то мы тут с жалобами полезли со всех сторон... с любовью. Обрадовались.

— Перестань так говорить! — резко сказал Иван. — Если не понимаешь, слушай, что другие говорят.

— Вот теперь понятно. — Валя встала, подошла к раковине, сполоснула руки, вытерла их... И вышла.

Иван сел к столу, склонился на руки... Болезненно сморщился, скрипнул зубами.

— Ммх...

Встал, начал ходить.

Сеня пришел на берег родной своей бурной реки.

Река здесь врывалась в теснину, кипела, катила крутую волну. Купались в ней редко — холодно и опасно.

Неподалеку от деревни находился санаторий — белел издали помещьем.

Дул ветерок, похоже, нагоняло дождя. Река была вовсе неприветлива...

На берегу собрались туристы, отдыхающие... Смотрели на реку, бросали ей в рассерженную морду палки. Кто-то, глядя на эти палки, обнаружил такую закономерность:

— Смотри, чем дальше палка от берега, тем дальше ее не выбрасывает.

— Да.

— Простите, сэр, — это велосипед.

— Почему?

— Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега.

— Я думал не о законе как таковом, а о том, что это... похоже на людей.

— ??

— Сильные идут дальше. В результате: в шторм... в житейский, так сказать, шторм выживают наиболее сильные — кто дальше отгребется.

— Это слишком умно...

— Это слишком неверно, чтобы быть умным.

— Почему?

— Вопрос: как оказаться подальше от берега?

— Я же и говорю: наиболее сильные...

— А может быть так: наиболее хитрые?

— Это другое дело. Возможно...

— Ничего не другое. Есть задача: как выжить в житейский шторм? И есть решение ее: выживают наиболее “легкие” — любой ценой. Можно за баркас зацепиться...

— Это по чьему-то опыту, что ли?

— По опыту сильных.

— Я имел в виду другую силу — настоящую.

— Важен результат...

В этот момент Сеня появился на берегу.

— Освежиться, что ли, малость! — сказал он.

— Куда вы? — удивились очкарики. — Вы же простынете! Вода — пять градусов.

— Простынете...

Сенька даже не посмотрел на очкариков. (Там была девушка среди них, Сеня на них на всех обиделся.) Снял рубаху, штаны... Поднял большой камень, покидал с руки на руку — для разминки. Бросил камень, сделал несколько приседаний и похромал волнам навстречу. Очкарики смотрели на него.

— Остановите его, он же захлебнется! — вырвалось у девушки. (Девушка еще и в штанах, черт бы их побрал с этими штанами. Моду взяли!)

— Здешний, наверно.

— По-моему, он к своим тридцати шести добавил еще сорок градусов.

Сенька взмахнул руками, крикнул.

— Эх, роднуля! — И нырнул в “набежавшую волну”. И поплыл. Плыл саженками, красиво, пожалуй, слишком красиво — нерасчетливо. Плыл и плыл, орал, когда на него катилась волна:

— Давай!

Подныривал под волну, выскакивал и опять орал:

— Хорошо! Давай еще!..

— Сибиряк, — сказали на берегу. — Все нипочем.

— Верных семьдесят шесть градусов.

— Давай! — орал Сеня. — Роднуля!

Но тут “роднуля” подмахнула высокую крутую волну... Сеня хлебнул раз, другой, закашлялся... А “роднуля” все накатывала, все била наглеца. Сеня закрутился на месте, стараясь высунуть голову повыше. “Роднуля” била и била его холодными мягкими лапами, толкала вглубь...

—...сы-ы! — донеслось на берег. — Тру-у-сы спали-и!.. Тону!

Очкарики заволновались.

— Он серьезно, что ли?

— Он же тонет, ребята!

— Э-эй! Ты серьезно, что ли?!

— Да серьезно, какого черта!..

—...у-у,— орал Сенька. Он серьезно тонул. Видно было, как он опять хлебнул... Скрылся под водой, но опять выкабался. Но больше уже не орал.

— Лодку! Лодку!..— забегали на берегу.— Эй, держись!

Побежали к лодке, что лежала метрах в ста отсюда и далеко от воды. Но кто-то разглядел:

— Она примкнута к коряге.

— Черт, утонет ведь! Еще хлебнет пару раз...

— Ребята, ну что же вы?! — чуть не плакала девушка в штанишках.

Голова Сеньки поплававком качалась в волнах, скрывалась из виду, опять появлялась... И руками он теперь взмахивал реже.

— Ребята, ну что вы?!

Двое очкариков начали торопливо сбрасывать с себя одежду. Вот скинул один, прыгнул в воду, ойкнул и сильно погрел к Сеньке. И второй прыгнул в воду и стал догонять первого.

— Эй, держись! Держи-ись! — кричала девушка и махала зачем-то руками.— Ребята, они успеют?

— Успеют.

— Вот фраер-то!..

— Зачем он полез-то!

— Семьдесят шесть градусов, Николай верно говорил.

— Трепач-то!.. Хоть бы успели.

— Мне эти сильные!.. Сибиряки. Куда полез? Зачем?

— Ребята, успеют или нет? Где он, ребята?..

Ребята только-только успели: поймали Сеню за волосы и погребли к берегу.

Сеня наглотался изрядно. Очкарики начали делать ему искусственное дыхание по всем правилам где-то когда-то усвоенной науки спасения утопающих: подложили Сене под поясницу кругляш, болтали бесчувственными Сениными руками, давили на живот... Сеня был без трусов, девушка издали спрашивала, отвернувшись от компании:

— Ребята, вам теперь медали дадут, да?

Те, что возились с Сеней, захихикали.

— Ирочка, без трусов не считается.

— Как не "считается"?

— Если вытащили утопающего, но он без трусов; то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль.

— Ира, иди поддержи голову.

— Да ну, какие-то!..

Сеня стал подавать признаки жизни. Открыл глаза, замычал... Потом его стало рвать водой и корезить. Рвало долго. Сеня устал. Закрыв глаза. Потом вдруг — то ли вспомнил, то ли почувствовал, что он без трусов, — вскочил, схватился... там, где носят трусы... Очкарики засмеялись. Сеня — бегом по камням, прикрывая руками стыд, добежал к своей одежде, схватил, еще три-четыре прыжка — и он скрылся в кустах. И больше не появлялся.

— Вот теперь и выпить полагается!

— Зря он сбежал! — сокрушались. — Лютенко нахмурится: “В честь чего выпивка?” — “Спасли утопающего”. Не поверит. Скажет, выдумали. Ира, подтвердишь?

— Если вам не полагаются медали, то и выпивка не полагается. Я против.

Сеня между тем пришел в магазин. Продавщица была молодая. Сеня оглянулся, спросил продавщицу негромко:

— Здесь бумажник никто не находил?

— Какой бумажник?

— Кожаный... в нем пятнадцать отделений.

— Твой, что ли?

— Не имеет значения. Никто не поднимал?

— Нет. А что там было?

— Деньги.

— Твои, что ли?

— Не имеет значения.

— Много денег?

— Три тысячи.

— Новых?!

— Новых... Новеньких. Никто не поднимал?

Тут только сообразила продавщица, что Сеня ее разыгрывает.

— Господи!.. Сенька, зайкой сделаешь так. Да ведь как серьезно, черт такой! Ты хоть раз в глаза видел такие деньги?

Сеня криво улыбнулся.

— Хочешь, я тебе сейчас... Ну, ладно. Замнем для ясности. Дай бутылку. — Сению всего трясло — замерз.

— Чего “я сейчас”?

— Ладно, ладно. Давай бутылку и помалкивай. Я про деньги не спрашивал.

— Женился бы ты, чудака-человек, — с искренним сочувствием сказала продавщица. — Женишься — заботы пойдут, некогда выдумывать-то будет что попало...

— Ладно, ладно, — сказал Сеня, не попадая зуб на зуб. Еще раз предупредил продавщицу: — Имей в виду: я про деньги не спрашивал. Если кто найдет, станут тебе отдавать — ты ничего не знаешь, чьи они.

— Ладно, Сеня, не скажу. Только ведь не отдадут.

— Как?

— А то не знаешь — как? Найдут и промолчат. Три тыщи — это дом крестовый, какой же дурак отдаст. Присвоят, и все.

— На всякий случай: ты ничего не знаешь. Они — фальшивые.

...Пришел Сеня поздно. Заметно выпивши.

— А где... она?

— Что ж ты один? Прихватил бы сюда — вместе бы выпили.

— ...А она ушла?

— Ушла.

— Почему? Почему она ушла?

— Завтра поеду.

— Почему?

— Ты что, так уж пьян, что ли? Заладил, как попугай: “Почему? почему?” Когда-нибудь надо ехать.

— Надо?

— Тьфу!..

— Не сердись, братка. Правда, маленько выпил. Но ведь... ладно. Теперь слушай меня: не торопись. Поживи еще маленько... Никуда твой город не денется.

— Не могу.

— Можешь. Я знаю, почему ты заторопился. Ну, вот слушай: женись на ней. Если у тебя такие дела с семьей — женись. Лучше ее тебе нигде не найти. Это я тебе не пьяный говорю. Я для того и выпил, чтобы сказать. Если смущает, что я тут со своей... с этой... с любовью, то не обращай внимания. Я тут пришей-присебай, никогда она за меня не пойдет, мы все это прекрасно понимаем. А и пойдет, то что я с ней буду делать, с такой? За тебя пойдет. Кладу голову на отсечение: лучше ее ни в жизнь не найти. Ваня, братка, я рад буду: женись на ней. Живите здесь. Я найду себе!.. Их

тут навалом. Дом поставишь, семья будет... Ты же крестьянин, Ваня, как ты можешь так легко уехать? Тут не Мамай прошел... Тут твои руки нужны, голова твоя умная. Разве ты не понимаешь? Ты привык там, я знаю... Отвыкни. Трудно же без вас, черти! Мы справимся, урожай уберем, все сделаем... не то делали.— Сеня крепко зажмурился, тряхнул головой.— Не в этом дело. Вот ты говоришь: "Пусто". А что мы не видим, что ли? Что нам не охота, чтоб тут народу кишмя кишело, чтоб гармошки орала по ночам, девки пели, чтоб праздники были, гуляли бы, на покос собирались. Помнишь, говоришь, покос-то? — Сеня помолчал.— Тоже люблю... Ребятишек бы своих косить учили. Помнишь, отец учил: "На пятку жми, сукин сын!" А про меня ты не думай, не жалея меня. Жалеть будешь — мне обидно станет. Это мне тебя жалко, но я молчал. А сейчас — раз уж пошел такой разговор — говорю: жалко и удивительно. Как только у тебя сердце терпит? Эхх,— вздохнул Сеня,— братка милый мой...

— А знаешь, какой дом можно сделать? — сказал вдруг Иван.— Двухэтажный. Сейчас мода — двухэтажные. Красиво, я видел. Мне один раз даже во сне такой приснился...

— Да зачем он, поди, двухэтажный-то?

— Да что ты?! — заволновался Иван.— Знаешь как удобно! Вот, смотри как: низ — как обычный пятистенок, так? Но кладовка и сенцы не пристраиваются, а — в срубе. Так?

— А крыша как? Флигелем?

— Нет, кругом. Теперь смотри: на втором этаже — где кладовка и сенцы — пойдет веранда. Причем ее можно пропустить и с торца — под окнами, балкон такой...

— А крышу — свесить,— подхватил Сеня.— А?

— Но!

Сеня снялся с места и заходил по избе.

— Знаешь, где его можно поставить? На берегу, где Змеинный лужок-то выходит... Где кузня-то была! Знаешь?

— Знаю.

— А баню прямо на берегу поставить...

— А с кручи спустить трос...

— Для чего?

— Воду доставать. Ворот, колесо какое-нибудь — и мотай.

— Да там и принести не так уж высоко.

— Да на кой черт носить, если можно приспособление сделать?

— Ну, да,— согласился Сеня.— А то жена беременная будет, ей тяжело будет.

При упоминании о “жене” оба как бы спохватились, замялись. Помолчали малость и выправились.

— Еще я бы полати сделал в избе,— сказал Сеня.— Черт ее знает что — люблю полати!

— Помнишь, как мы на полатах спали?

— Помню. Но полати — это... Ну, можно и полати. А что баню на самом обрыве — это хорошо.

— Как хорошо-то! Я люблю, когда моешься, чтоб из окошечка далеко видно было. А еще лучше, когда в окошечке видно, как солнышко закатывается...

— А дома самовар стоит.

— А жена выйдет на крыльцо: “Сенька, ты ничего там?”

— Помнишь, мама все выходила: “Ванька, вы ничего там? Не угорели?!” Эх, братка...

— Вот пойдешь такая жизнь, я согласный по пятнадцать часов в день работать — и ни разу не пожалуюсь. А в субботу — под воскресенье — поплыли бы лучить. Ох, я знаю одно место-о! В субботу завестись пораньше да хорошего смолья успеть заготовить — хоть до утра рыбаць...

— Любишь лучить?

— Нет, я лучше с удочкой уважаю.

— Верно, я тоже больше с удочкой люблю. Культурней как-то. Хошь книжку возьми, возьми одеяло, раскинь на бережку — так поваляйся, благодать. А детишки пойдут! Детишек с собой взять.

Иван качнул головой. И задумался.

Сеня, чтоб не спугнуть его хорошие думы, чтобы его так и оставить с этими думами, поспешно сказал:

— Давай-ка соснем пока, братка. Верно говорят: утро вечера мудренее.

— Пойдем на сеновал спать,— предложил Иван.

— Пошли,— охотно согласился младший брат.

Они вынесли одеяла, подушки и устроились спать на сеновале в сарае.

Только оба долго не могли заснуть — глядели сквозь щели сарая в большую лунную ночь. Молчали.

Утром, чуть свет, когда Сеня еще спал, Иван осторожно поднялся... Осторожно прокрался по сараю...

Вошел в избу.

Достал из-под кровати свой маленький чемоданишко, с каким приехал... Открыл его: там кое-какие подарки, которые он привез отцу и Сене,— пара рубах, зажигалка Сене, шарфик какой-то... Иван все это выложил на кровать, взял чемодан, постоял с ним...

Присел перед дорогой на кровать, посидел, встал и пошел.

И вышел из избы.

Оглянулся на сарай, на избу...

И решительно пошagal прочь.

На улицах деревни никого не было.

Только из ограды Ковалевых вышел отец Вали... Иван, увидев его, хотел было свернуть в переулок, но уже поздно было.

Поздоровались.

— Поехал? — спросил старик.

— Надо, — ответил Иван.

— Закури на дорожку, — предложил старик. — Подмешал вчера дощину в табак — ничо, скусный стал.

Закурили.

— Тут машины ходят счас?

— Машин полно, — сказал старик. — Хлеб круглые сутки возют. Все на вокзал едут.

Постояли. Говорить больше не о чем было.

— Ну, счастливо доехать тебе, — молвил старик.

— До свиданья, — сказал Иван.

И разошлись.

Иван удалялся по улице. Потом свернул с улицы в сторону большака. И пропал из виду.

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

Накануне, ближе к вечеру, собралась родня: провожали Ивана Расторгусова в путь-дорогу. Ехал Иван на курорт. К морю. Первый раз в жизни. Ну, выпили немного — разговорились. Заспорили. Дело в том, что Иван, имея одну путевку, вез с собой еще жену Ньюру и двух малых детей. Вот о том и заспорили: надо ли везти детей-то? Иван считал, что надо. Даже обозлился.

— Вот что я вам скажу, уважаемая родня: пеньком дремучим — это я сумею прожить. Я хочу, чтоб дети мои с малых лет развитие получили! Вот так. Не отдых мне этот нужен!.. Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке — и все, и печки-лавочки. Отдохнул. Да еще бутылочку в кустах раздавлю... Так? А вон им, — в сторону маленьких детей, — им больше надо. Они, к примеру, пошли в школу, стали проходить море — а они его живьем видели, море-то? Скажут, папка возил нас, когда мы маленькие были. Я вон отда-то почти не помню, а вот помню, как он меня маленького в Березовку возил. Вот ведь что запомнилось! Ведь тоже небось и ласкал и конфетку когда привозил — а вот ничего же не запомнил, а запомнил, как возил с собой на коне в Березовку...

— А я тебе скажу почему, — заговорил Васька Чулков, двоюродный брат Ивана. — Это потому, что на коне.

— Что “на коне”?

— На коне возил, а не на мотоцикле. Поэтому ты и запомнил. Я вон своих вожу...

— Да это не потому! — зашумели на Ваську.

— Это ерунда! Какая разница — что на коне, что на мотоцикле?

— Сравнил козлятину с телятиной!

— Дайте мне досказать-то! — застучал вилкой по графину Иван. — Я для того и позвал вас — выяснить...

— Да не пропадут! — воскликнул дед Кузьма, храбрый старый матрос. — Что, в Америку, что ли, едут? В Россию же.

— Да шибко уж маленькие, прямо сердце заходится, — повернулась к нему теща Ивана, Акулина Ивановна. — Чего уж так зазудело-то?

— Он же говорит чего.

— Блажь какая-то...

— Да с грудными и то ездют.

— Да с грудными-то легче. Его накормил, он и спит себе. А ведь тут, отвернись куда, они уж — под колесами.

— Ну уж — под колесами. Чего уж?.. Езжай, Ванька, не слушай никого.

— Нюр, — обратились к жене Ивана, — ты-то как? Чего молчишь-то?

— Да я прям не знаю... Он мне все мозги запудрил с этим морем. Я уж и не знаю, как теперь... Вроде так-то охота, а у самой душа в пятки уходит — боюсь.

— Чего боишься-то?

— А ну как да захворают доро́гой?

— Чирий тебе на язык!

— В сумку, чтоб сухари не мялись, — в сердцах молвил языкастый Ванька. — Ворона каркнула во все воронье горло.

— А захворают, вы — так, — стала учить Нюру и Ивана одна молодящаяся бабочка не совсем деревенского покроя, — сразу кондуктора: так и так — у нас заболели дети. Вызовите, пожалуйста, нам на следующей станции врача. Все! Она идет в радиоузел — она обязана, — вызывает по рации санслужбу, и на следующей станции...

— Ну, тут семь раз дуба врежешь, пока они там по рации...

— Это все — колеса. Ты, Иван, держи на всякий случай бутылку белой, — стал по-своему учить Васька Чулков. — Как ребенок захворал, — ты ему компресс на грудь. Нюра, возьми с собой ваты и бергаментной бумаги. У меня вон...

— Я взяла.

— А?

— Взяла, говорю! Бергамент-то.

— Вот. Ты вон глянь, что у меня с горлом-то делается... Нет, ты глянь! А-о!.. О-о! — Васька растопырил перед Нюрой свой рот. — Меня же ангина, сволочь, живьем ест! У меня же **гланды в пять раз увеличены**... Ты глянь!

— Да пошел ты к дьяволу со своими гландами! — рассердилась Нюра. — Водку пить — у вас гланды не болят.

— Так я потому и пью-то! Вынужден! Если бы не гланды, я бы ее, заразу, на дух не принял.

— Не, Иван, ты как приедешь, ты перво-наперво... Слышь? Ты как приедешь, ты... Слышь! Ваня, слушай сюда!.. Ты как приедешь...

— Ты дай сперва приехать, елки зеленые! — все злился Ванька. А злился он потому, что говорили все сразу и никому до его забот не было дела, а так — лишь бы поговорить. — Приедешь с вами.

— А вот приехал тоже один мужик в город и думает: где бы тут подцепить?..

— Чего подцепить?

— Не чего, а кого, это же одушевленный предмет.

— Кто?

— Ну, кто?.. Что, не понимаешь?..

— Не, ну ты говоришь — подцепить. Кого подцепить?

— Кралю каку-нибудь, кого.

— А-а. Ну, так.

— Ну слушай... — Двое говоривших склонились лбами над столом. Тот, который хотел рассказать историю мужика в городе, был очень серьезен и даже намеревался взять соседа за грудки и подтянуть его ближе к себе, но сосед отпихивал руки.

— Ты слушай!

— Я слушаю, чего ты руки-то тянешь?

— Я не тяну. Слушай!

— Ну?

— Приехал и думает: где б тут подцепить?

— Да сколько же он думать-то будет? Все думает и думает... Чего ты руки-то тянешь?

В другом конце стола подняли тему — как надо лечить язву желудка.

— Я и разговорись с им в автобусе-то, — рассказывал худой мужичок с золотыми зубами. Обстоятельно рассказывал, длинно. Со вкусом. — Да. Он меня спрашивает: чо, мол, такой черный-то? Не хвораешь? Да и хворать, мол, не хвораю, но и сильно здоровым тоже не назовешь, это я-то сму. Язва двенадцатиперстной, говорю. Он говорит: я тебя научу как лечить. За месяц как рукой снимет.

— Как же?

— Возьми, говорит, тройного одеколону — флаконов пять сразу, слей в четверть. Потом, говорит, наруби мелко-мелко — алая — и напей...

— А почему одеколон, а не водку?..

— Обычно же на спирту настаивают.

— А черт его знает — обязательно, говорит, тройной одеколон.

— Ну и по сколько принимать?

— А вон и Лев Казимирыч идет! — увидел кто-то. — Э-эй, Лев Казимирыч!..

По дороге с палочкой медленно и культурно шагала седой старичок, Лев Казимирыч.

Застучали в окно, позвали в несколько голосов.

— Лев Казимирыч!..

Лев Казимирыч поднял умную голову в шляпе, посмотрел на окна и свернул к воротчикам. Шагу не прибавил.

И сразу все за столом заговорили об одном — какой умный этот Лев Казимирыч, сколько он, собака, знает всякой всячины, выращивает даже яблоки и выписывает книги.

— Это, иду лопись мимо его ограды, он мне шумит из-за штафетника: зайдя! Зашел. Он держит в одной руке журнал какой-то, а в другой — яблоко. Вот, говорит, — теория, а вот — практика. Покушай. Ну, я куснул яблоко...

— А как он рой Егору Козлову посадил! Ведра, тазы, миски хватайте, кричит, что попало — стучите! Гром нужен! Я тогда в суматохе Нюрашке Козловой крынок штук пять расколол — они сушились на плетне, я и пошел колышком по им — гром делать...

Засмеялись.

— Нюрашка-то по голове тебе гром не сделала?

— Рой сажал! — тут не до крынок.

— Ой, и башка же у этого Казимирыча!

— А мы как-то...

Вошел Лев Казимирыч... Снял шляпу, слегка — с достоинством — поклонился честной компании.

— Дом миру сему.

— С нами, Казимирыч!

— Дайте стул-то!.. — засуетились.

— По поводу чего сбор? — спросил Лев Казимирыч, присаживаясь на стул к столу.

— Да вот Ивана провожаем. На море едет...

Лев Казимирыч слегка удивился.

— На море?

— Отдыхать. В санаторий. Да вот, Казимирыч, помоги советом: хочет детишек взять, Иван-то, а мы — против, — обратилась к умному Казимирычу Акулина Ивановна, теща Ивана. — У меня сердце загодя мрет — шибко уж маленькие дети-то! А он их потащит. На кой же черт?

— Зачем? — спросил Казимирыч Ивана.

— Чего “зачем”? — не понял тот.

— Детей-то?

— Позагорать... Море посмотреть.

— Ты в своем уме?

За столом замерли. Все смотрели на Казимирыча.

— А что? — спросил Иван.

— Ты хочешь оставить там детей?

— То есть?

— То есть у них там сразу откроется дизентерия... Если еще не по дороге. Папа... ничего умнее не придумал?

— Да?

— Да, — спокойно сказал Казимирыч.

Всем сразу стало как-то легко. Даже весело.

— Вот, Ванька!.. А ведь говорили ему! Говорили! Нет, уперся, дубина!.. Спасибо, Лев Казимирыч!

— Не за что.

— Выпьете, Лев Казимирыч? Махонькую...

— Нет, спасибо. Нельзя.

— Махонькую!

— Нельзя. Спасибо.

— Лев Казимирыч! — полез к старичку с дальнего конца стола мужичок с золотыми зубами. — А вот скажите мне на милость: если намешать алой с тройным одеколоном...

— Да не лезь ты со своим тройным одеколоном! Если уж хочешь знать, то я тебе скажу: “Красный мак” лучше. Лев Казимирыч, у меня к вам другой вопрос: вот, допустим, у вас засорился жиклер...

— Так, — сказал Лев Казимирыч, склонив набочок головки.

— Засорился. Прекратилась подача топлива в цилиндры. Ну?

— А мотор работает!

— Мотор не работает.

— Работает!

— Значит, жиклер не засорился.

— Нет, засорился: идет натуральная стрельба.

— Значит, засорился, но не совсем. Логика.

— Споем, Лев Казимирыч?!

В дальнем конце стола, где мужичок с золотыми зубами, услышали “спосем” и запели:

*“А сброшу кольца, сброшу серьги.
В шумный город жить пойду...” —*

запела здоровенная, курносая девица и скосила... опасный, как ей, должно быть, теперь казалось, глаз на молодого соседа.

*“Там назову себя цыганкой,
Себя цыганкой назову.
Раз я сидела и мечтала
Да у открытого окна;
А чернобровая, в лохмотьях,
Ко мне цыганка подошла...”.*

Опасный глаз не встревожил молодого соседа. Он о чем-то задумался... Потом потянулся к мужику, у которого жиклер засорился, а мотор работает.

— А дело в том,— сказал он,— что это не жиклер засорился! Понял?!

— А что же?

— Поршни подработались. Кольца. Ты давно их смотрел?

— Я их никогда не смотрел.

— Смени кольца!

*“А горят свечи восковые;
Гроб черным бархатом обшит.
А в том гробу лежит девчонка —
Да и она крепко, крепко спит”.*

Прислушались было к песне, но... петь вместе не умели, а чего же так сидеть слушать? — не на концерт же пришли.

*“А на коленях перед гробом
Стоит изменник молодой...”.*

— Зина, а Зин,— едва остановили крупную девушку,— давай каку-нибудь, каку все знают. Давай, голубушка, а то уж ты шибко страшно как-то — гроб...

— Эх-х!..— Сосед Льва Казимирыча, рослый мужик, серьезный и мрачноватый, положил на стол ладонь-лопату;

Лев Казимирыч вздрогнул.— Лев Казимирыч, давай что-нибудь революционное! А?

— Спойте хорошую русскую песню,— посоветовал Лев Казимирыч.— “Рябинушку”, что ли.

И запели “Рябинушку”. И славно вышло... Песня даже вышагнула из дома и не испортила задумчивый, хороший вечер — поплыла в улицу, достигла людского слуха, ее не обругали, песню.

— У Ваньки, что ли?..

— Ну. Провожают. Поют.

— Поют. Хорошо поют.

— На курорт, что ли, едет?

— На курорт. Деньги девать некуда дураку.

— Ваня, он и есть Ваня: медом не корми, дай вылупиться.

Нюрка-то едет же?

— Берет. Хочет и детей взять.

— О-о!.. Знай наших!

— Ты поросят-то не ходила глядеть к Ивлевым?

— Нет. Я нонче не буду брать... Одну покормлю до ноября — и хватит. Ну их к черту.

— Почему же, интересно, Ивлевы-то отдают?

— Да почему?.. Двадцать пять, известно. Месячные?

— Месячные.

— Двадцать пять.

— Сходить завтра поглядеть... Я бы боровка взяла одного. Покормила бы уж, черт его бей. Тоскливо без мяса-то, тоскливо.

— Знамо, тоскливо.

— Тоскливо.

Утром Ивана с Нюрой провожали до автобуса. На тракт. Шли серединой улицы: Иван с Нюрой — в центре, по бокам — тетки, дяди. Иван при шляпе, в шуршащем плаще, торжественный и помятый после вчерашних проводов. Нюрка в цветастой шали, в черной юбке, в атласной бордовой кофте — нарядная, как в праздник.

Шел также молодой племянник Ивана с гитарой и громко играл что-то неадаптное, смакуя вколачивая по струнам.

Встречные останавливались, провожали глазами группу и шли дальше по своим делам. Может, кому и доведется когда-нибудь уезжать из села — так же вот пойдет с родней по улице, так же будут все обращать внимание.

Пришли на автобусную станцию... Иван с двоюродными братьями отошли в чайную. Жена Нюра и старшие в родне промолчали: положено. На дорожку.

Скоро Иван и братья вышли из чайной — красные, покашливали. Закуривали.

— Дай твоих, у меня мятые какие-то...

— Спал, что ль, на них?

— Сел где-то...

— Ваньк, дорогой-то не пей шибко.

— Да ну, что я?..

— Ты пивко лучше. Захотел выпить, возьми пару бутылок пива — не задуреешь, все будет нормально.

— Да ну, что я?..

Братья — ребята все крепкие, кулакастые — вместе кому хошь свернут шею. А города опасались. Иван слегка волновался.

— Не духарись там особо...

— Да ну, что я?..

Подожел автобус.

Родные наскоро перецеловались...

— Иван, гляди там!..

— Мама, ребятишек-то, это — смотри тут за ими. На реку бы не ходили...

— Да ехайте, ехайте — погляжу тут.

— А то у меня душа болит...

— Ехайте! Раз уж тронулись — ехайте. Чего бы, дуракам, здесь-то не отдохнуть? Ехайте уж...

— Нюра, Нюр,— подсказывали под руку,— ты деньги-то под юбку, под юбку, ни один дьявол не догадается... Я сроду под юбкой вожу... Целеньки будут.

— Мам, ребятишек-то гляди... На реку бы, на реку — гляди!

— Пишите! Иван, пиши!

— Все будет — печки-лавочки! — кричал уже из окна Иван.

— Мама, ребятишек... ради Христа!..

Поехали. Автобус двинулся. Поехали наши — не робейте, держитесь! Привыкайте.

Иван маленько в автобусе принахмурился; все глядел в окно, пока проезжали деревню, знакомые с детства места... Поскотину врезали, лесок...

— Первый раз? — поинтересовался сосед Ивана, пожилой добрый человек.

Иван отвернулся от окна и зачем-то бодро соврал:

— Да ну, что вы!..— И посмотрел на Ньюру, и опять принахмурился, и отвернулся к окну. Посидел маленько, повернулся к соседу.— Куда — первый раз?

— В далекий путь-то.

— А вы почему догадались?

— Ну... видно: всей родней провожали.

— Нет, я в городе-то бывал, а так далеко не бывал — первый раз.

— А куда?

— К Черному морю.

— Хорошее дело.

— В санаторий.

— Хорошее дело.

Билеты продавали снаружи вокзала, и была большая очередь. Иван устроил Ньюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь.

Стал за каким-то человеком в шляпе — шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще, в городе он стал какой-то суетливый. Волновался, что ли.

— За билетом? — спросил он человечка в шляпе.

Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана...

— Нет, за колбасой.

Иван не обиделся.

— Далеко?

Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана...

— В Ленинград.

— А я — к югу.

— Хорошо.

— Да решил, знаете... Ну ее, думаю, все к черту — поеду. Билетов-то хватит?

— Должно хватить. А там... бог ее знает. Народу много.

— Да.— Иван понизил голос, приблизил свою шляпу к шляпе человека с газетой.— Куда, к черту, едут? Чего дома-то не сидится?

Человек еще раз глянул на Ивана... И стал опять читать газету.

Иван помолчал, посмотрел вокруг... Посмотрел на длинную очередь... Заглянул через плечо человеку — в газету.

— Ну, что там?

Человек раздраженно качнул головой, сказал резковато:

— В Буэнос-Айресе слона задавили. Поездом.

— Ох, о!..— удивился Иван.

Еще некоторые удивились в очереди, посмотрели на человека с газетой.

— А как же поезд? — спросил Иван.

— Поехал дальше. Слушайте, неужели охота говорить при такой жаре?

Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным — всем повеселей будет. Постоял еще немного, потом молча поманил рукой Нюру... Та подошла.

— Постой маленько,— сказал Иван.— Я покурю.

— Иди к чемодану, там покури.

Иван пошел к чемодану, а Нюра осталась стоять в очереди — терпеливо, с пониманием, что надо стоять, долго надо стоять.

Билетов всем хватило... Даже еще, наверно, остались лишние, так как в купе кроме Ивана с Нюрой был только один пассажир.

Иван вошел в купе несколько шумно, покрикивал на Нюру.

— Вот!.. Здесь — двадцать два, двадцать три. Давай сюда! Здравствуйте!

У столика сидел уверенный человек, чуть даже нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу... Записной командировочный.

— Ну,— сказал командировочный, глядя на Нюру,— будем знакомиться? Николай Николаевич.

— Иван Расторгуев,— сказал Иван.— А это жена моя, Нюра.

— Так, так...— И как-то сразу понял командировочный, что с этой парой можно говорить снисходительно, в упор их разглядывать, Нюру особенно, только что не похлопывать.— Далеко ли?

— К югу.— Иван старался быть вежливым, знающим.

Николай Николаевич засмеялся.

— Вы что, перелетные птицы, что ли? К югу?

Ивана обидел этот смешок, но он не подал виду.

Вошел проводник.

— Постель будете брать?
— Мне не потребуется, — сказал командировочный, — я в Горске схожу. А им вот потребуется, конечно. Они — к югу. — И командировочный опять посмеялся, глядя на Нюру.

— Да, да, — поспешно сказал Иван, — нам, конечно, потребуется. Тащите.

Проводник принес два комплекта — постели.

— Два рубля.

— Каких два рубля? — не понял Иван.

— За две постели.

— Это... — Иван почувствовал некий подвох с этими двумя рублями. — А что, за постели отдельная плата?

Командировочный и проводник переглянулись.

— Отдельная, отдельная. Давайте поскорей, мне некогда.

— Нюся, дай два рубля, пожалуйста, — спокойно сказал Иван.

— Загороди меня, — тихоенько попросила Нюра.

Иван стал так, чтоб загородить жену от мужчин.

— Счас мы свои рублишки достанем из чулочка... И отдадим. — Ивану страсть как неловко было, что деньги — где-то у жены "в чулочке"... И он прямо, вызывающе-прямо посмотрел на ухмыляющихся проводника и командировочного и тоже улыбнулся, но зло улыбнулся. Если бы командировочный посмотрел внимательней на Ивана, он бы перестал улыбаться. Но он смотрел невнимательно — он улыбнулся. — Жена у меня боязливая... возьмут, говорит, да своруют наши рублишки... А кому они нужны, наши рублишки? Верно?

Нюра достала наконец пятерку... Подала кондуктору. Тот сдал трояк сдачи и ушел.

— Первый раз? — весело спросил командировочный.

— Что?

— Едешь-то. Первый раз?

— Так точно! А что?

— Надо доверять людям... Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги спрятали... аж вон куда! — Командировочный опять посмеялся. — Значит, не доверяете мне. Так? Объективно так. Не зная меня, взяли меня под подозрение. А ехать вам далеко — вы так и будете всем не доверять? Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Раз уж поехали... к югу, как ты выражаешься, надо соответственно и вести себя... Или уж сиди дома, не езд. А куда к югу-то? Юг большой...

— На кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт новый открылся... Вот я туда первый раз и смазал лыжи.

Нюра засмеялась. Невольно.

Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра засмеялась.

— А ты что это сразу в бутылку-то полез?

— А вы что это сразу тыкать-то начали? Я вам не кум, не...

— О-о! — Командировочный удивился и засмеялся насильственно. — Да мы, оказывается, с гонором!

— Вот так, дорогой товарищ... Я бы лично эти ваши ухмылочки не строил. Что, вы от этого сильно умный, что ли, стали? Нет же...

— Иван! — вмешалась Нюра.

— Слушайте!.. — посерьезнел командировочный. — Вы все-таки... это, научитесь вести себя как положено — вы же не у себя в деревне. Если вам сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться. Поняли? — Командировочный повысил голос. — Научись сначала ездить. Еще жешу с собой тащит...

— А что тебе моя жена? — злоежще тихо спросил Иван. — Что тебе моя жена?

Нюра знала, что после таких вопросов — так сказанных — Иван дерется.

— Вань!..

— Что тебе моя жена-то?

— То, что надо сначала самому научиться ездить, потом уж жену за собой возить.

— А твое какое дело? Я тебе что, на хвост нечаянно наступил?

— Да вы только не это... не стройте из себя припадочного. Не стройте. Видели мы и таких... И всяких. — У командировочного серьезно побелели глаза. — Не раздувайте ноедри-то, не раздувайте! А то ведь — как сел, так и слезть можешь.

— Это кто же, ты ссадишь?

— Ванька! Да перестань ты, господи-батюшки!.. И вечно с им какие-нибудь истории!

Командировочный весь встрепенулся, осмелел еще пуще.

— Так вот, чтобы историй этих больше не было — мы поможем ему... Ишь ты, понимаешь...

— Ну-ка, помоги.

— Сча-ас. Вот до следующей станции досдем и вызовем милицию. Может, с историями-то придется остановку сделать... суток на пятнадцать. Подумать, как вести себя в дороге. А то...

— Профурсетка в штанах,— отчетливо сказал Иван.— Он еще пугать будет... Сам у меня слезешь. Спрыгнешь?.. И — по шпалам, по шпалам...— Иван встал; Нюра вцепилась в него.

Командировочный вскочил с места. Он сделал это поспешно и сам же усовестился своей поспешности, гордо тряхнул головой.

— Ах так? Ну, погоди...— И он пошел из купе, но в дверях еще оглянулся.— Счас ты у меня уедешь.— И вышел.

Нюра перепугалась.

— Оять!.. На кой черт петашил тогда, на самом-то деле, если с характером своим поганим совладать не можешь?..

— Не гнуси. Я, что ли, начал?

— Ссают, правда, на станции — кукуй там...

— Счас — ссадили.

— Он, может, начальник какой, откуда ты знаешь?

— Он дурак. Чего он начал ухмылочки строить?

— А ты что, с лица спал от этих ухмылочек? Строй он их!.. Как хорошо поехали — нет, надо свой характер показать!..

— Не ори. И не пужайся,— наоборот, держи теперь нос выше, а то, правда, не ссадили бы.

— Как хорошо поехали!..— горько горевала Нюра.

Дверь в купе отодвинулась.

Стояли два кондуктора, а за ними — командировочный.

— Вы что тут? — спросил кондуктор, который выдавал постели.

— Что? — откликнулся Иван.— Ничего.

— Чего шумите-то?

— Кто шумит? Никто не шумит.

— А кто меня из вагона выбросить хотел? — спросил командировочный.

— Вы что-то перепутали,— спокойно сказал Иван.— Это вы меня ссадить хотите. А мне неохота — слезать-то... Я затосковал.

Кондукторы увидели, что пассажир — не пьян, обратились к командировочному:

— Перейдите в другое купе, места есть. Во втором есть два места.

Командировочный взял свой портфель и, смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом, сказал:

— В Горске мы еще увидимся.

— Давайте. По кружке пива выпьем...

— Ты это... не очень! — прикрикнул на Ивана кондуктор. — А то выпьешь у меня.

И они ушли.

— Вот так! — сказал Иван. Встал, засунул руки в карманы и прошелся по свободному купе. — А то будут тут мне... печки-лавочки строить, понимаешь.

— Сиди уж!.. Герой! У самого небось душа в пятки ушла.

— У кого? У меня? Мне только на станции сидеть неохота, а то бы ему... сказал несколько слов. Зато вон как свободно стало!.. Хорошо! — Иван полез в карман — закуривать.

— Иди в коридор курить-то. Здесь нельзя, наверно.

Иван вышел в коридор.

В коридоре стоял молодой мужчина... Смуглый, нарядно одетый, улыбчивый. Морда — кирпича пресит.

Иван похлопал по карманам — в одном брякнули спички... Но все равно смуглый, вежливо улыбнувшись, подставил свою папиросу. Иван прикурил.

— Маленькое недоразумение? — спросил смуглый, кивнув в сторону служебного купе.

— Да один товарищ... начал чего-то — ни с того ни с сего...

— Далеко?

— Еду-то! К югу. Надо, знаете, отдохнуть малость. На курорт. — Иван теперь решил быть вежливым со всеми подряд.

— Один? — все расспрашивал смуглый, скорый.

— Нет, с женой.

Смуглый вдруг протянул руку — знакомиться.

— Виктор.

— Иван.

— Кроме вас в купе есть кто-нибудь?

— Нет. Этот-то ушел...

— Я тогда перейду к вам... — Виктор вошел в соседнее купе, вынес большой желтый чемодан. — А то у меня там одни женщины... Пойдем в твоё.

— Пошли.

Вошли в купе. Виктор приветливо поздоровался и засунул чемодан под сиденье.

— Ну, вот... — сказал он облегченно. И улыбнулся Нюре. — Ну, как там... в колхозе-то?

— Да ведь оно — как? — пустился в рассуждения Иван. — С одной стороны, конечно, хорошо — материально нас поддерживали, с другой стороны... А вы кто будете по специальности?

— Я?

— Ну...

— Конструктор.

— Вот — городской человек. Вот вам говорят: давайте сравняем город с деревней. Давайте! Значит, для вас в городе главное что, деньги? Ну, значит, давайте и для деревни так же сделаем — деньги будут главными. А — хрен!.. Так нельзя.

— Иван, — сказал Нюра.

— Ну?

Нюра притворно посмеялась.

— Ты с какими-то разговорами... Человек, может, устал, а ты..

— Нет, нет, я не устал, — сказал Виктор. — Ну, так — деньги?

— Деньги. Я, например, тракторист, она — доярка. Мы в добрый месяц зашибаем где-то — две, две с лишним сотни.

— Да? — удивился конструктор. — Я думал меньше.

— Да что вы! Иной раз до трех выходит!..

— Вань...

— Чего тебе?!

— Ну, ну? — любопытствовал дальше конструктор.

— Теперь, — продолжал Иван, входя во вкус коренной беседы. — Что получается? Если я не поленюсь, я эти свои сто двадцать рублей завсегда вышибу. Так? Буду вкалывать с утра до ночи... а то и ночи прихвачу... Так?

— Ну.

— Правильно! — Иван всерьез волновался. — Но один маленький вопрос: чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. Вот.

— А в чем вопрос-то? Это ответ.

— Ну, ответ. А вопрос еще хуже: спроси?

— Кого?

— Меня.

— О чем?

— Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. Все?

— Все.

— Хрен!.. Это на заводе — сковал я, допустим, ось, так она ось и нужна — я все сделал...

— Но ось-то — тоже для машины! На одной оси-то не поедешь.

— Правильно! А машину потом соберет другой — и за это тоже ему плати денюжку...

— Но ведь и у вас: ты вспахал, другой посеял...

— Я вспахал — получил, он посеял — получил, а хлеба например, нету. А мы денюжку получили. Я к примеру говорю.

— Это какой-то Гегель получается...

— Да никакой не Гегель!

— Да почему хлеба-то нету? Неурожай, что ли?

— Да меня это не касается, вот штука-то! Не знаю, может, неурожай. Я пахал хорошо. И получил хорошо — на курорт вот поехал... Хватило.

— Вань...

— Не васькай! Я ж за колхоз волнуюсь, а не... чего-нибудь. Мне тоже понять охота.

— Значит, вы живете хорошо,— подвел итог конструктор.

— Хорошо. Вам у меня рашка-то — с похмелья не... это... Она и у те... Да. Хорошо живем!

— А почему вы в город из деревни бежите?

— Это не вопрос, это — семечки. Я же эти сто двадцать рублей везде могу заработать. Заработаю же я их в городе?

— Наверно.

— Заработаю! Силенка есть, и башка на плечах — сумею.

— Сумеешь.

— То в городе я на эти сто двадцать рублей... интересней проживу. В городе у меня все под боком: и магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино... А у себя-то я со своим рубльком еще побегать пойду — где пальтишко девочке купить, где рубаху себе, где пальто демисезонное супруге... За любым малым пустяком — в райцентр. А до райцентра — семьдесят километров. Да еще приедешь, а там тоже нету.

— Мда. А куда сейчас-то? Место подбирать, куда бежать? Иван обиделся.

— Ать,— поймал! Пойма-ал, конструктор...— Посмеялся недобро.— Что, есть на примете хорошее местечко?

— Обиделся! — Конструктор тоже посмеялся — добрее.— Оби-иделся пахарь. Не обижайся, я без всякого умысла. Куда едете-то?

— Я же говорил — к югу.

— А, да. К югу — это хорошо, — похвалил конструктор. — Я сам думаю махнуть скоро... — И конструктор пропел шутливо: — “Там море Черное, песок и пляж, там жизнь привольная чарует нас!..” Да?

Нюра засмеялась. Она была очень смешливая женщина. И смеялась как-то очень доверчиво и мило — хотелось ее смешить.

— Так-так, — сказал довольный конструктор. И поднялся. И достал из-под сиденья чемодан. — Ну, что нам тут положили? Собираешься вечно второпях... вечно торопишься... Ну, конечно, — ключи забыл дома. На пианино. Вечная история! Ножик есть, Ваня?

— Есть.

— Да зачем же ломать такой добрый чемодан! — встряла Нюра.

— Ничего. На наш век чемоданов хватит. Верно, Иван? — конструктор ловко поддев концом ножа блестящие замочки, и они один за другим отскочили.

— Вы не по тракторам конструктор?

— Нет. По железной дороге.

— А то бы я вам задал пару вопросов...

— Нет, лучше не надо, Иван. — Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя. — Я устал от вопросов... Ага — коньячишко!.. КВК. Прекрасно. А тут что?.. Кюпюры. О, мне эти интеллигенты: кто же деньги кладет в чемодан! — Конструктор переложил деньги из чемодана в карман. — Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого... Мда. Ну? — Конструктор весело посмотрел на Ивана, на Нюру... И какая-то мысль влетела ему в лоб. Он достал из чемодана очень нарядную кофточку.

— Ну-ка, Маруся, встань.

— Нюра. Маруся у нас дома осталась.

— Ну-ка, Нюра, примерь...

— Зачем?

— Примерь, я посмотрю.

— Ой, да я сроду и не нашивала таких...

— Да примерь — просют! — воскликнул Иван.

— Ну, отвернись.

Мужчины отвернулись. И, отвернувшись, поговорили малость.

— Какое отношение к коньяку? — спросил конструктор негромко.

— У меня? Хорошее.

- Рюмочку — не возражаешь? КВК.
- Что это, коньяк?
- Да. Генеральский.
- Не возражаю.
- Ну, глядите! — сказала Нюра. Кофточка так ее скрасила, так преобразила!.. Нюра покраснела под взглядами мужчин. Засмеялась милым своим смехом.
- Идет вам.
- Это кому же вы такое богатство везете? — спросила Нюра.
- Носите на здоровье, — просто сказал конструктор.
- Да что вы! — испугалась Нюра.
- Ничего, носите. Это так вам к лицу!.. — Смугловатый джентльмен улыбнулся. — У нас хватит. Ах, как она вам идет! Шик-блеск — тру-ля-ля, как мы говорим, когда заканчиваем какую-нибудь конструкцию.
- У нас... это... — растерялся и Иван, — деньжонок в обрез... На дорогу только. А она ж дорогая, наверное...
- Конструктор укоризненно покачал головой.
- Не обижай, Иван. Деньги — это бяка. Скажи лучше, чем мы закусим коньячишко?
- У нас огурцы малосольные есть...
- Нет, огурцы здесь не... Ага! — Конструктор нашел в чемодане шоколад. — Ах, молодцы! Все продумали.
- Заботливая у вас жена, — сказала Нюра, желая сказать что-нибудь очень хорошее доброму человеку.
- Ничего... Немножко рассеянная.
- Работа, видно, такая. У нас на квартире жил один ученый — такой умница, такой башковитый, добрый тоже такой, а ширинку вечно забывал застегнуть. — Нюра засмеялась. Конструктор тоже засмеялся. И Иван посмеялся. Все посмеялись, так всем что-то хорошо стало.
- Держи, Иван.
- Нюра дернула было Ивана за пиджак — чтоб он не увлекался коньяком-то, но Иван только ногой дрыгнул и досадливо, с укором поморщился.
- Вот так вот живешь, работаешь... а радости — нет. Радость — на нуле. — Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. — Настоящей творческой работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий... устало. Все время в напряжении, все время нервы как струны натянуты, и я боюсь, что когда-нибудь они лопнут.

— Железная дорога! — понимающе сказал Иван. — Тут так-то просто проедешь, н то голова кругом, а вам все время думать надо. Это же не печки-лавочки, понимаешь.

— Ну?

— Поехали...

Онихватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету с золотым обрезаом — тоже из чемодана, вытянул ноги, чуть прикрыл глаза.

— Покой нам только снится, — сказал он негромко.

— Но я вам так скажу, Виктор...

— Александрович. Друзья меня называют — Виктор.

— Я вам так скажу, Биктор, — пустился в подхалимаж Иван, — без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали...

— Куда вы без нас!

— Вот я — тракторист. Я поучился три месяца — и готово дело: управляю. А ведь его же придумать надо было, сконструировать!.. Сколько там всяких узлов, систем... — Иван повернулся к Нюре, стал загибать пальцы. — Система питания, система зажигания, система охлаждения...

— Молодец, хорошо знаешь трактор, — похвалил Виктор. — А вот нам, авиаконструкторам...

— Вы же — по железной дороге.

— Нет, я по железной дороге, но с авиационным уклоном. Мы сейчас разрабатываем систему игрек: железная дорога без мостов.

— Как это?

— Так. Вот идет поезд, на пути — река... А моста нет.

— Ну а как же?

— Очень просто: поезд пла-авненько поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы.

— Где же у него крылья-то будут? — тоже очень заинтересовалась Нюра.

— Никаких крыльев — воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара — и по пару, по пару...

Иван засмеялся.

— Премию большую могут дать за такую механизацию!

— Могут дать, — согласился Виктор, улыбаясь.

— Так что, правда, что ли? — не поняла Нюра.

Мужчины засмеялись вместе.

— Что ты, шуток не понимаешь? — сказал Иван.

Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках.

— Это какая станция? — встрепенулся Виктор.

Иван выглянул в окно.

— Гор... ск. Горск.
— Сколько здесь стоит?
— Не знаю.
— Наливай по рюмочке... И продолжим мирно беседовать.

— Хватит бы вам,— сказала Нюра.— Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит. А то он сейчас по вагону начнет бегать.

— Зачем? — не понял Виктор.

— А он всегда так: как выпьет, так...

— Да брось-ка ты! — обиделся Иван.— С коньяка не забегает! Это тебе не самогон.

— Зачем же он бегать будет? Мы будем спокойно сидеть — беседовать. Вы на съезде колхозников были?

— Нет.

— Но какие вопросы...

В это время дверь в купе отодвинулась: стояли милиционер, а за ним... командировочный.

— Вот, пожалуйста, коньяк сидит дуэт! — брезгливо сказал командировочный.— Он до Новосибирска не доедет. И эта — тоже... куда с таким пылчугой поехала! На курорт!..

— Куда едете? — строго спросил милиционер Ивана.

— К югу. А чего, я не понимаю?.. Вот билеты, вот путевка...

— Тебе не на курорт надо, а в вытрезвитель,— зло говорил командировочный.— Еще жену за собой тащит...

— Минуточку,— остановил его милиционер. Внимательно осмотрел билеты, путевку.— Как же так: не успел отъехать — уже за бутылку?

— Тут недоразумение, товарищи,— спокойно, чуть принахмурившись и негромко заговорил железнодорожный конструктор.— Товарища колхозника угостил коньяком я, и выпили мы — вот, что видите,— совсем немного. До этого он был совершенно трезв, я это утверждаю.

— Вы не заступайтесь за него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас, это хам...

— Я не заступаюсь! — повысил голос конструктор.— Я констатирую (он выговорил — констатирую) факт: товарищ был совершенно трезв и угостил его — я. А вас... вам стыдно, товарищ, бегать по милициям и вносить дезинформацию. Кляузами заниматься.

— Я же и кляузникаю! А это что у вас на столе? Боржоми?

— Это коньяк. КВК. У нас в стране нет сухого закона. Ясно? И не бегайте и не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут...

— А кто вы такой, собственно? — ошетинился командировочный.

— Это же самое я хочу спросить у вас. Где вы работаете, кстати? — Конструктор вынул из кармана записную книжку, приготовился записать.

— А вы куда едете? — спросил милиционер.

— В Новосибирский академгородок, — небрежно бросил конструктор. — Так где вы работаете, товарищ?

— Не ваше дело.

— Хорошо. — Конструктор спрятал записную книжку. — Я постараюсь это узнать. Через Николая Сергеевича. — Конструктор посмотрел выразительно на милиционера. — Это не составит труда. И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников. Почему вы им устраиваете проверку документов... и прочее.

— Вы же не слышали, как он тут обзывался...

— Это ваше мужское дело! — Конструктор ни секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его речь еще с каким-нибудь вопросом, например. — Вышли в тамбур и выяснили отношения. Нет, вы приводите милиционера, отвлекаете его тем самым от прямых обязанностей, да еще и внушаете работникам сельского хозяйства недоверие к форме уважаемых сотрудников общественного порядка...

— Спокойней, товарищи, спокойней! — влез наконец милиционер со словами. — Наше дело — предупредить, чтобы товарищ... не забывался, что он в дороге, тем более что он не один. И вам, так же самое, — совет: выпиваете, а без закуски. А еще молоды, опыта в этом деле мало — развезет, и сами не заметите как. Вон же, есть вагон-ресторан, взяли первое, второе, ну и выпили. Но тогда есть уверенность, что не развезет. А так — это же риск. Езжайте, никто вам ничего не собирается делать, никто вас не запугивает. Но опять же мой совет, как старшего товарища: будьте с этим делом бдительны. Коньяк — его ведь только пить приятно, но он свое берет. До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья.

Дверь в купе задвинулась. Некоторое время все молчали. Конструктор откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.

— Валерьянка есть? — спросил он. Он и правда побледнел.

Нюра испугалась.

— Я схожу спрошу у этого... какой постели выдавал... У них есть, наверно.

— Нет,— сказал конструктор.— Не надо. Сейчас мы вот этих капель накапаем.— Он налил себе полстакана коньяка и залпом выпил.— Вот так. Пройдет.

Поезд тронулся.

— Поехали? Ну, вот... а ты, дуручка, боялась...— Конструктора что-то кинуло в болтливость, с коньяка, что ли.

— Ты, Иван, спрашивал насчет системы игрек: только что, на твоих глазах, сработала система игрек. Мы же были в воздухе. Ты не заметил?

— Как "в воздухе"? — спросила Нюра.— Мы стояли

— Мы были в воздухе. Пла-авненько поднялись и опусти-ились.— Конструктор показал рукой, как пла-авненько поднялись и опусти-ились.

— Не знаю, кто поднялся, кто опустился, но сердце у меня опустилось в пятки, это точно,— признался Иван.

Конструктор почему-то обрадовался. Даже засмеялся.

— Испугался?

— Испугался! Ссадют, думаю...

— А-а, вот так! И ссадили бы — запросто. Да. Ну хорошо с вами... но мне пора.

— Куда вы?

— Да пойду поищу тут товарища одного...— Виктор затянул чемодан ремнями.— Товарищ один должен ехать... тоже конструктор.— Виктор взял чемодан в левую руку, правой еще пригубил на дорожку коньячку и раскланялся.

— Вы коньяк-то пробочкой заткните да в карман,— посоветовал Иван.— Товарища-то стренете,— будет что выпить.

— Мы найдем. До свидания.

— Виктор Александрыч,— заговорила Нюра,— за кофточку-то... я уж и не знаю как благодарить. Дай бог здоровья жене вашей, деткам, если есть...

— Должны быть по идее.

— Не заругали бы вас дома-то. Скажут: такое добро, а кому-то отдал.

Конструктор прислушался к шуму в коридоре.

— Ничего... Носите на здоровье, Нюся. В Крыму, даст бог, увидимся.

Конструктор отодвинул дверь, выглянул... И скоро ушел.

— Гляди-ка, какие люди бывают! — сказала Нюра.— Даже не верится. Ведь такая кофта... рублей сорок, а то и все

пятьдесят. Вон Грушке Богатковой брат прислал — сорок пять рублей, пишет, а она победней этой-то.

— Эта? — Иван прикинул на глаз. — А шестьдесят не хочешь? Сорок... Это же заграничная, вон, гляди, клеймо-то. Это тебе не печки-лавочки.

— Все-таки, никак я его не пойму: за что?

— А мы и не поймем. Мы ведь как рассуждаем: сами возимся, как жуки в навозе, и думаем, что и все так. А есть — люди! Орлы! Я бы сам такой же был, если бы не твоя жадность. Дай-ка мне сюда деньги, а то каждый раз лезешь туда... со стыда сгораю.

— Не сгоришь. Они там надежней будут. Дай тебе бог здоровья, добрый человек! — Нюра все не могла налюбоваться на кофту, все смотрелась в зеркало. — Прямо сият, сият!..

Вдруг зеркало отъехало в сторону — в двери стояли два милиционера и проводники. И еще один — в гражданском.

— Где он? — спросил милиционер, тот самый, который был здесь, с командировочным.

— Кто? — не понял Иван.

— С вами ехал... Он ушел?

— Ушел.

— Когда? Давно?

— С полчаса. Может, минут двадцать... Это вы про конструктора?

— "Конструктора"...

— Он все с собой забрал? Что у него было?

— Чемодан... Желтый такой.

— И все?

— Все... Вроде все.

Нюра так и села. В кофте-то. И с ужасом смотрела на милиционеров.

— Но он не в Горске сошел? Позже?

— Позже. Ему так-то до Новосибирска ехать. Он пошел товарища, говорит, поискать...

— Наверно, на Верхотурском подъеме прыгнул, — стали гадать милиционеры и человек в гражданском. — Не иначе.

— Черт его... мог и на ~~шестьдесят~~ седьмом прыгнуть. Он куда пошел: вперед или в хвост поезда?

— Да вышел из купе, и все. Дальше мы не видели. А в чем дело?

Милиционеры и в гражданском ушли. Но сказали:

— Не уходите никуда из купе.

— Вот, брат, какое дело... — Один проводник, очень расстроенный, присел на краешек дивана. — Зачем посадил

без билета? Ну, есть места — и посадил. Ну, нет: теперь виноватых надо найти! Как же! Он вот и с вами, вижу, коньяк выпивал — выходит, и вы виноватые?

— А что случилось-то?

— Сами поймать не могут, давай на других сваливать!

Проводник очень, очень расстроился.

— Ну, посадил... Они просятся всегда, а места есть, все равно до Новосибирска не займут. Ну, ехай — надо же ехать, ехай. Нет, теперь виноватых будут искать. Эх-хе-хе!..— Проводник встал и ушел.

Нюра, как села в своей заграничной кофте, так сидела, не могла встать. Смотрела на мужа...

— Вань... да что же это?

— Вор, вот что это такое. Воруга несусветный...— Но Иван не растерялся, а обрел даже какую-то деловитость.— Снимай кофту! — велел он.— Быстро! Давай ее сюда. Одевай свою!..

Началась операция по уничтожению страшной кофты. Иван затолкал ее себе под рубашу и только хотел выйти в туалет, как дверь отъехала и заглянул проводник.

— Бутылку с коньяком не велили трогать. Вообще, ничего не трогать — отпечатки пальцев будут снимать. И сами сидите.

— Сидим.

Проводник удалился... Иван подождал немного, выглянул в коридор... И быстро-быстро по коридору — в туалет.

В туалете, к счастью, никого не было. Иван затолкал кофту в унитаз, долго искал, где спустить воду, нашел, спустил... Кофта застряла в трубе: раковина наполнилась водой. Иван заметался по малому пространству сортира — нечем было протолкнуть кофту. В дверь толкнулись снаружи раз, другой... Пошевелили ручкой.

— Счас! — громко откликнулся Иван.— У меня понос, товарищи!

— Иди, там следователь пришел,— сказал проводник.

— Счас приду.

Проводник все не уходил... Стоял за дверью.

— Иди, он зовет,— еще сказал он.

— Да счас иду! — заорал Иван со злостью.

— Давай,— сказал проводник. И ушел.

С отчаяния Иван еще разок нажал на педаль внизу... Вода полилась через край, на пол...

В купе следователь расспрашивал пока Ньюру.

— Он что, знакомым вашего мужа представился?

— Да нет, он вышел покурить, муж-то, а, смотрю, вместе идут...

— Значит, просто попутчик? — Следователь (это тот, что был в гражданском, в красивых очках) внимательно посмотрел на Ньюру, чем окончательно доконал ее. — И что он сказал, когда вошел?

— Ничего. Здравствуйте, мол. Обходительный.

Проводник, который вошел и присел на диван, угоднически посмеялся.

— “Обходительный”...

— Ну а где же... товарищ-то отсюда? — повернулся следователь к проводнику.

— Я сказал ему! — поспешно воскликнул тот. — У него... Разрешите? — Проводник наклонился к уху следователя, что-то сказал.

Следователь поморщился.

— Со страха, что ли?

Виноватый проводник опять противненько посмеялся и сказал:

— Это уж точно.

— Понос, что ли? — спросила Ньюра. — У него бывает.

В дверь купе постучали.

— Да! — сказал следователь.

Вошел Иван... Правый рукав его нового пиджака весь был мокрехонек до плеча.

— Здравствуйте, гражданин следователь.

Следователь, забыв свое важное положение, громко засмеялся. И проводник — не понимая, в чем дело, — тоже неуверенно подхихикнул. И Иван тоже изготавился изобразить улыбку, только не понимал, что это за смешинка попала в рот серьезному следователю.

— Почему же я — гражданин? — спросил следователь, отсмеявшись.

— А как?

— Обыкновенно — товарищ.

Проводник понял наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в восторге от своей догадливости. Даже вскочил.

— Рано!.. Рано гражданином-то. Это потом, чудак!..

Поезд в это время подошел к какой-то большой станции. Кого-то встречали, провожали, кто-то уезжал грустный, а кто-то улыбался и похохатывал... Жизнь, нормальная, крикливая, шла своим чередом. Шла и ехала на колесах.

Вот встретили какого-то флотского, старшину второй статьи. Флотский еще на подножке изобразил притворный ужас от того, что его столь много понашло, понаехало встречать... Актеры эти флотские! Ему кричали, шли рядом с вагоном, его звали скорей сойти, а он, счастливчик, все изображал ужас и что он теперь будет делать!.. Потом поезд совсем остановился, флотский упал в руки друзей...

А вот слегка поношенный человек идет через перронную сутолоку, держит в руках каракулевую папаху, какие носят полковники, и негромко, однообразно повторяет:

— А вот папаха. А вот папаха. Кому папаху?

— А ну, дай глянуть,— остановился один удачливый спекулянт.— Что просишь?

Поезд опять поехал.

Иван снял пиджак, надел другую рубаху... Сидели с Нюрой, молчали. Очень уж неожиданно и тяжело свалился на них этот “железнодорожный конструктор”.

— Да-а,— только и сказал Иван, глядя в окно.— Дела...

— Такой молодой — и надо же! — вздохнула Нюра.— И что заставляет?

Тут дверь в купе отодвинулась, вошел пожилой опрятный человек с усиками, с веселыми, нестариковскими живыми, даже какими-то озорными глазами. Вошел он и опускает на пол... большой желтый чемодан с ремнями.

— Здравствуйте! — приветливо сказал пожилой, веселый.— По-моему, это здесь... Двадцать четыре — здесь. Будем соседями?

Иван, увидев желтый чемодан с ремнями, “сделал уши топориком”. Нюра тоже смотрела на нового пассажира подозрительно и со страхом.

— Далеко ехать? — спросил словоохотливый сосед.

— Далеко,— сказал Иван.

— И мне далеко...— Сосед, однако, был удивлен столь явным недружелюбием соседей.— Я не помешал вам?

— Нет.

Некоторое время сидели молча.

— Вы не конструктор будете? — спросил Иван.

— Нет... А почему вы решили, что конструктор?

— Да так...— Иван насмешливо, с укоризной посмотрел на пожилого соседа.— А кто вы будете, интересно бы узнать?

— Я — профессор. Но... самый, наверно, несерьезный странный, профессор: ездил в ваши края собирать частушки, сказочки...

Иван с Нюрой переглянулись.

— Собрали?

— И прези~~р~~ядное количество! — профессор хлопнул чемодан по пузу. — Богат народ! Ах, богат! Веками хранит свое богатство, а отдает даром — нате! Здесь, в этом чемодане — пуд золота. Могу показать — хотите? — Профессор полез было в чемодан.

— Нам ничего не надо! — вскричала Нюра.

А Иван даже предостерегающе привстал... И смотрел на профессора недобро, очень серьезно.

Профессор вовсе был удивлен.

— Мгм, — сказал он. И замолчал.

Все долго молчали.

— Пойду, пожалуй, чайку спрошу, — сказал профессор. И встал. — Для вас не попросить?

— Нет, — сказал Иван.

— Нам не надо, — сказала Нюра.

Профессор вышел.

— Проверь деньги, — заговорил Иван, едва дверь за профессором закрылась. — А то тут снова пошли печки-лавочки.

Нюра пошупала на боку деньги.

— Здесь.

— Переверни вниз и сиди на них. И не вставай зря...

— Да уж отсюда-то... как поди?

— Они с руки часы снимают, не то что... оттуда. С такого объема — ты и не почувствуешь.

— Да ведь все такие обходительные!

— Чай принесет, тоже не бери: ~~может~~ подсыпать снотворного... По-моему, они из одной шайки. — Иван показал на чемодан профессора, так поразительно похожий на чемодан "железнодорожного конструктора".

— Может, сказать ~~кому-нибудь~~?

— Да? А потом — ~~воз~~ под ребро... Сиди и помалкивай: мы — деревенские, ~~люди~~ темные, с нас взятки гладки. Спать будем по очереди.

Вошел профессор.

— Ну, вот и часек! Да ~~такой~~, знаете, славный!.. Напрасно отказались.

— Мы уже... ~~почесничали~~, — сказал Иван.

Профессор ~~внимательно~~ ~~глянул~~ на Ивана.

Нюра хранила молчание.

— Сельские? — любопытствовал профессор.

— Ага, сельские. Из деревни.

— Ну и как там теперь, в деревне-то? По-моему, я вот поехал, веселей стало? А? Люди как-то веселей смотрят...

— Что вы!.. Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица — как начнет хохотать, ну, спасу нет. Пожарными машинами отливают.

— О как! Массовое веселье... Чего они?

— А вот — весело! Да я по себе погонюсь: бывает, встанешь утром, еще ничем-ничего, еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Крепись-крепись, ну, никак. Смешно! Иной раз вот так вот полдня прохочешься...

— А знаете, что надо делать, чтоб остановиться? Со мной бывало такое — тоже целыми днями хохотал. Меня один умный человек научил, как избавиться...

— Ну-ка? А то прямо беда!

— Беда, беда. Что вы!.. Я знаю. То ли работать, то ли смеяться...

— Вот, вот.

— Надо встать на одну ногу, взять правой рукой себя за левое ухо, за мочку, прыгать и... Вас как зовут?

— Иван.

— Прыгать и приговаривать:

*“Ваня, Ваня, попляши,
Больно ножки хороши;
Больно ножки хороши —
Ваня, Ваня, попляши!”*

Нюра невольно засмеялась.

А Ивана почему-то эта песенка оскорбила.

— Помогает? — зло спросил он.

— Как рукой снимет.

— Вот... ученые-то, все-то они знают! Прямо позавидуешь, ей-богу. Надо запомнить. Как? — “Ваня, Ваня, попляши”?

— Ваня, Ваня, попляши.

— А вдруг да вместо того, чтоб хохотать, — плясать примешься? Тоже ведь — опасно.

— Плясать?

— Но. Попрыгаешь так-то, да и пойдет чесать целый день.

— Хм... Не исключено, не исключено. Ну, что-нибудь и здесь придумается. А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина? — вдруг от души предложил профессор. — А то мы... — Он хотел еще сказать: “А то мы что-то никак не наладим добрые отношения — все что-то с подковыркой говорим”. Но Иван и Нюра в один голос дружно сказали:

— Нет.

— Что так?

— Нет! Большое спасибо.

— Не понимаю...

— Он у меня испьющий, — пояснила Нюра.

— И некурящий, — добавил Иван.

Профессор посмотрел на него.

— Золотой мужик.

— Подарок, — еще сказала Нюра. — На балалайке играет.

— А при чем тут — золотой? — спросил Иван.

— Ну, испьющий, некурящий... Денег, наверно, много?

— Откуда? — воскликнула Нюра. — Мы вот поехали к югу и только-только маскребли на билеты в один конец. С грехом пополам... назанимались...

— А как же оттуда? — удивился профессор.

— Да не знаю как... Как-нибудь.

Профессор смотрел на сельских жителей — он правда не понимал, что происходит.

— Я вот, допустим, тракторист, — стал рассказывать Иван, — она — доярка... Откуда же у нас деньги? От сырости, что ли? Вот вы говорите — выпьем. Я б выпил, приласкал душеньку... Только она, рюмочка-то, кусается нынче. Я вот к вечеру-то наломаюсь хорошо, иду мимо магазина — эх, двести бы граммчиков! А? А в уме прикинешь — рубль с лиху... слишком это, знаете, чувствительно. Так уж придется домой да нормального само... вот! И все, и проходишь мимо магазина. Попьешь молочка дома и ложишься спать. Вот он желудок-то и не подготовлен к вину. Даже к хорошему. А я выпил бы сейчас с вами. С удовольствием...

— Его сразу стошнит.

— Да, сразу...

— Чувствую, — заговорил профессор серьезно, — ломаете дурака, Иван Иванович...

— Иван Федорыч.

— Иван Федорыч... Ломаете дурака, Иван Федорович, а не пойму — зачем?

— Вы одного конструктора знаете? — в лоб спросил Иван.

— Я их много знаю, не одного... А что?

— Да нет, ничего, все ясно. По железной дороге, да?
— Что “по железной дороге”?
— Без мостов. Система игрек?.. Пожилой человек. Не стыдно?

— Вань!.. — взмолилась Нюра.

— Да пошли они к..! — открыто обозлился Иван. — Бессовестные. Люди за копейку-то горб ломают, а эти — стянул чемодан — и радешенек, и богатый, хорошее вино пьют, коньяки... Есть у меня деньги, есть! Не подговаривайся! Только попробуй возьми хоть один рубль — вот, видел? — Иван показал увесистый кулак. — Быка-трехлетка с ног сшибаю.

Профессор понюхал протянутый кулак.

— Да, могилой пахнет. Серьезный кулак. Надежный. И все же тут какое-то недоразумение, Иван. Вы меня за кого-то другого принимаете... Хотите, я приведу проводника, он объяснит вам? А ему я покажу документы. Хотите, вам покажу?..

— Не нужны мне ваши документы. И ходить никуда не надо. И я никуда не пойду — не мое дело. А поживиться здесь не удастся, заранее говорю.

— Нет, я все-таки схожу. А то этак мы всю дорогу и будем подозревать друг друга...

Профессор вышел.

— Вань, — встревожилась Нюра, — не зря мы человека-то обидели?

Иван молчал. Ему тоже сомнение вкралось в душу.

— А, Вань?

— А я откуда знаю? — взорвался Иван. — Иди разбери их... Откуда он, пуд золота-то? — Иван пнул профессорский чемодан. — Может, кокнул кого-нибудь в тайге — вот и...

— Да шибко уж не похожий.

— А тот был похожий?

— Господи, господа, — только и сказала Нюра. — Правда, трудно понять людей.

Вошли профессор с проводником. Проводник ухмыляется.

— Ты чего это тут бдительность развел? — спросил он. — Это товарищ Степанов, профессор, из Москвы... Тебе уж теперь на каждом шагу будут вору казаться. Некрасиво, обидел товарища...

— Насчет обиды — это не надо, — попросил профессор. — Никакой обиды.

— Ну, как же?

— Никакой обиды! Хорошо, что все объяснилось.

— Давай тут... не очень! — счел нужным еще сказать проводник Ивану. — Какой же он вор! Хоть немного-то разбирайся в людях.

— Ты много разобрался в том конструкторе... которого без билета посадил? — обиделся Иван на нравоучения лакеистого кондуктора. — Бегал тут... икру метал. Еще ухмыляется.

— Ну-ка! — прикрикнул проводник. — Давай-ка приведи себя в порядок! Не очень тут!.. Не дома на печке. Устраивайтесь, товарищ профессор.

— Я устроюсь. Хорошо.

— Если он будет тут чего-нибудь фордыбачить, скажите мне... Мы его живо приструним. Мы ему...

— Да идите вы к дьяволу! — вскричал вдруг профессор. — Чего вы пристали к человеку?!

Проводник опешил. Молчал.

— Извините, пожалуйста! — сказал профессор. — Спасибо. Мы теперь сами разберемся. Идите.

— Ну, давайте, — сказал проводник. — Ничего. — И ушел.

— Фу ты, дьявольщина какая! Нехорошо как...

— Товарищ профессор, вы уж простите нас, ради бога, — сказала Нюра. — Обознались мы...

— Да что вы!.. За что? Я, старый дурак, поперся к проводнику... Надо было самим разобраться.

Иван, опозоренный, молчал, насупив брови.

— Попроси прощения! — строго велела Нюра. — Язык-то не отсохнет.

— Та-а... — Иван сморщился. — В этом, что ли, дело?

— Забудем все недоразумения! — решительно сказал профессор. — Нам же далеко ехать!.. С какой стати мы испортим себе дорогу? Иван!..

А поезд опять подходил к станции.

И опять перронная кутерьма... Приехали. Уезжают.

В вагон, где ехали Иван, Нюра и профессор, садилась большая, гитаристая группа студентов — юноши и девушки, большинство — девушки.

Поезд тонко закричал...

Иван с профессором пригубили-таки из высокой бутылки дорогого вина. Профессор с блокнотом в руках — экзаменует Ивана на предмет владения родным языком. Настроение у них хорошее; Иван относится к "экзамену" довольно серьезно: Нюра — больше на подсказках.

— Просто — ударить. Он ударил — я ударила — кто-то ударил...

- Вломил,— начинает Иван.
- Так.
- Жогнул.
- Жогнул?
- Ну — жогнул. Рраз! — жогнул.
- Ага. Хорошо. Еще?
- Тяпнул.
- Да. Еще?
- Матерно можно?
- Нет, это не надо.
- А там много, вообще-то...
- Нет, лучше не надо. Кроме того, здесь женщина.
- Она слышала.
- И так?
- Наподдал,— подсказала Нюра.
- Наподдал... Да. Невыразительный глагол. Женский какой-то.
- Хряпнул. Ломанул.
- Вот это... глаголы! Мускулистые.
- Перелобанил. Окрестил. Саданул... Нае... Нет, не туда. Врезал, смазал.
- Так, так,— подбадривает профессор.
- Пиннул,— опять вмешивается Нюра.
- Пиннул? Это хорошо. Пнул, да?
- Ну да. Пиннанул, у нас бабка говорит.
- Это старушечий,— снисходительно бросил Иван.— Взял на калган,— еще вспоминает он.
- Это что такое?
- Головой дал! Вот так вот.— Иван взял профессора за плечи и рывком кинул на себя и подставил голову, но, конечно, не ударил — показал.
- О-о! А калган — это голова?
- Голова.
- Это по-каковски же?
- По-русски! Кал-ган. У нас еще зовут — сельсовет. Профессор засмеялся.
- А как еще?
- Чердак.
- Чего попало! — изумилась Нюра.— Неужели вам это на самом деле нужно?
- Нужно, Нюра.
- Тут в купе вошли веселые девушки-студентки устраивать одну свою подружку. Трое.
- Нам сказали, у вас одно место свободное...

— Так точно! — приветливо откликнулся профессор.— Располагайтесь. Которая из вас? Стоп, мы сами выберем. Самую красивую...

— А ну? — Девушки все были хорошие, крепкие, голоногие.— Выбирайте!

Профессор поверх очков оглядел всех... Искренне вздохнул.

— Оставляйте все. Выбирает тот, кто... забирает. О-о!...— сам болезненно сморщился он.— Вот это каламбур!

Девушки засмеялись.

— Какую же.

— Какую, Иван?

Иван гикнул, покраснел и... посмотрел на Нюру.

— Ну, раз ты уже выбрал, то мне — все равно: я свою станцию проехал,— сказал профессор.

Оставили голубоглазую, грудастую Любу.

— Закончена сессия — и ноги в руки! — позавидовал профессор.— Что за институт?

— Педагогический.

— Факультет?

— Физмат.

— Физмат, и только физмат. Всемогущий физмат! — огорченно сказал профессор.— Куда только прибежите со своим физматом.

— А вам не нравится физмат?

Профессор весело посмотрел на девушку с физмата.

— Милая, он вам самой не нравится.

— Почему? — растерялась девушка.

— Потому что вам нравится Лермонтов, Есенин...

— Одно другому не мешает.

— О, еще как!

— Педагогический — это, значит, будете учительствовать? — встрял в разговор Иван.

— Да.

— Да-а...— значительно сказал Иван.— Вот сейчас радуетесь, что учитесь, веселитесь — в люди выходите, а я смотрю на вас и жалею...

— Иван! — сказала Нюра.

— Что?

— Чего заборонил-то? Жалеет он. Ты что?

— А что такое, Иван? — заинтересовался профессор.— Нюра, почему вы остановили?

— Да нет, я хотел про наших учителей рассказать, про сельских...

— Ну?

— Да ладно!

— Да что же “ладно”? Расскажи.

— Достаётся им, бедным... Но, может, я, правда, чего-нибудь недопонимаю, а полезу рассуждать... Ладно.

— Фигура учителя заметно стала ниже,— сказала девушка Люба.— Очевидно, он это хотел сообщить.

— Что ты хотел сообщить, Иван? — спросил профессор строго.— Что длинные учителя в городе остаются?

— Он сам не знает, что он хотел сообщить,— сердито сказала Нюра.— Выпил лишнего? Ложись вон, спи.

Иван только успевал поворачиваться на слова, к нему обращенные... Но молчал.

Тут из соседнего купе пришла делегация девушек.

— Сергей Федорыч... простите, пожалуйста...

— Ну, ну,— сказал профессор.

— Мы вас узнали... вы по телевидению выступали...

— Выступал. Был грех.

— Пойдемте к нам... Расскажите нам, пожалуйста... Мы вас приглашаем к себе. Мы — рядом.

— Пошли, Иван. Недалеко.— Профессор встал.— Бутылочку брать с собой? — спросил девушек.

Девушки засмеялись.

— Берите!

— Ваня, а ты бы воздержался — не ходил,— сказала Нюра.

Но Ивану очень интересно с профессором.

— Да будет тебе! Чего тут такого? Рядом же.

— Да ничего! Будешь потом по вагону бегать...

— Нюра, он не будет бегать по вагону,— пообещал профессор.

И профессор с Иваном ушли.

А луна светила!.. Ночь шла по земле, выстилая на полянах белые простыни.

Жутковато, гулко прогудел мост... Поезд выскочил из его железной паутины и громко закричал, радуясь воле.

Выбежали к дороге белоногие березки — и такие они ясные, белые под луной такие родные... И грустные. Смотрят вслед поезду.

— А вот вы приезжайте, посмотрите! — шумел в купе, где студенты, щедрый, размашистый Иван. — Вот тогда узнаете, как я живу!..

Студентам весело. Ивану тоже.

Только профессор как-то задумчиво смотрел на Ивана: не то ему жалко Ивана, не то малость неловко за него.

— А косить мы будем?

— А зачем косить? У нас теперь машины косют... А-а, так — в охотку? Можно покосить. Я вас устрою. Но это, ребята, тяжело. Лучше мы с вами сядем в лодочки... Как в песне-то поется:

*“С сестрой мы в лодочку сажались,
Тихо-онько плыли по волна-ам...”*

Студенты засмеялись.

— А “Волга” у вас есть?

— А зачем она мне? Я без “Волги” вот так живу! Я, ребята, живу крупно. Чего только у меня нет! У меня — зайдешь в дом — пять ковров сразу висят. Персидских.

— А шкура медвежья есть?

— Три штуки. Одна в прихожке — я сапоги об ее вытираю, одна в детской, дегтики на ней играют, волосья дерут... Дальше, посмотрим направо — барометр висит...

— А громоотвод?

— Громоотвод — на крыше. Я пока внутренность описываю. А налево, как зайдешь, — сервант на тоненьких ножках. Я его один раз — с получки — задел нечаянно, на сорок восемь рублей одной только посуды расколол...

— Жена вам — скандал?

— Не, она у меня не базланит. Это не то что есть некоторые... Ох, не будьте такими — это хуже всего на свете. Тут и так-то... не сладко, а если еще и дома... Если я устал как собака, я посплю, отдохнул — можно снова за работу. А если еще дома... Нет, это плохо. Хуже нет.

— Вы же говорите, вы хорошо живете.

— Я-то хорошо! Я про других. Я-то — дай бог каждому! Я, допустим, прихожу с работы: “Ну, Нюся, давай корми, голубушка”. Она на стол — картошку с мясом. Мясо у меня круглый год не выводится. Свиннота эта у меня вот здесь сидит. — Иван хлопнул себя по загривку. — Ох и прожорливые же!.. Иной раз взял бы ружье и пострелял всех к чертовой матери. А если, бывает, совсем здорово устанешь на работе, я сразу, с порога: “Ну, Нюся...”

Нюра сидела одна у темного окна, слушала песни по радио.

Вошел профессор.

— Ну, Нюся!.. Что, скучаем?

— Что он там? — озабоченно спросила Нюра.

— Иван?.. Да ничего особенного, не беспокойтесь. Рассказывает студентам, как он хорошо живет, богато.

— Тыфу, треплю! Вот треплю-то! Пара штанов завелась лишняя да рубаха-перемываха... Богач! Вот, знаете, так мужик — ничего, грех жаловаться: ребятишек любит, меня жалеет... Но как выпьет, тут уж держись: или хвастать начнет, какой он богатый, или в драку лезет. И ведь сколько уж раз учили, дурака, один раз голову стяжком проломили — неймется! Нальет глаза, и все нипочем: на пятерых, на пятерых лезет.

— Часто пьет?

— Да нет, так-то грех тоже жаловаться. Работает-то он правда много. У их все в роду — работники. Его уважают. А вот есть эта дурацкая замашка... Как праздник подходит, так у меня душа загодя болит. Люди веселятся, а я сижу дома, жду: час прибегут, скажут: "Ванька дерется!"

Профессор вздохнул.

— Смеются над ним? — спросила Нюра.

— Да нет... Ну, молодые: им палец покажи, они смеяться будут. Там все беззлобно... Состричь опять же можно. Только... — Профессор не стал говорить, что это "только". — Ничего. Не беспокойтесь.

— Как же не беспокоиться — не чужой. Сердце-то болит.

В купе, где студенты, слышно, запели под гитару нечто крикливое, бестолковое:

*"В трюмах кораллы и жемчуг;
Весел пиратский бриг.
Судно ведет с похмелья
Сам капитан-старик..."*

— Пираты, — в раздумье молвил старик профессор. — Пираты, ковбои... Суровая зелень. Отчаянный народ.

В купе заглянул курносый парень.

— Это у вас?

— Что?

— Пели-то.

— Нет, это по соседству, — сказал профессор. — Они уже перестали. Слова списать?

— Я бы их так запомнил... Хорошая песня.
— Куда путь держим? — спросил профессор.
— В Крым.— Курносый присел на диван.— Второй раз.
Опять радикулит... Замучил.

— Болит? — посочувствовала Нюра.
— Болит,— отмахнулся курносый, настраиваясь поговорить о другом.— Во народу где! Идешь по пляжу — тут женщина голая, там голая — валяются. Идешь, переступаешь через их...

— Совсем голые?! — удивилась Нюра.
— Зачем? В купальниках. Но это же так — фикция. Я сперва в трусах ходил, потом мне один посоветовал: “Купи плавки!” Так они что там делают: по улице и то ходят вот в таких вот штанишках — шортики называются.— Курносый чуть подсюсюкивал, у него получалось — “станиски”, “сортики”.— Ну, идешь, ну, смотришь же... Неловко, вообще-то...

— Ну да,— согласилась Нюра,— другая и по морде даст.
— Да нет, там это само собой разумеется. Но, вообще-то, неловко. Ну, мне там один тоже посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберешь, куда смотришь...

— Во!
— Заходишь вечером в ресторан, берешь шашлык, а тут наяривают, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я скажу! Вот собаки! Сердце заходится. Так глядишь — вроде совестно, а потом подумаешь: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего же мне-то совестно? Ритмичность... везде ритмичность. Там один тоже стоял: бесстыдники, говорит, что вытворяют! Ну, его тут же побрили: не нравится, говорят, не смотри. Иди спать. А один раз как дали “Очи черные”, у меня на глазах слезы навернулись. Такое ощущение (осюсение), полезь на меня десять человек — не страшно. Я чуть не заплакал. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз — ну, красота! На всех пароходах — музыка. Такое осюсение, что музыка из воды идет. Спускаемся — опять в ресторан...

— Это ж сколько денег просадить можно?! — сказала Нюра.— Тут ресторан, там ресторан...

— Они там на каждом шагу! Мне там один тоже говорит: первый и последний раз. Корову, говорит, целую ухнул. Нет, там есть пельменные, вообще-то. Три порции — от так от хватает...

...А в купе, где Иван, некто молодой, очень красивый, пел под гитару очень красивую песню — про “Россию-матушку”.

*“За Россию-матушку — все умны,
За Россию-матушку — все смелы...”*

Иван слушал, стиснув зубы. Песня очень ему нравилась. Вошел курносый (курортник), присел, тоже стиснул зубы. Ему тоже очень понравилась песня.

Песня кончилась.

Все посидели молча... Курносый спросил гитариста:

— А “Очи...” можешь? Дай “Очи...”!..

Иван пристукнул кулаком по колену... Встал и пошел из купе.

И запел в коридоре:

*“С сестрой мы в лодочку
садились,
Тихо-онько плыли по волна-ам!..”*

Потом Иван вошел в свое купе.

— Дорогие мои, хорошие...— заговорил он было. Но профессор с Нюрой говорили негромко между собой, и Иван смолк.

А профессор и Нюра, не обращая на Ивана никакого внимания, продолжали говорить. И очень даже странно они говорили:

— Прямо не знаю, как вам и сказать...— раздумчиво сказала Нюра.— Все же у меня двое детей... да маленькие такие!..

— Господи! — тихонько воскликнул профессор.— Ну и что? И прекрасно. Он как раз детей очень любит. У него под Москвой домик... будете жить-поживать да добра наживать. Он не пьет, не буянит, сроду никогда грубого слова не сказал. Как у Христа за пазухой будешь жить. Решайся.

— Прямо не знаю...— тихо и грустно опять сказала Нюра.— Если уж честно-то: конечно, мне надоела такая жизнь. У людей праздник, а у меня загода душа болит. Или ехать куда: опять думаешь, какая-нибудь история... А ему сколько лет-то?

— Тому человеку-то? Семьдесят. Но он еще в форме... Седой такой, головку носит гордо — красавец. Он всю жизнь танцевал в оперетте, поэтому... головку умеет держать.

— Многовато вообще-то...

— Да я же говорю: он любого молодого за пояс заткнет! Ну и потом, культура! Там же через каждое слово — “мерси”,

“пардон”, “данке шен”... Ты хоть отдохнешь от этих всяких “чаво” да “надысь”...

— Да охота, конечно, пожить, как...

— Я извиняюсь,— вмешался Иван, заметно трезвее.— Про кого тут речь?

— Дело же не в том даже, что самой пожить,— продолжала Нюра, не слыша и не видя Ивана,— а в том, чтобы детей воспитать на хорошем примере. Сейчас-то — что за пример они видят!

— Я же про то и говорю! — подхватил профессор.— Пример же будет.

— Я подумаю,— сказала Нюра.

— Подумай-подумай.

— Ну и что, что семьдесят: я за ним ухаживать буду...

— Так, а что там ухаживать-то: утром отнес его в садик, посадил в креслице — и сиди он себе, “мерсикай”. Ест мало, кашку какую-нибудь сварил, он покушает, и все. А вечером...

— Слушайте,— заговорил Иван, угрожающе округлив глаза.— Я говорю, я извиняюсь, но я же — тут! В чем дело?!

— А, ты тут? — “спохватилась” Нюра.— А мы и не слышим — заговорились с Сергеем Федорычем. Давно пришел?

— Да как тихо вошел! — удивился и Сергей Федорыч.

— В чем дело! — спросил Иван.

— Ни в чем.

— Кому семьдесят лет?

— Мне,— сказал профессор.

— Нет, я же слышал...

— Ложись-ка спать, Ваня,— мирно сказала Нюра.— Ложись. Лезь вон на полку и засыпай. Все рассказал людям, рассказал, как живешь, спел... чего еще? Свою норму выполнил — можно и на боковую. Лезь, Ванюшенька, лезь, милый. Лезь баньки. Давай.

— Я ничего не понимаю,— пробормотал Иван.

— Завтра поймешь. Завтра все поймешь.

Иван полез на верхнюю полку и затих.

Пришла Люба... Прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку и тоже затихла.

Профессор с Нюрой остались сидеть у окна.

— Что же, правда, что ли, там такая жизнь?...— спросила Нюра тихо.— Парень-то рассказывал...

— Нет,— тоже тихо откликнулся профессор.— Впрочем... что-то есть и от правды.

— Гляди-ка, корову, говорит, целую ухнул... неужели можно?

— А сколько корова стоит?

— Четыреста — четыреста пятьдесят... А с телком — так и больше.

— Можно. Можно и корову с телком ухнуть... На Руси умеют коров ухать.

Все, наверно, спят в длинном поезде.

Не спят только на паровозе.

Машинист, пожилой уже человек, глядя вперед, вдруг спросил молодого помощника:

— Кольк, знаешь, как в отделе кадров бухгалтера подбирали?

— Знаю. Третий сказал: "А сколько вам надо?" Ты уж седьмой раз рассказываешь.

Машинист засмеялся.

— Придумают же!.. Смешно.

— Анекдот-то — вот с такой бородой.

— Все равно смешно. Интересно, кто их сочиняет?

Колька пожал плечами.

— Люди...

— Я вот хочу какой-нибудь сочинить, и никак не выходит.

Нюра спит... Но вот какая-то далекая тревога отразилась на ее спокойном лице.

Она увидела сон.

Распахнулся огромный, с плющом, с фикусами в огромных кадках, сверкающий зал ресторации. И весь он ходуном ходит. Полутолые девицы, волосатые парни зашлись в танце... "Очи черные".

Гремит и кривляется "ритмичная жизнь". То ли это какой-то вселенский шабаш, то ли завтра — конец света. Не архангел ли Гавриил дует в свою сзывающую трубу, и нет ли тут — среди обаятельных дам и джентльменов — этих, с хвостиками и на копытцах?

С трудом проралась Нюра через гремящий, орущий, бесноватый зал... И вышла к столу, где пирует ее Иван. Он

славно пирует! По бокам его почти голые девицы, смеются, пьют шампанское...

— Пойдем домой! — сказала Нюра.

Иван отрицательно покачал головой. И усмехнулся.

И сильней грянула музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно...

Нюра пошла к выходу. Ей в лицо смеялись, девицы проплывали у нее перед носом, подергивая плечиками...

И вдруг Нюра остановилась. И заткнулась музыка... И все замерли. Нюра опять пошла к столу... И с ее шагами, сперва тихо, потом громче стала нарастать удалая, вольная музыка "Из-за острова на стрежень".

И сам Иван сидит за столом в облике Стеньки Разина... И грозно смотрит на Нюру.

Нюра подошла, выдернула мощной рукой его из-за стола и дала пинка под зад. И сама пошла следом за ним.

На пороге, в дверях, оглянулась и произнесла гневную речь.

— Эх вы! — сказала она. — Смеетесь?! Над кем смеетесь?! Это над вами смешно-то. Это мне надо смеяться-то, а не вам. Что вы делаете?! Как вам не стыдно?! Девушки!.. Зачем заголились? Чтобы мужиков приманивать? Да если ты хорошая, если ты человек хороший, мужик и так увидит. На вас же глядеть муторно! Тьфу!.. В такие-то годы — работать да детей рожать, а вы с ума сходите.

За Нюрой, за ее спиной, стали появляться мужчины пенсионного возраста и тоже укоризненно смотрели. И молчали.

— Мой вам совет: прекратите это и займитесь полезным трудом!

Положительные мужчины за Нюрой захлопали.

— Чтобы я этого больше не видела!

Мужчины опять захлопали...

Нюра проснулась, полежала немного и шепотом позвала:

— Вань!..

Иван спал глубоким сном.

Нюра встала, потрогала его на верхней полке... И опять легла. И закрыла глаза.

Утром проснулся Иван с больной совестью. Проснулся и не поворачивался, лежал тихо.

Профессор негромко рассказывал Нюре и Любе нечто далекое из юношества.

— Я тоже был гордый! Я очень красиво выразился: “Не моя воля, что я родился под этой крышей, отныне моя воля в том, что я навсегда уйду отсюда!” Во как сказал! Я бы позер. В двадцать лет все поэры.

— Почему “все”? — возразила Люба.

— Все, без исключения, — подтвердил профессор.

— Ну а дальше? — попросила Нюра.

— Я ушел. Простите, уехал.

— А она?

— Она осталась.

— Но вы же любили ее!

— Да. Но себя я тоже любил. Себя я любил больше. Я ушел в Вологду, в Вологодщину, в деревню. Я стал учителем. Это было прекрасное время!.. Знаете, ближе к осени, когда с осины упадет первый лист, воздух в лесу — зеленый...

— Что же дальше? — все не терпелось узнать Нюре.

— Дальше... Я встретил там Машу... Свою Марью Ивановну. И все.

— А Катя?

— А Катя встретила своего... какого-нибудь Василия Ивановича — баш на баш.

— А кто раньше встретил — Катя или вы? — спросила Люба.

Профессор засмеялся.

— Вот что значит — не романист я! — пропустил такую главу... Катя встретила первая. Я был очень далеко... в деревне — с экспедицией. И там я узнал. И ушел в свою деревню. На этот раз я ушел пешком. Я шел пешком сто двадцать верст...

— Что же, никто не мог подвезти?

— Я не хотел. Я нес свое горе, страдал! Не на телеге же страдать. И, знаете, я правильно сделал, что протопал эти сто двадцать верст. Я не верю в скоротечные — в одну ночь — перерождения... Но в сто двадцать верст вологодских дорог я верю. Много я передумал всякого... Много понял.

— Господи, прямо как в книге, — сказала замороженная Нюра.

— Вот это-то я и понял главным образом: что все это, мое горе, мои страдания, — это пока роман. Но еще не жизнь. Жизнь началась потом...

— А к отцу-то вы вернулись?

— Нет, уже не вернулся. И, вообще, дальше уже... нечто иное. Не роман. Но роман был захватывающий... А?

Обе в один голос — и Нюра и Люба — воскликнули:

— Очень интересно!

— Очень!

В купе заглянул проводник.

— Чайку желаете?

— Желаем! — сказал профессор. — И побольше, пожалуйста. Десять стаканов. Скажите, а газеты здесь носят?

— Нет, газеты на станциях.

Иван воспользовался приходом проводника, скоренько надернул под простынею штаны, слез с полки.

— Здравствуйте, — сказал невнятно, взял полотенце и ужом выскользнул из купе.

— Стыдно, — сказала Нюра.

— Чего? — не понял профессор.

— Ну... вчера хватил лишка, сегодня стыдно. Весь день молчать будет.

— Ну, зачем же так? Так даже скучно.

— Ничего, пускай. Пускай помается.

— Всегда так?

— Всегда. А если где подерется, то и ночевать домой не придет — в мастерской спит, у сторожа. Дня по два там живет. Совестно.

Поезд подошел к станции.

Иван, с полотенцем в руках, выскочил из вагона и побежал к газетному ларьку. Накупил газет — всех по одной... побежал обратно.

В купе готовились пить чай.

Иван вошел с газетами... Положил их на стол. Фальшиво-небрежным тоном сказал:

— Почитаем, что ли...

— Газеты! — удивился профессор. — Где достал, Иван?

— Там... — Иван кивнул в сторону станции.

— Ну, как? — спросила Нюра строго.

Иван вздрогнул, быстро поднял голову и опустил. Спросил тоже скоро, испуганно.

— Что, что?

— Ничего!

— А что? Ничего. А что?

— Ничего... и совесть спокойна, и душа не болит?

— А что, что? — тихо, впробормот спрашивал Иван.

— Крепкая же у тебя совесть... — Нюра взяла полотенце и пошла умываться.

Профессор с Иваном остались одни. (Люба ушла к своим.)

— Попало? — спросил профессор.

— Та-а... — Иван поморщился, не поднимая головы. Он читал газету, которую разложил у себя на коленях.

— Голова болит?

— Не! — поспешно, с бодрей откликнулся Иван. Но головы опять не поднял.

— У меня есть бутылочка сухого... Выпьешь?

Иван глянул на дверь.

— Она долго не придет — там очередь. Выпей, легче станет.

— А вы?

— Я не хочу... У меня не болит.

Профессор достал из чемодана длинную бутылку. Сам тоже поглядывал на дверь. Налил стакан.

Иван одним махом оглушил стакан.

— Ху!..

— Еще?

— Нет. Спасибо.

— Тяжело бывает после выпивки?

— Да не то что тяжело — мутрно.

— Но ты особо-то не переживай, ничего вчера безобразного не было.

Иван мучительно поморщился.

— Трепался, наверно?.. Гадский язык: обязательно на-трепаться! Ненавижу себя за это!.. Один раз, знаете, поехал на мельницу. А мельница у нас в другом селе, за пятьдесят километров. Смолол. Ну, выпили там с мужиками... И чего мне в башку влетело: стал всем доказывать, что я Герой Социалистического Труда.

— О!

— Ну! Меня насмех, я в драку... Как живой остался — их человек восемь, мужиков-то.

— Да-а. А вчера что-то быстро ты захмелел-то?

— Да я же еще днем коньяк пил! С этим воругой-то. Ну и развезло — ерш получился. Я так-то не слабый... А чего и говорил там?

— Где? У студентов? Рассказывал, как ты хорошо живешь.

— О-о!.. Вот же козел!

— Ну а как жизнь вообще-то? Если не трепаться...

— Да ничего живу... Нормально. Я не гонюсь за богатством. Мне бы вот ребятшек выучить — больше ничего не надо. Ничего так-то — все есть. Телевизор есть, корова есть. Свинья даже есть, хоть я их ненавижу, собак, — прожорливые. Все есть, я не жуюсь.

— Иван, ты хотел про учителей рассказывать... Расскажи?

Иван посмотрел на дверь купе...

— Ладно,— сказал профессор,— мы еще выберем время.

Велика матушка-Русь!

И на восходе солнца и на заходе солнца, и белым днем и ночью — идут, идут, идут поезда. И куда только едут люди? Куда-то все едут, едут...

Молоденький офицерик, от которого вкусно пахнет маминым молоком, говорит миловидной соседке по купе:

— Все это хорошо, но это — сплошная чувствительность. Мы сегодня — не те.

— Но это же прекрасно,— неуверенно сказала соседка. И прочитала:

*“Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне”.*

— Не мужские стихи,— проговорил жестокий лейтенант.— “Розовый конь” — это не из двадцатого века. Согласитесь.

Как тут не согласиться! И миловидная соседка пожимает плечами, что можно понять, как “пожалуй”.

Две дамы от души состязаются в любезности.

— Позвольте, разрешите, я полезу на верхнюю полку.

— Да нет, зачем же? Я могу туда прекрасно полезть.

— Но меня это нисколько не затруднит!

— Меня это тоже ничуть не затруднит. Что вы!

— Прошу вас, устраивайтесь внизу. Честное слово, меня ничуть не затруднит...

— Нет, пожалуйста, пожалуйста...

Внизу, на диване, полулежит здоровенный парнишка и, отложив “Огонек” в сторону, с интересом слушает дам.

А вот — дядя... Вооружившись мешком и чемоданом, таранит встречных и поперечных в проходе общего вагона. Ему кричат:

— Что же ты прешь, как на буфет! Дядя!..

— Ну, куда? Куда?

— Эй!.. Можно поосторожней?!

Дядя — ноль внимания. Трудный опыт российского пассажира подсказывает ему, что главное — занять место. Можно себе представить, что когда-нибудь все вагоны будут купейные, а если будут общие, то в них будет свободно... И что же будет? Тоска зеленая!

Едут, едут, едут...

Спят...

Читают...

Играют в карты...

Играют в домино...

Рассказывают друг другу разные истории из жизни...

Едят...

Едят...

Едят...

Иван двинул с дороги письмо домой.

“Здравствуйте, родные:

теща Акулина Ивановна, дядя Ефим Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки: Валя и Нина! Во первых строках моего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, чего и вам желаем. Пишу с дороги, поэтому еще конца нет. Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет, но зато едем без горюшка. Едем по просторам нашей необъятной родины, смотрим в окно. Погода стоит хорошая — градусов двадцать пять по Цельсию. Один раз ходили в вагон-ресторан. Взяли на первое — по борщу, на второе — бистроганов. Едет с нами один старичок профессор, очень хороший. Ну, были другие происшествия — приедем, расскажем. Поедем мы через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться хоть на сколь — у него пятикомнатная квартира. Ну, Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить

ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу в крематорий. Об нас не беспокойтесь. Берегите детей.

Иван".

И вот — Москва.

По радио торжественно объявили:

— “Граждане пассажиры! Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины — город-герой Москву!”

Нюра и Иван заметно взволновались. Особенно Нюра.

Профессор с интересом наблюдал за ними.

— Ваня!.. Глянь-ка, дом-то! Вань! — вскрикивала Нюра.

Ивану тоже страсть как интересно, но он сдерживал себя. И Нюру.

— Чего ты орешь-то? Чего орешь-то? — Он даже посмеялся, пригласив взглядом и профессора — тоже посмеяться вместе над Нюрой. — Ну, дом... колоколенкой.

— Гостиница “Ленинградская”, — сказал профессор.

— Сколько этажей? — спросил деловитый Иван.

— Черт его знает!.. Понятия не имею.

Поезд остановился.

Профессор и Иван с Нюрой вышли на перрон... Профессор высматривал кого-то в толпе.

— Сын должен встретить, — пояснил он. — Иван, расскажи ему про учительницу... Вообще, поговори с ним, а то эти молодые ученые... решили, что они все знают...

— Тоже ученый? — полюбопытствовал Иван, но только за-ради одной голый вежливости, потому что ему куда как важнее все, что вокруг него.

— Постойм тут, — велел профессор. — А то разминемся.

Остановились в сторонке от потока.

— Народу-то, народу-то! — все изумлялась Нюра.

— Миллионов десять живет? — поинтересовался точный Иван. — Или побольше?

— Понятия не имею! — несколько даже гордо ответил профессор. — Это наши ученые знают... Знают, а ничегошеньки сделать не умеют. Вавилон растет и растет. Воя он! О-о!.. Одна поступь чего стоит!.. Ужасно самовлюбленный народ... — Профессор помахал рукой.

— Чую, батько! — громко сказал высокий молодой человек, выдираясь из людского потока.

— Наконец! — сказал веселый, ироничный профессор.

Они поцеловались. Профессор представил сына:

— Сын.

— Иван — сказал сын.

Иван тоже назвался:

— Иван.

Профессор засмеялся.

— Нюра, — сказала Нюра. И подала ладонь лодочкой.

— Это мои гости, — пояснил профессор. — Мать здорова?

— Относительно.

— Твои?

— Все в порядке. Хорошо съездил?

— Хорошо. Пошли-пошли, чего мы стоим? Пошли.

— Тебе звонили из...

Трое наших затерялись в толпе.

А "миллион народа" все двигался и двигался, говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал...

Хозяина и гостей в квартире профессора встретила до-вольно толстая, круглолицая Мария Ивановна.

Перецеловались, перезнакомились в прихожей...

— Проходите сюда! — позвал размашистый, великодуш-ный профессор. — Иван!..

— Да, папа?

— Не ты, Иван-гость. Ну и ты — давайте сюда! Иван-сын, как у тебя день?

— У меня лекции. Я отпросился тебя встретить.

— "Лекции", "лекции", — недовольно заметил профес-сор. — Поговорил бы лучше с живыми людьми — это не социологические столбики с цифрами...

— Социология — это как раз живые люди, — отрезал сын. — Вечером мы с удовольствием поговорим.

— Вечером у вас Дом кино, театр, друзья... Послушал бы, правда. Иван, расскажи ему про учительницу...

Где-то в одной из комнат затрещал телефон. Иван-сын скоро пошел туда.

— А ведь какая видимость деятельности! — все ворчал профессор.

Иван и Нюра не понимали: всерьез профессор чем-то недоволен или же это такая его манера говорить дома?

— Папа, тебя! — позвал сын.

Профессор пошел к телефону.

Супруги Расторгуевы на малое время остались одни.

— Опять вылетел с языком? — сердито, негромко заговорила Нюра. — Чего рассказывал про учительницу-то? Про какую учительницу?

— Да это... про Федорову...

— Тыфу! Вот пропишут куда-нибудь в газету!.. Сказал — рассказал такой-то. Чего рассказывал-то?

Иван лихорадочно обдумывал положение.

— Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивши... Спьяну молол. Так? Потом, я говорил, что она получает сто рублей... Но я же забыл алименты! Сорок семь рублей алиментов. Сто сорок семь — не такая уж это бедность.

— Дрова бесплатно привозют, — подсказала Нюра.

— Налогов меньше. Телефон провели, а мне, допустим, фигу...

— Для чего он тебе, телефон-то?

Иван сердился, что не понимают тонких извивов его мысли.

— Да здесь-то, для сравнения-то, надо чего-нибудь говорить! Мало ли, что он не нужен, — делай вид, что пропадаешь без телефона...

— А чего ты ему говорил-то?

— Та-а...

— Ванька, скажи! Я, может, чего-нибудь придумаю — выручу тебя. Чего говорил-то?

— Ну, говорил, что я, необразованный человек, живу лучше ее... Ненормально, мол, это. Оно, так-то подумать — ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живет хуже... Да я готов ей вскладчину допла...

В комнату вошли профессор с сыном.

— Ну иди, иди, — говорил отец. — Ай да наука!.. Наизусть на дом не задают?

Иван-сын пожал плечами и вышел.

Иван-гость и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.

— Иван, Нюра... вы распрямитесь как-нибудь... Чувствуйте себя свободней!

Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так и осталась сидеть — в гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть улыбнулась и чуть кивнула головой.

Профессор пошел на кухню.

— Они надолго? — спросила Марья Ивановна.

— А что? — наструнился профессор.

— Ничего, просто спрашиваю.

- Мне показалось — не просто.
- Но я должна подумать, рассчитать...
- Изволь, они пробудут здесь две недели, — спокойно сказал профессор. И даже не стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна. — Приготовь завтрак.
- Почему “две недели? Они же куда-то дальше едут...
- Они едут на юг. А почему бы им не пожить две недели в Москве? У них это не так часто случается.
- Пожалуйста, пусть живут. Почему ты нервничаешь?
- Я? Нисколько.
- Только очень тебя прошу: води их по Москве сам, не проси Ивана — ему действительно некогда.
- Я знаю, у него лекции.
- У него лекции, да, — стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. — Если тебе...

Иван-гость осмелел в большой, обставленной книжными шкафами комнате. Прохаживался, смотрел книги.

- Не тронь! — сказала Нюра.
- Чего?
- Сядь и сиди. Не лазий там. Чего ты там забыл?
- Книги смотрю... Что тут такого? Все культурные люди так делают.
- Культурные люди в чужом доме сядут и сидят.
- Ну и неправильно! Надо... развязней быть. Поговорить...
- Ты уж один раз поговорил... Говорун.
- Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтоб мы людям не в тягость были... Чтоб интересно с нами было, — учил Иван.
- Откуда только набрался! — Возьми вот Расскажи, как вы в прошлом годе от медведя чесали. Пусть люди похочут...

Вошел профессор, весело объявил:

— Сейчас будем завтракать!

Нюра не шевельнулась.

А Иван кивнул головой, одобрил:

- Хорошее дело.
- Ну, так как вам Москва-то?
- Очень большая, — вежливо сказала Нюра.
- Вавилон! Заметьте, однако: за последние годы рождаемость в городах упала в два раза. А прирост населения в полтора раза увеличился. Опять отдувается деревня-матушка. Не хотим мы рожать в городе, и все тут. Нам некогда мы заняты серьезной деятельностью!.. Охламоны.

Марья Ивановна, собирая на стол, заметила с упрёком:
— Не утомлял бы гостей, товарищ профессор. Сам же...
— Им это полезно знать.
— Сына упрекаешь за лекции, а сам...
— Это цифры ученых. Социология.
— Что же здесь плохого, если они знают эти цифры? Они этим занимаются... Они ставят перед обществом вопросы.
— Честные, деятельные люди перед собой ставят вопросы, а не...

В дверь в это время позвонили. Марья Ивановна пошла открывать.

Вошел пожилой человек, по облику тоже профессор... Лысый. Поздоровался.

— Приехал?
— Приехал.
— Ну, как? Полностью сельский человек?
— Не говорите! С собой даже привез... На сына набросился — за лекции...

— Предлагает ехать в деревню? — с улыбкой спрашивал лысый профессор, снимая плащ. — В народ?

— Теперь это надолго, — вздохнула Марья Ивановна.

Лысый профессор погладил лысину, вошел в комнату.
— Ну, здравствуйте, здравствуйте!.. С приездом. — Лысый уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина. — Как поживает деревня-матушка?

Профессор-хозяин тоже изобразил обаятельную улыбку.

— А как себя чувствует Вавилон?

Профессор-гость не снимал игривого тона:

— Ну, ему-то что сделается! Растет. Шумит.

— Нет, это не рост — нагромождение, — сказал хозяин. — Рост — нечто другое... Живая, тихая жизнь. Все, что громоздится, то ужасно шумит о себе.

— Гуманитарии всякий раз забывают один простой и вечный закон природы: тело не упадет, если сохранит скорость... Не нам с тобой, Сергей Федорыч, дорогой, исправлять этот закон. Будут расти, шуметь, строить... Постараются сохранить скорость.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила хозяйка к столу. И тут Нюра совсем выпряглась.

— Спасибо, спасибо, — сказала она. — Мы утром чай попили...

— Да вы что! — воскликнул профессор-хозяин. — Ну-ка, давайте...

— Да не беспокойтесь, мы где-нибудь в столовой...

Даже Иван понял, что это уж слишком.

— Садись, что ты?

— Садитесь, пожалуйста,— пригласила и хозяйка.— Зачем же идти в столовую, когда можно дома?

— Мы в столовой-то знаешь сколько время потратим! — убеждал жену Иван.— А тебе интересней по магазинам походить, сама говорила.

Нюра сдалась.

— Ну, можно закусить немного...

Когда сели уже за стол (профессор-гость отказался, рассматривал записи, привезенные хозяином), пришла Люда, невестка, высокая, статная, очень красивая. Иван неприлично открыто засмотрелся на нее.

— Это мои гости,— сказал профессор-хозяин.

— Очень приятно.

— Людмила... как у тебя день?

— У меня с двух часов заочки.

Профессор помрачнел. Замолчал.

— Ваня звонил? — спросила Люда, не замечая, а может, не желая замечать, что свекор помрачнел.

— Он ушел на лекции.

Люда с Марьей Ивановной ушли на кухню.

— Странный ты человек, Сергей Федорыч,— заговорил профессор-гость.— Ну а что ты предлагаешь? Как предлагаешь им поступить?

— Это ты странный!.. Я предлагаю! Я уже давно ничего не предлагаю. Попробовал бы я предложить!..

— Ну, как же быть?

— На это мог бы ответить хозяин дома. Но таковых теперь в домах не бывает... Разве вот у них,— Сергей Федорыч кивнул в сторону Ивана и Нюры.— И то вряд ли.

— Частенько русские... домострой вспоминают. Странная тоска... В профессорском доме. Не находишь?

— Нет, не нахожу.

Профессор-гость уткнулся в тетрадку.

Гости — Иван и Нюра — не поняли, о чем шла речь. Иван аккуратно доставал ложечкой красную икру из вазочки и ел прямо так — из ложечки же. И снова доставал.

— Вкусная штука,— похвалил он, когда почувствовал на себе взгляд хозяина.

— Ешь, ешь,— кивнул Сергей Федорыч.— Это память о домострое. Редкая штука.

ГУМ.

Людская река растекается здесь на десятки проток. То закрутит у прилавка с носками, то увлечет в салон электроприборов... То вынесет на горбатый мостик, и тогда можно оглядеться, передохнуть, прийти в себя.

Ивану очень понравилось смотреть сверху, с мостика, на людей внизу... Но Нюра торопила. Куда торопила? Впрочем, она что-то покупала — что-то такое Иван держал уже в руках, какую-то коробку.

Нюра неутомимо перебирала, прикидывала на голову платки... Продавщицы ей делали замечания, Нюра не обращала на них внимания. Ее очень увлекало это занятие — перебирать товары. Она прямо преобразилась вся. И куда девалась ее деревенская робость, нерешительность!

Она тащила Ивана все дальше и дальше... Они вместе трогали плащи, мяли рукава их, растягивали... Вместе заглядывали в бирочки, где указана цена... И шли дальше.

В одном месте толпа растащила их в разные стороны...

Иван забеспокоился... Стал кидаться туда-сюда, спрашивал людей, показывал руками, что потерял жену, крупная такая женщина, с веснушками.

Одни качали головой — не видели.

Другие улыбались.

А один сердобольный молодой человек стал, как видно, объяснять Ивану, что надо пойти на радиоузел, сказать фамилию, имя, отчество жены, и там объявят по радио, и жена придет к фонтану...

А профессор Сергей Федорыч в это время названивал по телефону в справочное Курского вокзала. Справочное все время было занято.

— Кошмар!.. — застонал профессор. — Целый час — все занято.

Профессор-гость, читая тетради хозяина, пояснил:

— Они кладут трубку на стол и читают детективные романы.

А Иван стоял у фонтана в ГУМе и ждал... жену. Волновался, как любовник.

— Нет, это черт знает что такое! — взревел профессор-хозяин. И бросил трубку. — Это же, простите, не работа!.. —

Он встал и заходил по комнате.— Это не неумение работать, это не-же-ла-ние работать! Ну, как же: она десять лет училась, ей вдальблывали в голову, что удел человеческий — это беспосадочный перелет Москва — Владивосток...

— Старо! — сказал профессор-гость.

— Это первенство мира по прыжкам в высоту, а тут кто-то хочет узнать, когда идет поезд “Москва — Симферополь”! Фи! — Сергей Федорыч всерьез разволновался.— Ах ты, кудрявая, судьба обошла тебя, не повезло в жизни!.. Вот увидишь, сейчас, если дозвонюсь, рявкнет: “Москва — Симферополь” отходит в ноль целых...” И подумает: “Старый осел”.

— А ты как-нибудь... молодым баритоном попробуй.

Профессор опять подсел к телефону. Опять было занято.

— Так!..— профессор тихо стал звереть. И неожиданно перешел от крика на тихий, зловеще-вкрадчивый голос: — А ведь никто не догадался объяснить ей, что простое человеческое дело — ответить, если спросили,— и есть высокий долг...

— Видишь, у тебя получается — баритоном-то.

— Пошел к дьяволу!

— Чего ты психуешь-то? Ну, занято... Один ты звонишь, что ли?

В это время пришел Иван-сын.

— Вий пришел,— сказал отец.— Слушай, Вий, объясни мне, пожалуйста...

— В чем дело?

— Не могу дозвониться в справочное Курского вокзала. Все время занято...

— Когда нужны билеты?

— Ты хотя бы узнай...

— Когда нужны билеты? Их принесут сюда, на дом.

— На завтра.

Иван-сын подсел к телефону, набрал номер...

— Сергей? Сережа, нужно два билета... Хотя, подожди... У них сквозной до Симферополя?

— Нет.

— На завтра. Два билета. До Симферополя. Спасибо.— Сын положил трубку.— Завтра утром сюда принесут два билета. От десяти до двенадцати.

Старики молчали. Долго молчали...

— Так жить можно,— не то шутя, не то серьезно сказал профессор-отец,— блат кругом.— И продолжал иным тоном: — Иван, я серьезно прошу, поговори с деревенским человеком. Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то

поразительно доверчивый человек. Ведь это сегодняшняя Россия...

— Ну уж! — воскликнул профессор-гость. — Вся сразу — в одном Иване...

— О чем поговорить? О положении сельского учителя сегодня? Но я больше его знаю об этом...

— О-е-е!

— Знаю, например, что подавляющее большинство учителей в стране — женщины. Могу назвать цифры...

— Не надо. Ну и что, что женщины?

— Это нехорошо. То есть не то что вовсе не хорошо, но желательно, чтоб мужчин-педагогов было больше. Не нужно же тебе объяснять, что для ребенка-мальчишки, положим, сказанное учителем-мужчиной совсем не одно и то же, что скажет учительница. Мы это знаем.

— Ну и что вы собираетесь делать?

— Пишем диссертации, — не то в шутку, не то всерьез ответил сын.

— Лихие ребята!

— Дальше, мы знаем, что общекультурный уровень тех же сельских учителей... Ну, как бы это... оставляет желать лучшего, что ли. И вовсе не потому, что они...

Зазвонил телефон.

Профессор поднял трубку, послушал и сказал:

— Его нет дома. Позвоните попозже. Итак, вовсе не потому, что они не хотят его повышать, а...

— Меня просили?

— Да. Переживут. А почему же?

— Первое: огромная, иногда нелепая перегруженность в школе. Учителей, я имею в виду. Любовь местных властей общественной работе на селе сваливать на тех же учителей. Они агитаторы, и организаторы, и участники художественной самодеятельности, и депутаты сельских Советов — словом, актив.

— Не вижу ничего в этом плохого.

— Плохо то, что некогда книгу почитать, фильм посмотреть... Они падают от усталости.

— Третье?

— Третье: я бы увеличил им зарплату. Но из своего кармана, сам понимаешь, я это не могу сделать.

— И все-таки что же делать? Ведь им доверено будущее страны — дети. Между прочим, никто из них — я говорил со многими — не пожаловался. Очень добрые, приветливые люди... Даже веселые.

— Это труженики. И потом, что же, они тебе, московско-му профессору, станут жаловаться? Ты бы стал жаловаться, когда был молодым?..

Профессор-отец ничего на это не сказал. Не ответил.

— Папа, мы не помешаем, если соберемся сегодня у нас?..

— Кто? Да нет... что же? Нет, конечно, не помешаете. Этот... волосатый — придет? — Профессор весь перекорсился, перекосялся — изобразил, что играет на гитаре.

Иван-сын ушел к себе в комнату, никак не отреагировав на выходку отца.

— Ах, славно! — воскликнул профессор-гость. И хлопнул ладошкой по тетрадке. — Много ты добра привез, Серега! Славные есть штуки.

Профессор-хозяин посмотрел на него... Ничего не сказал. Помолчал, задумчиво глядя на телефон... И сказал вдруг:

— А кумекают... эти-то. — Кивнул в сторону, куда ушел сын.

— А? — откликнулся профессор-гость. — Эти-то? Кумекают.

— Кумекают. Славные, говоришь, есть штуки?

— Ах, славные! — Профессор-гость ласково погладил тетрадку.

В ту ночь профессору пришла в голову блистательная идея: устроить встречу студентов, какие остались на каникулах в Москве, аспирантов и преподавателей университета — всех, кто способен насладиться музыкой живой русской речи, — встречу с Иваном Расторгуевым. Собрать несколько человек — “любителей словесности”.

В аудитории, где происходила бы встреча, во вступительном слове профессор сказал бы так:

— Уважаемые коллеги, друзья! Я пригласил вас на эту встречу вот с какой — единственной — целью: просто чтобы мы послушали одного из тех, кого мы называем языкотворцем, хранителем языка. Собираются же слушать музыку!.. И собираются, и внимательно слушают бесчисленных кликуш с гитарами... Я уже говорил и писал, почему эти... “ловцы губок” привлекают к себе внимание. Если привлекает подделка, значит, есть тоска по настоящему, неподдельному. Так было, так есть. Мы очень много знаем, мы строим невиданный Вавилон... Мы оглушили себя треском машин, воем сирен... Мы, в своем упоении цифрами, полупроводниками, схемами, телевидением, мы социологи, математики, нумизматики, мастера классической демагогии... мы уже давно не слышим, как говорит наш народ. Послушайте же!

Еще в машине, когда ехали московскими улицами в университет, профессор говорил Ивану:

— Рассказать?.. Ну, расскажи что-нибудь... О себе. Расскажи, как ты собираешься детей учить. Почему непременно надо учить. Расскажи, как ты обо всем этом думаешь, — получится про жизнь.

— Можно, Нюра тоже выступит? — попросил Иван.

— Можно.

— Нет, я не буду, — воспротивилась Нюра. — Я не умею.

— Ну, посмотрим, как там будет... Только, Иван, дело-то в том, что это вовсе не значит — выступать. Надо рассказать, как умеешь... Понимаешь ли?

— Все будет в порядке, — заверил Иван.

А еще раньше, в тот же день, утром, у профессоров — Сергея Федорыча и его коллеги — произошел серьезный разговор.

— Почему? — спросил Сергей Федорыч коллегу.

— Потому, — стал внятно, жестко, но не зло пояснять лысый профессор, — что ты его не знаешь. Не понимаешь. Не чувствуешь, выражаясь дамским языком. И не суйся ты в это дело. И не срамись: и себя подведешь и парня... поставишь в глупое положение. Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот... И фамилия его — не Каратаев. Как ты еще не устал от своего идеализма! Даже удивительно.

— Жалко, Лев Николаич помер — послушал бы хоть. Тоже был идеалист безнадзорный.

— В отношении мужичка — да, был идеалист.

— Ну и как же его фамилия? Мужичка-то нынешнего? Полупроводник Шестеркин?

— Не знаю. Я, видишь ли, не специалист здесь, в отличие от... некоторых. Наверно, не Шестеркин, но и не Каратаев. И не Сивкин-Буркин. Не смейся, Серега, народ честной, не смейся.

— Посмотрим.

И вот вышел Иван на трибуну...

Профессор и Нюра сидели за столом. Лысый профессор — в зале.

— Уважаемые товарищи! — громко начал Иван. — Меня Сергей Федорыч попросил рассказать вам... как я думаю про жизнь. Я хорошо думаю, товарищи!

В зале засмеялись.

— Я родился в крестьянской семье... Нюра — тоже в крестьянской. Значит... воспитывались там же, то есть в крестьянской семье. Я окончил шесть классов, Нюра прихватила восьмилетку. За границей не были...

В зале опять засмеялись.

— Что он делает? — негромко спросил профессор Нюру.

Нюра, очень довольная, сказала:

— Выступает. А что?

— Я по профессии механизатор, тракторист. Норму...

— А Нюра? — спросили из зала.

Нюра привстала и сказала:

— Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю.

— Даже перевыполняет, — продолжал Иван.

— На сколько процентов?! — опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и не злой.

— Процентов, — поправил Иван. — Нюся, на сколько процентов, я забыл?

Нюра опять привстала.

— На тридцать-сорок.

— На тридцать-сорок, — сказал Иван. — Вот гляжу на вас, молодой человек, — тоже весело и не зло продолжал Иван, глядя на гривастого парня, — и вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу. Была у меня в молодости кобыла... Я на ней копы возил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у Селедки, стало быть, — Иван наладился на такую дурашливо-сказочную манеру, малость даже стал подвывать, — была невиданной красоты грива. А бригадиром у нас был Гришка Коноплев, по прозвищу Дятел, потому что он ходил всегда с палочкой и все время этой палочкой себя по голенищу стучал, и вот этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: "Ванька, веди сюда свою Селедку, мы ей гриву обкорнаем. Я видел в кино, как сделано у коня товарища маршала на параде". Привел я Селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее гривы. Стало как у коня товарища маршала. Но что делает моя Селедка? Она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается... Хот ты что с ней делай. Уж сам Дятел пробовал надевать — ни в какую! Кусается и задом норовит накинуть... Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун. Мы — к нему. Он нам и говорит: "Отпустите ее на волю на недельку... Пусть она одна побудет, привыкнет без гривы-то. На кой, говорит, черт вы ей гриву-то отхватили, оглоеды?" Вот, товарищи, какой случай был. Теперь насчет...

— Почему кобылу звали Селедкой? — спросили из зала весело. Опять гривастый спросил.

— Почему Селедкой-то? А худая. Худая, как селедка. Там только одна грива и была-то.

Засмеялись.

...И профессор тоже невольно засмеялся. И покачал головой.

Нюра наклонилась к нему, спросила:

— Ну, как — ничего?

— Ничего, — сказал профессор. — Хитер мужик твой Иван. Хорошо выступает.

Нюра была польщена.

— Он умеет, когда надо...

— Иван, — спросил профессор Сергей Федорыч, когда ехали в машине из университета оба профессора, Иван и Нюра, — скажи, пожалуйста, зачем ты про кобылу-то рассказывал? Про Селедку-то...

Лысый профессор громко засмеялся.

Иван улыбнулся...

— Да повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик.

— А тебе что, трудно пришлось?

— Да не то чтоб уж трудно... Я же не знал, что они улыбаться начнут. А что, плохая история? С кобылой-то.

— Славная история, Иван! — воскликнул лысый профессор. — Славная. Жалко — про Вавилон еще не поговорили.

— Про какой Вавилон? — спросил Иван.

— Про город. Есть, видишь ли, люди, которым очень не нравится город...

— Не город, — поправил профессор Сергей Федорыч, — а Вавилон. Надо быть точным, даже если... передергиваешь карты.

— Вавилон, — согласился лысый профессор. И перевел Ивану: — Вавилон — это большой-большой город. И вот есть люди...

— Большой-большой недостроенный город, — опять уточнил Сергей Федорыч.

— Да. Так вот есть люди, которые прекрасно устроились в этом Вавилоне, с удобствами, так сказать но продолжают всячески поносить...

— Нет,— резко сказал Сергей Федорыч,— это... Так нельзя. Это шулерство. Ты хочешь спросить Ивана: нравится ли ему город?

— Не совсем так...

— А как?

— А мне так нравится! — воскликнула Нюра.

— Мне тоже нравится,— сказал Иван.— Зря вы спорите, товарищи. Жить можно. Чего вы?

Профессора засмеялись.

Из Москвы Иван двинул домой второе письмо.

“Уважаемые родные, друзья!

Пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон! Я бы даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете... Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе — не удивляйтесь: здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, исходил, говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрену туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие, но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. Вообще-то ничего, но... профессора коробит. Мени тоже.

Сегодня в 22.30 отбываем на юг.

Иван”.

И вот — юг.

Иван объяснился для начала с директором санатория. В его, директорском, кабинете.

— Как — с вами? — не понимал директор.— У вас же только одна путевка.

— Больше колхоз не дал... Не было.

— Так зачем же было ее везти с собой?

— А что же? Я один буду по санаториям прохладиться, а она — дома сидеть? Несправедливо. Ей же тоже охота хоть раз в жизни на море побывать.

— Вы что, серьезно? — не понимал директор, крупный, толстый, в дорогом светлом костюме. — Вы не разыгрываете меня?

— Кто — я? Бог с вами!

— А где ваша жена?

— А вон! — Иван показал на окно. — Вон она сидит.

Директор подошел, посмотрел вниз.

Во дворе санатория у фонтана с каменными лебедями сидела Нюра.

Директор прошелся по кабинету.

— Вы сделали большую глупость.

— Почему?

— Ее придется отправлять назад...

— Почему? — Иван с этими своими "почему" способен был вызвать раздражение. И он вызвал раздражение.

— Да потому! "Почему..." Потому, что так никто не поступает: взять одну путевку и везти с собой еще жену.

— Но ей же тоже охота...

— Что вы дурачка-то из себя строите? Чего дурачка-то строите?

— Почему?

— А где она жить будет?

— Со мной.

— Да как — с вами-то? Как?

— Но мне же положена одна комната...

— Так...

— Поставим раскладушку...

Директор в изумлении хлопнул себя по ляжкам.

— Феноменально! А тещу вы не могли прихватить с собой?

— Не трогайте мою тещу! — обиделся Иван. Обиделся и осердился: — Таковую тещу, как у меня, — поискать! И нечего ее трогать.

— Идите устраивайтесь, — тоже осердился директор. — Ни о каких раскладушках, конечно, не может быть речи.

Иван растерялся... Долго молчал.

— А куда же она?

— Куда хотите. Вы что, думали, здесь Дом колхозника, что ли?

Ивану пришла в голову какая-то, как видно, толковая мысль.

— Счас, одну минуточку,— сказал он.— Я к жене схожу... — И вышел.

— Ну? — спросила Нюра.

— Уперся... Слушать не хочет.

— Да ты попроси хорошенько! Скажи, мол, издалека приехали...

— Просил всяко! Не могу, говорит. Это... чего я подумал: может сунуть ему? Рублей двадцать...

— Ну-ка да не возьмет?

— Да возьмет, поди, куда он денется? Или мало — двадцать?

— Да хватит!

— Может, четвертак? Ведь месяц почти жить...

— Ну, дай, черт с им! Только уж пусть он лучше комнату-то подберет. Побольше.

— Ну, сделает, наверно!..

— Хорошо бы, если б из окошка-то вот этот бы фонтан видно было. Прямо глаз не оторвать — до того глянется. Хорошо-то как здесь, господи! Рай.

— Вот черт, понимаешь... — стал мучиться Иван.

— Чего ты?

— Не умею я давать-то... не приходилось.

— Сунь ему в руку...

— Сунь! Тут кто кому сунет — я ему или он мне... Как сунешь...

— Ну, парень!.. Как же теперь? Надо как-то выходить из положения.

— Пойдем вместе? — сказал Иван.

— А я-то чего там?

— Ну, я, может, похрабрей буду...

— Да хуже только: так — с глазу на глаз, а так — свидетель. Иди, не бойся. Ну, не возьмет — не возьмет: в лоб не ударит.

— Да если б ударил-то — это бы полбеды, а то потянут за взятку-то. Отдохнешь... в другом месте, елки зеленые. Будешь там заместо отдыха... печки-лавочки делать.

— Как же быть-то?

— погоди, счас, может насмелюсь... Черт, никогда с этим не приходилось! Шофера, те привычные... Ладно, пошел.

В кабинете директора, когда туда опять вошел Иван, сидела некая милая женщина, по виду врач.

— Подождите минутку,— сказал директор Ивану.

Иван понял так, что надо подождать здесь, в кабинете. И присел на стул.

Женщина-врач посмотрела на Ивана... И решила, что при нем можно рассказывать свое.

— Я говорю, но послушайте, укол всегда болезнен. Нет, говорит, присылайте другую сестру. Иначе буду жаловаться. Представляете? Что в таком случае...

— Минутку,— сказал директор. И повернулся к Ивану.— В чем дело? Что у вас еще? Я же вам сказал: идите устраивайтесь.

— Вы беседуйте, беседуйте,— вежливо молвил Иван.— Я подожду.

— Нина Георгиевна, зайдите, пожалуйста, через... десять минут. Мы вот с товарищем тут...

— Хорошо.

Женщина вышла.

Директор изготавился, видно, говорить строго.

— Слушаю.

Иван подошел к столу, посмотрел на директора — в глаза ему в самые — и выложил на стол ассигнацию в 25 рублей.

— Сойдемся?

Директор... молчал.

— Что? — спросил Иван.— У меня больше нету: осталось здесь пожить и на обратную дорогу.

Директор посмотрел на бумажку... Потрогал ее.

— Я бы больше дал, нету,— еще сказал Иван.

— Ладно,— решил вдруг директор. Встал.— Устрою твою жену. А деньги возьми.

— Да без этих-то я обойдусь!..— запротестовал Иван.— Бери!

Директор засмеялся.

— Что? — спросил Иван.

— Возьми деньги,— велел директор.— Откуда приехали-то?

— С Алтая.— Иван вышел на балкон и крикнул Нюре: — Заходи!

Нюра подошла ближе к балкону и спросила негромко, но так, чтоб Иван — на втором этаже — слышал:

— Взял?

— Потом. Счас я иду к тебе.

В бассейне, где били вверх струйки воды, плавали каменные лебеди.

И вот вышли они к морю!..

— А народу-то! — заорал Иван.

— Не ори,— сказала Нюра. И засмеялась.

Они подошли к воде... Иван скоренько разделся до трусов. Нюра пока не стала, присела так, на камушки.

— Море, море!..— сказал Иван вдохновенно, оглядел, зачарованный, даль морскую, залитую солнцем... Подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и вскрикнул: — А холодная-то!

— Холодная? — испугалась Нюра.

Иван засмеялся.

— Я шучу. Молоко парное!.. Раздевайся.

И третье письмо написал Иван — с моря. Оно начиналось словами:

“Здравствуйте, дорогие мои!

Стою на берегу моря! Если смотреть прямо — будет Турция. Справа и слева от меня — голые счастливые люди. Да и сам я — в одних трусиках щеголяю. А Нюра смеется, дурочка...”

КАЛИНА КРАСНАЯ

История эта началась в исправительно-трудовом лагере, севернее города "Н", в местах прекрасных и строгих.

...Был вечер после трудового дня.

Люди собрались в клубе...

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню "Вечерний звон"!

На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора — один за одним. Они стали так, что образовали две группы — большую и малую. Хористы все были далеко не "певучего" облика.

— В группе "Бом-бом", — возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу, — участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.

Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент "ударили" с чувством:

— Бом-м, бом-м...

В группе "Бом-бом" мы видим и нашего героя — Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженного. Он старался всерьез и, когда "звонили", морщил лоб и качал круглой крестьянской головой — чтобы похоже было, что звук "колокола" плывет в вечернем воздухе.

Так закончился последний срок Егора Прокудина. Вперед — воля.

Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор:

— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? — спросил начальник. Он, видно, много-много раз спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то готовые.

— Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко.

— Да это-то я понимаю... А как? Как ты это себе представляешь?

— Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник.

— Товарищ.

— А? — не понял Егор.

— Теперь для тебя все — товарищи, — напомнил начальник.

— А-а! — с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже посмеялся своей забывчивости. — Да-да... Много будет товарищей!

— А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло? — искренне поинтересовался начальник.

— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще, люблю, знаете, природу. Куплю корову...

— Корову? — удивился начальник.

— Корову. Вот с таким выем. — Егор показал руками.

— Корову надо не по вымя выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее — вот такое! — вымя? А то выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя... Толку-то что? Корова должна быть... стройная.

— Так это что же тогда — по ногам? — сугоничал Егор с вопросом.

— Что?

— Выбирать-то. По ногам, что ли?

— Да почему "по ногам"? По породе. Существуют породы — такая-то порода... Например, холмогорская. — Больше начальник не знал.

— Обожаю коров, — еще раз с силой сказал Егор. — Приведу ее в стойло... поставлю...

Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга.

— Корова — это хорошо, — согласился начальник. — Только... что ж ты, одной коровой и будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?

— У меня много профессий...

— Например?

Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее... как бы это сказать — меньше всего пригодную для воровских целей.

— Слесарь...

Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— Да. Да... А какой урок-то был? Тема-то какая? “Евгений Онегин”? Так, а насчет кого они вопросы-то стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно в Татьяне? Что, говорю, им там... — Начальник некоторое время слушал тонкий крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой — что все ясно. — Пусть... Слушай сюда: пусть они там демагогией не занимаются! Что значит — будут дети, не будут дети?!.. Про это, что ли, поэма написана! А то я им приду объясню! Ты им... Ладно, счас Николаев придет к вам. — Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно сказал: — Доценты мне... Николаев? Там у учительницы литературы урок сорвали: начали вопросы задавать. А? “Евгений Онегин”. Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны: будут у нее дети от старика или не будут? Иди разберись. Давай. Во, доценты, понимаешь! — сказал еще начальник, кладя трубку. — Вопросы начали задавать.

Егор посмеялся, представив этот урок литературы.

— Хотят знать...

— У тебя жена-то есть? — спросил начальник строго.

Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял фотографию, посмотрел...

— Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления.

На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная.

— Будущая, — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. — Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел.

— Как это?

— Заочница. — Егор потянулся, взял фотографию. — Позвольте. — И сам засмотрелся на милое русское простое лицо. — Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а! Это удивительно. Да? На работницу сберкассы похожа.

— И что она пишет?

— Пишет, что беду мою всю понимает... Но, говорит, не понимаю: как ты додумался в тюрьму угодить? Хорошие письма. Покой какой-то от них... Муж был пьянчуга — выгнала. А на людей все равно не обозлилась.

— А ты понимаешь, на что ты идешь? — негромко и серьезно спросил начальник.

— Понимаю,— тоже негромко сказал Егор. И спрятал фотографию.

— Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой... Ванька с Пресни заявишься.— Начальник недовольно оглядел Егора.— Что это за... Почему так одет-то?

Егор был в сапогах, в рубашке-косоворотке... Фуфайка и какой-то форменный картуз должны были вовсе снять всякое подозрение с Егора — не то это сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности.

Егор мельком оглядел себя, усмехнулся.

— Так надо было по роли. А потом уже некогда было переодеваться. Не успел.

— Артисты...— только и сказал начальник. И засмеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов.

И вот она — воля!

Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вздохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой... Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась...

— Вам плохо?

— Мне хорошо, мать,— сказал Егор.— Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться.

— Куда садиться? — не поняла старушка.

— В тюрьму.

Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и посеменила дальше. Глянула еще на забор, мимо которого шла... Опять оглянулась на Егора.

А Егор поднял руку навстречу "Волге". "Волга" остановилась. Егор стал договариваться с шофером куда-то ехать. Шофер сперва не соглашался, Егор достал из кармана пачку денег, показал... и пошел садиться.

Он сел рядом с шофером.

В это время к ним подошла та старушка, которая проявила участие к Егору. Не поленилась перейти улицу.

— Я прошу извинить меня,— заговорила она, склоняясь к Егору.— А почему именно весной?

— Садиться-то? Так весной сядешь — весной и выйдешь. Весна и весна! Чего еще человеку надо? — Егор засмеялся старушке и продекламировал: — “Май мой синий! Июнь голубой!”

— Вон как!..— Старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня — туда же, по улице идет, где машины. У старушки было свежее печеное личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую минуту, дорогую минуту.

“Волга” поехала.

Старушка еще некоторое время смотрела вслед ей. И сказала:

— Скажите... Поэт нашелся. Фет.

А Егор весь отдался движению...

Кончился поселок, выехали на простор.

— Нет ли у тебя какой музыки? — спросил Егор.

Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за себя транзисторный магнитофон.

— Включи. Крайняя клавиша...

Егор включил какую-то славную музыку... Откинулся головой на сиденье, закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался...

— Рад? — спросил шофер.

— Рад? — очнулся Егор.— Рад...— Он точно на вкус попробовал это словцо.— Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую — отдал тебе, а третью прожил бы сам — как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты радоваться умеешь? — Егор, от полноты чувства, мог иногда избежать повыше — где обитают слова красивые и пустые.— Умеешь, нет?

Шофер пожал плечами. Ничего не сказал.

— Э-э, тухлое твое дело, сынок,— не умеешь: кислую фигуру изобразил.

— А чего радоваться-то?

Егор вдруг стал серьезным. Задумался. У него это тоже было — вдруг ни с того ни с сего задумается.

— А? — спросил Егор машинально.

— Чего, мол, шибко радоваться-то? — Шофер был парень трезвый и занудливый.

— Ну, это я, брат, не знаю — чего радоваться, — заговорил Егор, с неохотой возвращаясь из своего далекого далека — из своих каких-то мыслей. — Умеешь — радуйся, не умеешь — сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?

Тусклый парень опять неопределенно пожал плечами.

— Вот видишь, — с сожалением сказал Егор, — а ты радоваться собрался.

— Я и не собирался радоваться.

— Стихи надо любить, — решительно закруглил Егор этот вялый разговор. — Слушай, какие стихи бывают. — И Егор прочитал — с пропуском, правда, потому что подзабыл, — стихи:

*“...В снежную выбель
Замешалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу тебе выхожу.*

*Город, город! Ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске...” — какой-то...*

Тут подзабыл малость...

“...Телеграфными столбами даваясь...”

Тут опять забыл, дальше:

*“...Ну, так что ж? Ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.
Пусть для сердца тягуче колко,
...Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.*

*Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.*

*О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу.*

*Как и ты — я, отовсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.*

*Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.*

*И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зарююсь в снегу..
Все же песню отмишенья за гибель
Пропоеют мне на том берегу”.*

Егор, сам оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед... И была в его сосредоточенном далеком взгляде решимость, точно и сам он давно бросил прямой вызов тем каким-то — “на том берегу” — и не страшился. И сам Егор в эту отрешенную минуту являл собой силу нешуточную, дерзкую. Жизнь, как видно, нелегкая, не сломала его, а только отковала фигуру крепкую, угловатую.

— Как стихи? — спросил Егор.

— Хорошие стихи.

— Хорошие. Как стакан спирту дернул, — сказал Егор. — А ты говоришь: не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка... я своих подружек встретил.

Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился. Егор вышел из машины... А был вокруг сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к одной березке, огляделся кругом.

— Вот же, курва, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью. — Здорово! Ишь ты какая... Невеста какая. Жениха ждешь? Скоро уж, скоро. — Егор быстро вернулся к машине. Все теперь понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно.

— Жми, Леша, на весь костыль. А то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь?

— Откуда!

— Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек?

— Двести.

— Беру за триста. Он мне понравился.

В областном городе, на окраине, Егор остановил машину, не доезжая того дома, где должны были находиться свои люди.

Щедро расплатился с шофером, взял свой музыкальный ящичек и дворами — сложно — пошел “на хату”.

“Малина” была в сборе.

Сидела приятная молодая женщина с гитарой... Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога, упорно смотрел на телефон... Сидели еще четыре девицы с голыми почти ногами... Ходил по комнате рослый молодой парень, временами поглядывал на телефон... Сидел в кресле Губошлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское... Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где — курили или просто так.

Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то обои, захватанные и тоже драные, совсем уж нехстати напоминали цветом своим весеннее небо, и от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокровенном мирке, тяжело. Про такие обиталища говорят, обижая зверей, — логово.

Все сидели в странном каком-то оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение было во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, странно-красиво пела (хрипловато, но очень душевно):

*“Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки
Характер вызнала.*

*Характер вызнала,
Характер, ой какой,
Я не уважила,
А он пошел к другой.*

А я...”

Во входную дверь негромко постучали условным стуком. Все сидящие дернулись, как от вскрика.

— Цыть! — сказал Губошлеп. И весело посмотрел на всех. — Нервы, — еще сказал Губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь.

Пошел рослый парень.

— Чепочка,— сказал Губошлеп. И сунул руку в карман. И ждал.

Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь... И поспешно скинул цепочку. И оглянулся на всех... Дверь закрылась...

И вдруг там грянул марш. Егор пинком открыл дверь и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с мест.

Егор убрал марш, удивленно огляделся.

К нему подходили, здоровались... Но старались не шуметь.

— Привет, Горе. (Такова была кличка Егора — Горе.)

— Здорово.

— Отпыхтел?

Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были не просто знакомые — была тут Люсьен (скуластенная), был, наконец, Губошлеп — их Егор рад был видеть. Но что они?

— А чего вы такие все?

— Ларек берут наши,— пояснил один, здороваясь.— Должны звонить... Ждем.

Очень обрадовалась Егору скуластенная женщина с гитарой. Она повисла у него на шее. И всего исцеловала. И глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от радости неподдельной.

— Горе ты мое!.. Я тебя сегодня во сне видела...

— Ну, ну,— говорил счастливый Егор.— И что я во сне делал?

— Обнимал меня. Крепко-крепко.

— А ты ни с кем меня не спутала?

— Горе!..

— А ну, повернись-ка, сынку! — сказал Губошлеп в кресле.— Экий ты какой стал!

Егор подошел к Губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал. Весело смотрел на Егора.

— Я вспоминаю один весенний вечер...— заговорил Губошлеп. И все стихли.— В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Все люди взволнованы — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один... Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: “Что пригорюнился, добрый молодец?” — “Да вот... горе у меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться”. Тогда молодой человек...

В это время зазвонил телефон. Всех опять как током дернуло.

— Да? — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога. И долго слушал. И кивал. — Все сидим здесь. Я не отхожу от телефона. Все здесь, Горе пришел... Да. Только что. Ждем. Ждем. — Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем.

— Начали.

Все пришли в нервное движение.

— Шампанзе! — велел Губошлеп.

Бутылки с шампанским пошли по рукам.

— Что за ларек? — спросил Егор Губошлепа.

— Кусков на восемь, — сказал тот. — Твое здоровье!

Выпили.

— Люсьен... Что-нибудь — снять напряжение, — попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый, глаза очень наглые.

— Я буду петь про любовь, — сказала приятная Люсьен. И тряхнула крашеной головой, и смаху положила ладонь на струны. И все стихли.

*“Тары-бары-растабары,
Чары-чары...
Очи-ночь.
Кто не весел,
Кто в печали,
Уходите прочь.*

*Во лугах, под кровом ночи,
Счастье даром раздают
Очи, очи...
Сердце хочет:
Поманите — я пойду!*

*Тары-бары-растабары...
Всхлип гармони...
Тихий бред.*

*Разбазарил — тары-бары,
Чары были,
Счастья — нет.*

Разбазарил — тары-бары...”.

Люсьен почти допела песню, как зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина.

— Да? — изо всех сил спокойно сказал Бульдог в трубку. — Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает-бывает. — Бульдог положил трубку. — В прачечную звонит, сука.

Все опять пришли в движение.

— Шампанзе! — опять велел Губошлеп. — Горе, от кого поклоны принес?

— Потом, — сказал Егор. — Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот, вишь, тут молодые люди незнакомые... Ну-ка, я познакомлюсь.

Молодые люди по второму разу с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой заглядывал им в глаза. И кивал головой и говорил: "Так, так..."

— Хочу плясать! — заявила Люсьен. И трахнула фужер об пол.

— Ша, Люсьен, — сказал Губошлеп. — Не заводись.

— Иди ты к дьяволу, — сказала подпившая Люсьен. — Горе, наш коронный номер!

И Егор тоже с силой звякнул свой фужер.

И у него тоже заблестели глаза.

— Ну-ка, молодые люди, дайте круг. Брысь!

— Ша, Горе! — повысил голос Губошлеп. — Выбрали время!

— Да мы же услышим звонок! — заговорили со всех сторон Губошлепу. — Пусть сбацают.

— Чего ты?

— Пусть выйдут!

— Бульдя же сидит на телефоне.

Губошлеп вынул платочек и, хоть запоздало, но важно, как Пугачев, махнул им. Две гитары дернули "барыню".

Пошла Люсьен... Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблукками в гроб свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями — чтоб отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже опрятной вдруг сделалась, сделалась родной и умной...

Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину, ничего, вроде особенного, не прыгал козлом — а больно тоже и хорошо. Хорошо у них выходило. Тайлось что-то за этой пляской — неизжитое, незабытое.

— Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа! — сказал Егор вполне серьезно. Вот, видно, тот выход, какой хотел. Такой ждалась и понималась желанная воля.

— Подожди, Егорушка, я не так успокою твою душу, — откликнулась Люсьен. — Ах, как я ее успокою! И сама успокоюсь.

— Успокой, Люсьен. А то она плачет.

— Успокою. Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: “Устала? Милая, милая... добрая... Устала”.

— Смотри, не клюнула бы эта голубка, — встрял в этот деланный разговор Губошлеп. — А то клюнет.

— Нет, она не злая! — строго сказал Егор, не глядя на Губошлепа. И жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали. На них хотелось без конца смотреть, и молодые люди смотрели, с какой-то тревогой смотрели, жадно, как будто тут заколачивалась некая отвратительная часть и их жизни тоже — можно потом выйти на белый свет, а там — весна.

— Она устала в клетке, — сказала Люсьен нежно.

— Она плачет, — сказал Егор. — Нужен праздник.

— По темечку ее... Прутиком, — сказал Губошлеп. — Она успокоится.

— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен. — Какие злые!

— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то... Плачет.

— Успокоим, Егорушка, успокоим. Я же волшебница, я все чары свои пушу в ход...

— Из голубей похлебка хорошая, — сказал ехидный Губошлеп. Весь он, худой, как нож, собранный, страшный своей молодой ненужностью, весь ушел в свои глаза. Глаза горели злобой!

— Нет, она плачет! — остервенело сказал Егор. — Плачет! Тесно ей там — плачет! — Он рванул рубаху... И стал против Губошлепа. Гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.

Губошлеп держал уже руку в кармане.

— Опять ты за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.

— Я тебе, наверно, последний раз говорю, — спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху. — Не тронь меня за болячку... Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.

— Я слышал.

— Эхх!..— огорчилась Люсьен.— Проза... Опять покойники, кровь... Брр... Налей-ка мне шампанского, дружок.

Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все.

Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку... Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки.

Первым вскочил с места Губошлеп. Он был стремительный человек, но все же он был спокоен.

— Сгорели,— коротко и ужасно сказал Бульдог.

— По одному — кто куда,— скомандовал Губошлеп.— Веером. На две недели все умерли! Время!

Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал.

— Ни одной пары! — еще сказал Губошлеп.— Сбор у Ивана. Не раньше десяти дней.

Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.

— Ты что, Горе? — спросил Губошлеп.

— Я?..— Егор помедлил в задумчивости.— Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством.

Люсьен и Губошлеп остановились над ним в недоумении.

— Каким “сельским хозяйством”?

— Уходить надо, чего ты сел?! — встряхнула его Люсьен.

Егор очнулся. Встал.

— Уходить? Опять уходить... Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящикек?.. А, вот он. Обязательно надо уходить? Может...

— Что ты! Через десять минут здесь будут. Наверно высладили.

Люсьен пошла к выходу.

Егор двинулся было за ней, но Губошлеп мягко остановил его за плечо. И мягко сказал:

— Не надо. Поговорим. Мы скоро все увидимся...

— А ты с ней пойдешь? — прямо спросил Егор.

— Нет,— твердо и, похоже, честно сказал Губошлеп.— Иди! — резко крикнул он на Люсьен, которая задержалась в дверях.

Люсьен недобро глянула на Губошлепа и вышла.

— Отдохни где-нибудь,— сказал Губошлеп, наливая в два фужера.— Отдохни, дружок,— хоть к Кольке Королю, хоть к Ваньке Самыкину, у него уголок хороший. А меня прости за... сегодняшнее. Но... Горе ты мое, Горе, ты же мне тоже на болячку жмешь, только не замечаешь. Давай. Со встречей. И до свиданья пока. Не горюй. Гроши есть?

— Есть. Мне там собрали...

— А то могу подкинуть.

— Давай,— передумал Егор.

Губошлеп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору. Пачку.

— Где будешь?

— Не знаю. Найду кого-нибудь. Как же вы так — завалились-то?..

В это время в комнату вскользнул один из молодых. Белый от испуга.

— Квартал окружили,— сказал он.

— А ты что?

— Я не знаю куда... Я вам сказать.

— Сам прет на рога Толстому,— засмеялся Губошлеп.— Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой, теленочек мой... За мной, братики!

Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы, но оттуда, с той стороны, послышались крепкие шаги патруля. Они — в другую сторону, но и оттуда раздались тоже шаги...

— Так,— сказал Губошлеп, не утрачивая своей загадочной веселости.— Что-то паленым пахнет. А, Егор? Чуешь?

— Ну-ка, сюда! — Егор втолкнул своих спутников в какую-то нишу.

Шаги с обеих сторон приближались...

И в одном месте, справа, по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря.

Губошлеп вынул из кармана наган...

— Брось, дура! — резко и зло сказал Егор.— Психопат. Может, те не расколются... А ты тут стрельбу откроешь.

— Та знаю я их! — нервно воскликнул Губошлеп. Вот сейчас, вот тут он, пожалуй, утратил свое спокойствие.

— Вот: я счас рвану — уведу их. У меня справка об освобождении,— заговорил Егор быстро, негромко, и уже выискивал глазами — в какую сторону рвануть.— Справка помечена сегодняшним числом... Я прикрытый. Догонят — скажу испугался. Скажу: бабенку искал, услышал свистки — испугался сдуру... Все. Не поминайте лихом!

И Егор ринулся от них... И побежал напропалую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног.

Егор бежал с каким-то азартом, молодо... Бежал да еще и приговаривал себе, подпевал первые попавшие слова. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел:

— Оп, тирдарпупия! Ничего я не видал, ох, никого не знаю!..

Он уже перебрался через эти трубы... Сзади в темноте совсем близко бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер.

Над ним загрохотали железные шаги...

Егор сидел, скрючившись, и довольно улыбался. И шептал:

— Да ничего я не видал, да никого не знаю.

Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал.

За ним опять устремились.

— Эх, ничего я не видал, эх, никого не знаю! Да никого не знаю! — подбадривал себя Егор. Маханул через какую-то высокую изгородь, побежал по кустам — похоже, попал в какой-то сад. Близко взлаяла собака. Егор кинулся вбок... Опять изгородь, он перепрыгнул и очутился на кладбище.

— Привет! — сказал Егор. И пошел тихо.

А шум погони устремился дальше — в сторону.

— Ну надо же — сбежал! — изумился Егор. — Всегда бы так, елки зеленые! А то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься, как ребенок.

И опять охватила Егора радость воли, радость жизни. Странное это чувство — редкое, сильное, наверное, глупое.

— Ох, да и ничего ж я не видал, да никого не знаю, — еще разок спел Егор. И включил свой славный ящичек на малую громкость. И пошел читать надписи на надгробиях. Кладбище огибала улица, и свет фар надолго освещал кресты, пока машина огибала угол. И тени от крестов, длинные, уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам... Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музычка Егорова — вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку.

— “Спи спокойно до светлого утра”, — успевал прочитывать Егор.

— “Купец первой гильдии Неверов...”. А ты-то как здесь?! — удивился Егор. — Тыща восемьсот девяносто... А-а, ты уже давно. Ну, ну, купец первой гильдии... “Едут с товарами в путь из Касимова...” — запел было негромко Егор, но спохватился.

— “Дорогому, незабвенному мужу — от неутешной вдовы”, — прочитал он опять. Присел на скамеечку, посидел некоторое время... Встал.

— Ну, ладно, ребята, вы лежите, а я пойду дальше. Ничего не сделаешь... Пойду себе, как честный фраер: где-то же надо, в конце концов, приткнуться голову. Надо же? Надо. — И все же еще он спел разок. — Да ничего ж я не видал, да никого ж не зна-аю.

И стал он искать, куда бы приткнуться.

У одной двери деревянного домика из сеней ему сурово сказали:

— Иди отсюда! А то я те выйду, покажу горе... Горе покажу и страдание.

Егор помолчал немного.

— Ну, выйди.

— Выйду!

— Выйдешь... Ты мне скажи: Нинка здесь или нет? — по-доброму спросил Егор мужика за дверью. — Только правду! А то ведь я узнаю... И строго накажу, если обманешь.

Мужик тоже помолчал. И тоже сменил тон, сказал дерзко, но хоть не так зло:

— Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят! Неужели нельзя сообразить? Шляются тут по ночам-то.

— Поджечь, что ли, вас? — вслух подумал Егор. И брякнул спичками в кармане. — А?

За дверью долго молчали.

— Попробуй, — сказал наконец голос. Но уже вовсе не грозно. — Попробуй подожги. Нет Нинки, я те серьезно говорю. Уехала она.

— Куда?

— На север куда-то.

— А чего ты сразу лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?..

— А потому что меня зло берет на вас! Из-за таких вот я уехала... С такими же вот.

— Ну, считай, что она в надежных руках — не пропадет. Будь здоров!

...В телефонной будке Егор тоже рассердился.

— Почему нельзя-то?! Почему? — орал он в трубку.

Ему что-то долго объясняли.

— Заразы вы все,— с дрожью в голосе сказал Егор.— Я из вас букет сделаю, суки: головками вниз посажу в клумбу... Ну твари! — Егор бросил трубку... И задумался.— Люба,— сказал он с дурашливой нежностью.— Все. Еду к Любе.— И он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу. И говорил дорогой:

— Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка... Оладушек ты мой сибирский! Я хоть отъежусь около тебя... Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдобная! — Егор все набирал и набирал какого-то остервенения.— Съем я тебя поеду! — закричал он в тишину, в ночь. И даже не оглянулся посмотреть — не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице; подморозило на ночь, асфальт звенел.— Задушу в объятиях!.. Разорву и схавая! И запью самогонкой. Все!

И вот районный автобус привез Егора в село Ясное.

А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее... В сердце толкнуло — она!

И пошел к ней.

— Е-мое,— говорил он себе негромко, изумленный,— да она просто красавица! Просто зоренька ясная. Колобок просто... Красная шапочка...

— Здравствуйте! — сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И подал руку.— Георгий.— И пожал с чувством крепкую крестьянскую руку. И на всякий случай потряхнул ее, тоже с чувством.

— Люба.— Женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора. Молчала. Тому — от ее взгляда — сделалось беспокойно.

— Это я,— сказал он. И почувствовал себя очень глупо.

— А это — я,— сказала Люба. И все смотрела на него спокойно и задумчиво.

— Я некрасивый, — зачем-то сказал Егор.

Люба засмеялась.

— Пойдем-ка посидим пока в чайной,— сказала она.— Расскажи про себя, что ли...

— Я непьющий,— поспешил Егор.

— Ой ли? — искренне удивилась Люба. И очень как-то просто у нее это получалось, естественно. Егора простота эта сбила с толку.

— Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но... это... не так чтоб засандалить там... Я очень умеренный.

— Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько.— Люба все смотрела на своего заочника... И так странно смотрела, точно над собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленная своим поступком: "Ну, не дура ли я? Что затеяла-то?" Но женщина она, видно, самостоятельная: и смеется над собой, а делает, что хочет.— Пойдем... Расскажи. А то у меня мать с отцом строгие, говорят: и не заявляйся сюда со своим арестантом.— Люба шла несколько впереди и, рассказывая это, оглядывалась, и вид у нее был спокойный и веселый.— А я им говорю: да он арестант-то по случайности. По несчастью. Верно же?

Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал. Но вида не подал.

— Да-да,— сказал он "интеллигентно".— Стечение обстоятельств, громадная невезуха...

— Вот и я говорю.

— У вас родители — кержаки?

— Нет. Почему ты так решил?

— Строгие-то... Попрут еще. Я, например, курю.

— Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит...

— И брат есть?

— Есть. У нас семья большая. У брата двое детей — большие уже: один в институте учится, другая десятилетку заканчивает.

— Все учатся... Это хорошо,— похвалил Егор.— Молодцы.— Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни.

Зашли в чайную. Сели в углу за столик. В чайной было людно, беспрестанно входили и выходили... И все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неудобно.

— Может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь? — предложил Егор.

— Зачем? Здесь вон как славно... Нюра, Нюр! — позвала Люба девушку.— Принеси нам, голубушка... Чего принести-то? — повернулась к Егору.

— Красненького,— сказал Егор, снисходительно поморщившись.— У меня от водки изжога.

— Красненького, Нюр! — Загадочное производила впечатление Люба: она точно играла какую-то умную игру, играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора, разгадал тот или нет, что это за игра?

— Ну, Георгий?..— начала она.— Расскажи, значит, про себя.

— Прямо как на допросе,— сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала с этим смешком, и Егор посерьезнел.

— Ну, что рассказывать? Я — бухгалтер, работал в ОРСе, начальство, конечно, воровало... Тут — бах! — ревизия. И мне намотали... Мне, естественно, пришлось отдуваться. Слушай,— тоже перешел он на “ты”.— Давай уйдем отсюда: они смотрят, как эти...

— Да пусть смотрят! Чего они тебе? Ты же не сбежал.

— Вот справка! — воскликнул Егор. И полез было за справкой в карман.

— Я верю, верю, господи! Я так — к слову. Ну, ну? И сколько же ты сидел?

— Пять.

— Ну?

— Все... А что еще?

— Это с такими ручищами ты — бухгалтер? Даже не верится!

— Что? Руки?.. А-а. Так это я их уже там натренировал...— Егор протянул руки со стола к себе.

— Такими руками только замки ломать, а не на счетах...— Люба засмеялась.

И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже.

— Ну а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером?

— Нет! — поспешно сказал Егор.— Бухгалтером я больше не буду.

— А кем же?

— Надо осмотреться... А можно малость попридержать коней, Люба? — Егор тоже прямо глянул в глаза женщины.— Ты как-то сразу погнала вмак: работа, работа... Работа — не Алитет. Подожди с этим.

— А зачем ты меня обманывать-то стал? — тоже прямо спросила Люба.— Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил...

— А-а,— протянул Егор, пораженный.— Вот оно что...— И ему стало легко и даже весело.— Ну, тогда гоню всю тройку под гору. Наливай.

И включил Егор музыку.

— А такие письма писал хорошие,— с сожалением сказала Люба.— Это же не письма, а целые... поэмы прямо целые.

— Да? — оживился Егор.— Тебе нравятся? Может, талант пропадает...— Он пропел: "Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы. Давай, Любовь, наливай. Централка, все ночи полные огня... Давай, давай!"

— А чего ты-то погнал? Подожди... Поговорим.

— Ну, начальничек, мля! — воскликнул Егор.— И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал. Да? Бухгалтером...— Егор сам хохотнул.— Бухгалтер... по учету товаров широкого потребления.

— Так чего же ты хотел, Георгий? — спросила Люба.— Обманивал-то... Обокрасть, что ли, меня?

— Ну, мать! Ты даешь: поехал в далекие края — две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.

— А чего же?

— Что?

— Чего хочешь-то?

— Не знаю. Может, отдых душе устроить... Но это тоже не то: для меня отдых — это... Да. Не знаю, не знаю, Любовь.

— Эх, Егорушка...

Егор даже вздрогнул и даже испуганно глянул на Любу: так похоже она это сказала: так говорила далекая преступная Люсьен.

— Что?

— Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору... только еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь. Запалишься и упадешь. У тебя правда, что ли, никого нету? Родных-то?..

— Нет, я сиротинушка горькая. Я же писал. Кличка моя знаешь какая? Горе. Вот мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не побирушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретишься... Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие... вполне презираю.

— Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть.

— Я не из-за денег иду.

— Из-за чего же?

— Никем больше не могу быть на этой земле — только вором.— Это Егор сказал с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить.

— Ое-ей! Ну, допивай да пойдем! — сказала Люба.

— Куда? — сам удивился Егор.

— Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? — Люба засмеялась. Ей тоже было легко с Егором, очень легко.

— Погоди... — не понимал Егор. — Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер...

— Ну уж, ты тоже выбрал профессию... — Люба качнула головой. — Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней — ну, осудили, мол. А ты, и правда-то не похож на жулика. Нормальный мужик... даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли?

— Между прочим, — не без фанаберии заговорил Егор, — к нашему сведению: я шофер второго класса.

— И права есть? — с недоверием спросила Люба.

— Права в Магадане. Я правду говорю.

— Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты — Горь! Бича хорошего нет на это горь. Пошли.

— Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я. — рецидивист, дурочка! Я ворюга несусветный. Я...

— Тише! Что, опьянел, что ли?

— Так. А в чем дело? — опомнился Егор. — Не понимаю, объясни, пожалуйста. Ну, мы пойдем... Что дальше?

— Пошли ко мне. Отдохни хоть с недельку... Украсть у меня все равно нечего. Отдышись... Потом уж поедешь магазины ломать. Пойдем. А то люди скажут: встретила — от ворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь мы тут какие!.. Сразу друг друга осудим. Да и потом... не боюсь я тебя чего-то, не знаю.

— Так... А папаша твой не приглубит меня... колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову.

— Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня.

Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине дома жила Люба со стариками, через стенку — брат с семьей.

Дом стоял на высоком берегу реки, за рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, широкий двор с постройками, баня на самой крутизне.

Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка, Михайловна, увидела в окно Любу и Егора.

— Гли-ка, ведет ведь! — всполошилась она. — Любка-то!.. Рестанта-то!..

Старик тоже приник к окошку...

— Вот теперь заживем! — в сердцах сказал он.— По внутреннему распорядку. Язви ты в душу! Вот это отчебучила дочь!

Видно было, как Люба что-то рассказывает Егору: показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой... Но больше взглядывал на дом Любы, на окна.

А тут переполох полный. Не верили старики, что кто-то, правда, придет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывала от Егора, все равно не верилось. А обернулось все чистой правдой.

— Ну, окаянная, ну, халда! — сокрушалась старуха.— Ну, чо я могла с халдой поделатъ? Ничо же я не могла...

— Ты вида не показывай, что мы напужались или ишо чего...— учил ее дед.— Видали мы таких... Разбойников! Стенька Разин нашелся.

— Однако и приветить ведь надо? — первая же и сообразила старуха.— Или как? У меня голова кругом пошла — не соображу...

— Надо. Все будем по-людски делать, а там уж поглядим: может, жизни свои покладем... через дочь родную. Ну, Любка, Любка...

Вошли Люба с Егором.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Егор.

Старики в ответ только кивнули... И открыто, прямо разглядывали Егора.

— Ну, вот и бухгалтер наш,— как ни в чем не бывало заговорила Люба.— И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по... этому, по...

— По недоразумению,— подсказал Егор.

— И сколько же сейчас дают за недоразумение? — спросил старик.

— Пять,— кротно ответил Егор.

— Мало. Раньше больше давали.

— По какому же такому недоразумению загудел-то? — прямо спросила старуха.

— Начальство воровало, а он списывал,— пояснила Люба.— Ну, допросили? А теперь покормить надо — человек с дороги. Садись пока, Георгий.

Егор обнажил свою стриженую голову и скромненько присел на краешек стула.

— Посиди пока,— велела Люба.— Я пойду баню затоплю. И будем обедать.

Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла — чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверно, надеялась на своих незлобивых родителей.

— Закурить можно? — спросил Егор.

Не то что тяжело ему было — ну и выгонят, делов-то! — но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше. Интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться хоть на малое время, а еще и надо было. Где-то надо было и пересидеть и осмотреться.

— Кури,— разрешил дед.— Какие куришь?

— “Памир”.

— Сigaretки, что ли?

— Сigaretки.

— Ну-ка дай я спробую.

Дед подсел к Егору... И все приглядывался к нему, приглядывался.

Закурили.

— Да какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб? — как бы между делом спросил дед.

Егор посмотрел на смекалистого старика.

— Да... — неопределенно сказал он.— Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели — ушел. Вот и попались...

Старуха выронила из рук полено. И села на лавку.

Старик оказался умнее, не испугался.

— Семерых?

— Семерых. Напрочь: головы в мешок поклали и ушли.

— Свят-свят-свят... — закрестилась старуха.— Федя...

— Тихо! — скомандовал старик.— Один дурак городит чего ни попадя, а другая... А ты, кобель, аккуратней с языком-то: тут пожилые люди.

— Так что же вы, пожилые люди, сами меня с ходу в разбойники записали? Вам говорят — бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну — из тюрьмы... Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят?

— Кто тебя в убийцы зачисляет? Но только ты тоже... того, что ты бухгалтер, это ты тоже... не заливай тут. Бухгалтер! Я бухгалтеров-то видел-перевидел!.. Бухгалтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У бухгалтера

голос слабенький, очки... и, потом, я заметил: они все курносые. Какой же ты бухгалтер — об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты Любке вон говори про бухгалтера — она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил: этот или за драку какую, или машину лесу украл. Так?

— Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец,— сказал Егор.— Цены бы не было. Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке белогвардейской?

Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. Чего, он и сам не знал. Слова очень уж зловещие.

— Ты чего это? — спросил он.— Чего мелешь-то?

— А чего так сразу смутился? Я просто спрашиваю... Хорошо, другой вопрос: колоски в трудные годы воровал с колхозных полей?

Старик, изумленный таким неожиданным оборотом, молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и поставил свой “допрос”, чтобы сбивать и не давать опомниться. Он видел в своей жизни мастеров этого дела.

— Затрудняетесь,— продолжал Егор.— Ну, хорошо... Ну, поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему, что ли: на собраниях часто выступаем?

— Ты чего тут Микитку-то из себя строишь? — спросил наконец старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито, но вдруг Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате.

— Видите, как мы славно пристроились жить! — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика.— Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна... Люди напрягают все силы... Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия, люди, можно сказать, занкаются от напряжения.

Егор наскочил на слово “напряжение” и с удовольствием смаковал его.

— Люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы... А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку! Вот так! Славно, славно... Будем лучше чужал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми...

— Да он с десяти годов работает! — встряла старуха.— Он с малолетства на пашне...

— Реплики — потом! — резковато осадил ее Егор. — А то мы все добренькие — когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана...

— Я — стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня восемнадцать похвальных грамот.

Егор остановился, очень удивленный.

— Так чего же ты сидишь, молчишь? — спросил он другим тоном.

— “Молчишь”... Ты же мне слова не даешь воткнуть!

— Где похвальные грамоты?

— Там, — сказала старуха, вконец тоже сбитая с толку.

— Где “там”?

— Вон, в шкафчике... все прибраны.

— Им место не в шкафчике, а на стенке! В “шкапчике”. Привыкли все по шкафчикам прятать, понимаешь...

В это время вошла Люба.

— Ну, как вы тут? — спросила она весело.

Она разругалась в бане, волосы выбились из-под платка... Такая она была хорошая! Егор невольно загляделся на нее.

— Все тут у вас хорошо? Мирно?

— Ну и ухаря ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик. — Ты гляди, как он тут попер!.. Чисто комиссар какой! — Старик засмеялся.

Старуха только головой покачала... И сердито поджала губы.

Так познакомился Егор с родителями Любы.

С братом ее, Петро, и его семьей знакомство произошло позже.

Петро въехал во двор на самосвале... Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окон. Наконец стал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетная.

— К Любке-то приехал... Этот-то заочник-то, — сразу сообщила она.

— Да? — нехотя полюбопытствовал Петро, здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах. — Ну и что? — Пнул баллон-другой. — Мм?

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия, то-се... А по роже видать — бандит.

— Да? — опять нехотя и лениво сказал Петро.— Ну и что?

— Да ничего. Надо осторожней первое время... Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.

— Да? — опять сказал Петро, продолжая пинать баллоны.— Ну и что?

— Ты иди глянь на него! Иди глянь! Вот так нашла себе!.. Иди глянь на него — нам же под одной крышей жить теперь.

— Ну и что?

— Ничего! — зависла голос Зоя.— У нас дочь-школьница, вот что! Заладил свое: “Ну и что? Ну и что?” Мы то и дело одни на ночь остаемся, вот что! “Ну и что”. Чтокала чертова, пень! Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит...

Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он “шагу не прибавит” — это как-то на него похоже: на редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочал головой и смотрел маленькими своими глазами — прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием. Спокойно.

— Вот счас с Петром вместе пойдете,— говорила Люба, собирая Егора в баню.— Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так: едешь свататься и даже лишней пары белья нету? Ну? Кто же так заявляется?

— На то она и тюрьма! — воскликнул старик.— А не курорт. С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные. Илюха вон Лопатин радикулит ездил лечить: корову целую ухнул, а приехал без копыя.

— Ну-ка вот, мужинны бывшие... Нашла. Небось годится.— Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны.

— То есть? — не понял Егор.

— Моего мужика бывшего...— Люба стояла с кальсонами в руках.— А чего?

— Да я что?! — обиделся Егор.— Совсем, что ли, подзаборник — чужое белье напялю. У меня есть деньги — надо сходить и купить в магазине.

— Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. А чего тут такого? Оно стираемое...

— Бери, чего?! — сказал старик. — Оно же чистое.

Егор подумал и взял.

— Опускаюсь все ниже и ниже, — проворчал он при этом. — Даже самому интересно... Я потом вам спою песню: "Во саду ли, в огороде".

— Иди, иди, — провожала его к выходу Люба. — Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся: он со всеми такой.

Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор.

— Бритых принимают? — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке.

— Всех принимают, — все тем же ровным голосом, каким он говорил "ну и что", сказал Петро.

— Будем знакомы, Георгий.

Егор протянул руку. И все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей, почему-то теперь уж хотелось. Люба, что ли?.. Видно, Люба — милая женщина, простецкая, не дура, какая-то родная сразу. — Я говорю, я — Георгий.

— Ну, ну, — сказал Петро, — Давай еще целоваться. Георгий — значит, Георгий. Значит, Жора...

— Джордж. — Егор остался с протянутой рукой. Перестал улыбаться.

— А? — не понял Петро.

— На! — с сердцем сказал Егор. — Курва, суюсь сегодня, как побирuşка!.. — Егор бросил белье на лавку. — Осталось только хвостом повилять. Что я тебе, дорогу перешел, что ты мне руку не соизволил подать?

Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил. Сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали.

— Чего ты? — спросил Петро. — Расселся-то?

— Иди мойся, — сказал Егор. — Я — потом. Я же из заключения... Мы после вас. Не беспокойтесь.

— Во!.. — сказал Петро. И, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел тазами, ковшом...

Егор прилег на широкую лавку, курил.

— Ну, надо же!.. — сказал он. — Как бедный родственник, мля.

В этот момент открылась дверь бани, из парного облака выглянул Петро.

— Чего ты? — спросил он.

— Чего?

— Чего лежишь-то?

— Я подкидывш.

— Во!..— сказал Петро. И усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки... Не выдержал и опять открыл дверь.— Ты пойдешь или нет?! — спросил он.

— У меня справка об освобождении! — чуть не заорал ему в лицо Егор.— Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя! Точно такой, за исключением маленькой пометки, которую никто не читает. Понял?

— Счас возьму и силком суну в тазик,— сказал Петро невыразительно.— И посажу на каменку. Без паспорта.

Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил:

— Со справкой.

Он хохотнул коротко.

— Вот это уже другой разговор! — Егор сел на лавке. И стал раздеваться.— А то начинается тут... Диплом ему покажи!

А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее и внушали.

— На кой ты его в чайную-то повела? — визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная.— Ведь вся уж деревня знает: к Любке тюремщик приехал! Мне на работе прямо сказали...

— Любка, Любка!..— насилу дозвалась мать.— Ты скажи так: если ты, скажи, просто так приехал — жир накопить да потом опять зауситься по свету,— то, скажи, уезжай седни же, не позорь меня перед людьми. Если, скажи, у тебя...

— Как это может так быть, чтобы у него семьи не было? Как? Что он, парень семнадцати годов? Ты думаешь свосй головой-то?

— Ты скажи так: если, скажи, у тебя чего худое на уме, то собирай монатки н...

— Ему собраться — только подпоясаться! — встрял в разговор молчавший до этого старик.— Чего вы навалились на девку? Чего счас с нее спрашивать? Тут уж — как выйдет, какой человек окажется. Как она за него может счас заручиться?

— Не пугайте вы меня, ради Христа,— только и сказала Люба.— Я сама боюсь. Что, вы думаете, просто мне?

— Вот!.. Я тебе чего и говорю-то! — воскликнула Зоя.

— Ты вот чего, девка... Любка, слышь? — опять затормошила Любу мать.— Ты скажи так: вот чего, добрый человек, иди седни ночуй где-нибудь.

— Это где же? — обалдела Люба.

— В сельсовете...

— Тыфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем одурели?! Гляди-ка: вызвали мужика да отправили его в сельсовет ночевать! Вот так да!.. Совсем уж нехристи какие-то.

— Пусть его завтра милиционер обследует, — не сдавалась мать.

— Чего его обследовать-то? Он весь налицо.

— Не знаю... — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу... Еще на карточке заметила: глаза какие-то... грустные. Вот хоть убейте вы меня тут — мне его жалко. Может, я и...

В это время из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле.

— Свари-ил! — кричал Петро. — Живьем сварил!..

Следом выскочил Егор с ковшом в руке.

К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.

— Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра. — Люди добрые, убили!..

— Не ори! — страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. — Чего ты?

— Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик.

— Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды — поддать, а он взял да меня окатил.

— А я еще удивился, — растерянно говорил Егор, — как же, думаю, он стерпит?.. Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем попробовал — прямо кипяток! Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверно. Наверно, думаю, кожа, как у быка, — толстая. Я же не знал, что надо на каменку...

— Пальцем потрогал, — передразнил его Петро. — Что, совсем уж?... Ребенок, что ли, малый?

— Я же думал, тебе окупнуться надо...

— Да я еще не парился! — заорал всегда спокойный Петро. — Я еще не мылся даже!.. Чего мне ополаскиваться-то?

— Жиром надо каким-нибудь смазать, — сказал отец, исследовав ожог. — Ничего тут страшного нету. Надо только жиру какого-нибудь... Ну-ка, кто?

— У меня сало баранье есть, — сказала Зоя. И побежала в дом.

— Ладно, расходитесь, — велел старик. — А то уж вон людишки сбегаются.

— Да как же это ты, Егор? — спросила Люба.

Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться:

— Понимаешь, как вышло: он уже наподдавал — дышать нечем — и просит: “Дай ковшик горячей”. Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести...

— “Бала-анс”, — опять передразнил его Петро. — Навел бы я те счас баланс — ковшом по лбу! Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если б там живой кипяток был?

— Я же пальцем попробовал...

— “Пальцем”!.. Чем тебя только делали, такого.

— Ну, дай мне по лбу, правда, — взмолился Егор. — Мне легче будет. — Он протянул Петру ковш. — Дай, умоляю...

— Петро... — заговорила Люба. — Он же нечаянно. Ну, что теперь?

— Да идите вы в дом, ей-богу! — рассердился на всех Петро. — Вон и правда люди собираться начали.

У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек шесть-семь любопытных.

— Чо там у их? — спросил вновь подошедший мужик у стоявших.

— Петро ихний... пьяный на каменку свалился, — пояснила какая-то старушка.

— Ох, е!.. — сказал мужик. — Так, а живой ли?

— Живой... Вишь, сидит. Чухается.

— Вот заорал-то, наверно!

— Так заорал, так заорал!.. У меня ажник стекла задрезали.

— Заорешь...

— Чо же, задом, что ли, приспособился?

— Как же задом? Он же сидит.

— Да сидит же... Боком, наверно, угодил. А эт кто же у их? Что за мужик-то?

— Это ж надо так пить! — все удивлялась старушка.

...Засиделись далеко за полночь.

Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их, старых, набралось за столом изрядно, человек двенадцать. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по двое, по трое.

— Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж-то вон куда выходила — в Краюшкино, ну!

— Правильно. За этого, как его? За этого...

- За Митьку Хромова она выходила!
- Ну, за Митьку.
- А Хромовых раскулачили...
- Кого раскулачили? Громовых? Здорово живешь?..
- Да не Громовых, а Хромовых!
- А-а. А то я слушаю — Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили.
- А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили...
- Правильно, он маслобойку держал.
- Кто маслобойку держал? Хромов? Это маслобойку-то Воиновы держали, ты чо! А Хромов, сам-то, гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно, а маслобойку Воиновы держали. Их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо из гурта взяли. Я ишо помню: амбар у их стали ломать — пимы искали, они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть.
- Нашли?
- Девять пар.
- Дак, а Митьку-то не тронули?
- А Митька-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но, все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкиной: чижало ему показалось после этого жить там.
- Погоди-ка, а кто же тада у их в Карасук выходил?
- Это Манька! Манька-то тоже ишо живая, в городе у дочери живет. Да тоже плохо живет! Это как-то стрела ее на базаре; жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, была, говорит, нужна, а ребятишки выросли — в тягость стала.
- Оно — так, — сказали враз несколько старух. — Пока водисся — нужна, как маленько ребятишки подросли — не нужна.
- Ишо какой зять попадет. Попадет обмылок какой-нибудь — он тебе...
- Какие они нынче зятя-то! Известное дело...
- Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила.
- А это Михаил, — показывала Люба братьев. — А это Павел и Ваня... вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило, в Берлине. Нам командир письмо присылал... Мне Ваню больше всех жалко, он такой веселый был. Везде меня с собой таскал, я маленькая

была. А помню его хорошо... во сне вижу — смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш... Во, строгий какой, а тамому всего только... сколько же? Восемнадцать ему было? Да, восемнадцать. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избили сильно... А больше нигде даже не царапнуло.

Егор поднял голову, посмотрел на Петра... Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак, он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный.

— Зато я его сегодня... ополоснул. Как черт под руку подтолкнул.

Люба склонилась к Егору и спросила негромко и хитро:

— А ты не нарочно его? Прямо не верится, что ты...

— Да что ты! — искренне воскликнул Егор. — Я, правда, думал, он на себя просит, как говорится — вызываю огонь на себя.

— Да ты же из деревни, говоришь, как же ты так подумал?

— Ну... везде свои обычаи.

— А я уж, грешным делом, подумала: сказал ему что-нибудь Петро не так, тот прикинулся дурачком да и плескнул.

— Ну!.. Что ж я?..

Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону... Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.

— Что, Жоржик?.. Сварил было?

— Ты прости, Петро.

— Да будет! Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.

Егор включил магнитофон. И грянул тот самый марш, под который Егор входил в "малину". Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он несколько странно звучал здесь, в крестьянской избе, — каким-то потусторонним ярким движением вломился в мирную беседу. Но движение есть движение: постепенно разговор за столом стих... И все сидели и слушали марш-движение.

А ночью было тихо-тихо. Светила в окна луна.

Егору постелили в одной комнате со стариками, за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет.

Люба спала в горнице. Дверь в горницу была открыта. И там тоже было тихо.

Егору не спалось. Эта тишина бесила.

Он приподнял голову, прислушался... Тихо. Только старик похрапывает да тикают ходики.

Егор ужом выскользнул из-под одеяла и, ослепительно белый, в кальсонах и длинной рубаше, неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло... Только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то.

Он дошел уже до двери горницы... И ступил уже шаг-другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, никакой не заспанный голос Любы:

— Ну-ка марш на место!

Егор остановился. Малость помолчал...

— А в чем дело-то? — спросил он обиженно, шепотом.

— Ни в чем. Иди спать.

— Мне не спится.

— Ну, так лежи... думай о будущем.

— Но я хотел поговорить! — стал злиться Егор. — Хотел задать пару вопросов...

— Завтра поговорим. Какие вопросы ночью?

— Один вопрос, — вконец обозлился Егор. — Больше не задам...

— Любка, возьми чего-нибудь в руки... Возьми сковородник, — сказал вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.

— У меня пестик под подушкой, — сказала Люба.

Егор пошел на место.

— Поше-ол... На цыпочках. Котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышат. Я все слышу. И вижу.

— Фраер!.. — злился шепотом Егор за цветастой занавеской. — Отдохнуть душой, телом. Фраер со справкой!

Он полежал тихо... Перевернулся на другой бок.

— Луна еще, сука!.. Как сдурела. — Он опять перевернулся. — Круговую оборону заняли, понял! Кого охранять, спрашивается?

— Не ворчи, не ворчи там, — миролюбиво уже сказала старуха. — Разворчался.

И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал: "Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся". (Пауза.) — И потом в белую тишину из-за занавески полетело еще, последнее, ученое: — Лихтенберг!

И паялилась в окошки луна.

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон... ругается лежит,— сказала старуха недовольно.— Первое место не занял, вишь.

— Это не я ругаюсь,— пояснил Егор,— а Лихтенберг.

— Я вот поругаюсь,— проворчал старик.— Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор.— Так сказал Лихтенберг! И он вовсе не ругается, а острит.

— Тоже, наверно, бухгалтер? — спросил старик не без издевки.

— Француз,— откликнулся Егор.

— А?

— Француз!

— Спице! — сердито сказала старуха.— Разговорились.

И стало тихо. Только тикали ходики.

И паялилась в окошки луна.

Наутро, когда отзавтракали и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал:

— Так, Любовь... Еду в город заниматься эки... ров... экипировкой. Оденусь.

Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор.

— Ехай,— сказала она тихо.

— А чего ты так смотришь? — Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней. И ему тоже стало грустно, но он грустить не умел — он нервничал.

— Как?

— Не веришь мне?

Люба долго опять молчала.

— Делай как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь — верю, не верю?... Верю я или не верю — тебя же это не остановит.

Егор нагнул свою стриженую голову.

— Я бы хотел не врать, Люба,— заговорил он решительно.— Мне всю жизнь противно врать... Я вру, конечно, но от этого... только тяжелей жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселся

и желательно с водкой. Поэтому сейчас не буду врать: я не знаю. Может, вернусь. Может, нет.

— Спасибо за правду, Егор.

— Ты хорошая, — вырвалось у Егора. И он засуетился, хуже того, занервничал. — Повело!.. Сколько же я раз говорил это слово! Я же его замусолил. Ничего же слова не стоят! Что за люди!.. Дай, я сделаю так. — Егор положил свою руку на руку Любы. — Останусь один и спрошу свою душу. Домой мне надо, Люба.

— Делай как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь — мне будет жалко. Жалко-жалко! Я, наверно, заплачу... — У Любы и теперь на глазах выступили слезы. — Но худого слова не скажу...

Егору вовсе стало невозможно: он не переносил слез.

— Так... Все, Любовь. Больше не могу — тяжело. Прошу прощенья.

И вот шагает он раздольным молодым полем... Поле непаханое, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает шибко. Решительно. Упрямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, — решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Падал и шел, падал, поднимался и шел, как будто в этом одном все исступление — чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого.

И вдруг за ним — невесть откуда, один за одним — стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все — его дружки, подружки, потертые, помятые, с неким бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор — шепчет. Шагает и шагает. А за ним толпа все прибывает... И долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и не оглядываясь с силой отмахнулся от всех и сказал зло, сквозь зубы:

— Ну, будет уж! Будет!

Оглянулся... Ему навстречу шагает один только Губошлеп. Идет и улыбается. И держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы... И Губошлеп пропал.

...А стоял Егор на дороге и поджидал: не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина — до города.

Одна грузовая показалась вдали...

Работалось и не работалось Любе в тот день... Перемогалась душой. Призналась неожиданно подруге своей, когда отдоились и молоко увезли и они выходили со скотного двора:

— Гляди-ка, Верка, присохла ведь я к мужику-то.

Сказала и сама подивилась такому.

— Ну, надо же! Болит и болит душа — весь день.

— Так совсем уехал-то? Чего сказал-то?

— Сам, говорит, не знаю.

— Да пошли ты его к черту! Плюнь. Какой! “Сам не знаю”! У него жена где-нибудь есть. Что говорит-то?

— Не знаю. Никого, говорит, нету.

— Врет! Любка, не дури: прими опять Кольку да живите. Все они пьют нынче! Кто не пьет-то? Мой вон позавчера пришел... Ну, паразит!..

И Верка, коротконогая живая бабочка, по секрету, негромко рассказала:

— Пришел, кэ-эк я его скалкой огрела! Даже сама напугалась. А утром встал — голова, говорит, болит, ударился где-то. Я говорю: пить надо меньше.

И Верка мелко-мелко засмеялась.

— И когда успела-то? — удивилась опять Люба своим мыслям.

— А? — спросила Верка.

— Да когда, мол, успела-то? Видела-то... всего сутки. Как же так? Неужели так бывает?

— Он за что сидел-то?

— За кражу... — И Люба беспомощно посмотрела на подругу.

— Шило на мыло, — сказала та. — Пьяницу на вора... Ну и судьбина тебе выпала! Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка, да его опять воровать потянет? Что тогда?

— Что? — не поняла Люба.

— Да воровать-то кинется?... Что тогда?

— Что тогда? Посадют.

— Ну, язви тебя-то! Ты что, полоумная, что ли?

— А я сама не знаю, чего я. Как сдурела! Самой противно... Вот болит и болит душа, как скажи, век я его знала. А знала — сутки. Правда, он целый год письма слал...

— Да им там делать-то нечего, они и пишут.

— Но ты бы знала, какие письма!..

— Про любовь?

— Да нет... все про жизнь. Он, правда, наверно, повидал много, черт стриженный. Так напишет — прямо сердце заболит, читаешь. И я уж и не знаю: то ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа — и все.

А Егор в это самое время делал свои дела в райгороде.

Перво-наперво он шикарно оделся...

Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстукe, в шляпе — руки в карманах.

Зашел на почту. Написал на телеграфном бланке адрес, сумму прописью и несколько слов приветa. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги.

— Деньги передать Губошлепу, — прочитала девушка за окошечком. — Губошлеп — это фамилия, что ли?

Егор секунду-две думал... И сказал:

— Совершенно верно, фамилия.

— А чего же вы пишете с маленькой буквы? Ну и фамилия!

— Бывают похуже, — сказал Егор. — У нас в тресте один был — Пистонов.

Девушка подняла голову. Она была очень миленкая девушка, глазастьенкая, с коротким тупым носиком.

— Ну и что?

— Ничего. Фамилия, мол, Пистонов. — Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе.

— Ну и... нормальная фамилия.

— Вообще-то нормальная, — согласился Егор.

И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся. И обеспокоился.

— Скажи, пожалуйста, — сунулся он в окошечко, — вот я приехал с золотых приисков, но у меня совершенно тут никаких знакомых...

— Ну и что? — не поняла девушка.

— У вас есть молодой человек? — прямо спросил Егор.

— А вам что? — Тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора.

— Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?

— Гражданин!.. — строго повысила голос девушка. — Вы не хамите тут! Вы деньги переводите? Вот и переводите.

Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять даже работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь: девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. К чему, спрашивается, эти разные штучки-дрючки?

— И сразу на арапа берут! — негромко возмущался он. — “Гражданин!..” Какой я вам гражданин? Я вам — товарищ и даже друг и брат.

Девушка опять подняла на него большие серые глаза.

— Работайте, работайте, — сказал Егор. — А то только глазами стрелять туда-сюда!

Девушка хмыкнула и склонилась к бланку.

— Шляпу, главное, надел, — не удержалась и сказала она, не глядя на Егора.

И квиточек отдала, тоже не глядя: положила на стойку и занялась другим делом. И попробуй отвлечи ее от этого дела.

— Шалашовки! — ругался Егор, выходя с почты. — Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Краков-вяк!.. — Он зашагал к вокзальному ресторану. — Польку-бабочку! — Он накалял себя. В глазах появился блеск, который свидетельствовал, что душа его стронулась и больно толкается в груди. Егор прибавил шаг. — Нет, как вам это нравится! Марионетки. Красные шапочки... Я вам устрою тут фигурные катания! Я наэлектризую здесь атмосферу и поселю бардак.

И дальше он вовсе бессмысленно бормотал под ногу, что влетит в голову:

— Парьям-па-пам, тарьям-папам!.. Тарьям-папам-па-пам-папам...

...В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку, официанту, бумажку в двадцать пять рублей и сказал:

— Спасибо. Сдачи не нужно.

Официант даже растерялся...

— Очень благодарю, очень благодарю...

— Ерунда, — сказал Егор.

И показал рукой, чтоб официант присел на минуточку.

Официант присел на стул рядом.

— Я приехал с золотых приисков, — продолжал Егор, изучая податливого человечка, — и хотел вас спросить: не могли бы мы здесь где-нибудь организовать маленький бардак?

Официант машинально оглянулся...

— Ну, я грубо выразился... Я волнуюсь, потому что мне деньги жгут ляжку.— Егор вынул из кармана довольно толстую пачку десятирублевых и двадцатипятирублевых.— А? Их же надо пристроить. Как вас зовут, простите?

Официант, при виде этой пачки, тоже очень обеспокоился, но изо всех сил старался хранить достоинство. Он знал: людям достойным платят больше.

— Сергей Михайлович.

— А? Михайлыч... Нужен праздник. Я долго был на Севере...

— Я, кажется, придумал,— сказал Михайлыч, изобразив сперва, что он внимательно подумал.— Вы где остановились?

— Нигде. Я только приехал.

— По всей вероятности, можно будет сообразить... Что-нибудь, знаете, вроде такого пикника — в честь прибытия, так сказать.

— Да, да, да,— заволновался Егор.— Такой небольшой бардак. Аккуратненький такой бардельеро... Забег в ширину. Да, Михайлыч? Вы мне что-то с первого взгляда понравились! Я подумал: вот с кем я вздохмачу мои деньги!

Михайлыч искренне посмеялся.

— А? — еще раз спросил Егор.— Чего смеешься?

— О'кей! — весело сказал Михайлыч.— Ми фас поньяль.

Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михайлыч и заходила и что-то тихонько спрашивала Михайлыча востроносая женщина с бородавкой на виске.

— Але-о! Любаша!..— кричал Егор.— Я говорю: я в военкомате! Никак не могу на учет стать! Поздно?.. А здесь допоздна. Да, да.— Егор кивнул Михайлычу.— Да, Любаша!..

Михайлыч приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко пошел мимо Егора... И когда был рядом, громко крикнул:

— Товарищ капитан! Можно вас на минуточку?!

Егор кивнул ему головой, что — “хорошо”, и продолжал разговаривать. А Михайлыч в это время беззвучно показушно хохотал.

— Любаша, ну что же я могу сделать?! Придется даже ночевать, наверно. Да, да...

Егор долго слушал и “дакал”. И улыбался и смотрел на фальшивого Михайлыча счастливо и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил: — Беспокоюсь, говорит. И жду.

— Жди, жди, дол... — подхватил быю угодливый Михайлыч, но Егор взглядом остановил его.

— Да, Любушка!.. Говори, говори: мне нравится слушать твой голосок. Я даже волнуюсь!..

— Ну дает! — прошептал в притворном восхищении Михайлыч. — Волнуюсь, говорит!.. — И опять засмеялся. Бесовестно он как-то смеялся: сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, поэтому он старался.

— Ночую-то? А вот тут где-нибудь на диванчике... Да ничего! Ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся! Да, дорогуша ты моя!.. Малышкина ты моя милая!..

У Егора это рванулось так искренно, так душевно, что Михайлыч даже перестал изображать смех.

— До свиданья, дорогая моя! До свиданья, целую тебя... Да я понимаю, понимаю. До свиданья.

Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михайлыча — смотрел и не видел его. И в эту минуту как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его по лицу, и лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жесткость, строптивость.

— Да... — сказал Егор очнувшись. — Ну, что, трактирная душа? Займемся развратом? Как там?

— Все готово.

— Халат нашли?

— Нашли какой-то... Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого!

— А ну?

Егор надел длинный какой-то халат, стеганный, местами вытертый... Огляделся.

— Больше нигде нету, — оправдывался Михайлыч.

— Хороший халат, — похвалил Егор. — Нну... как я велел?

Михайлыч вышел из комнаты...

Егор полулег с сигаретой на диван.

Михайлыч вошел и доложил:

— Народ для разврата собрался!

— Давай, — кивнул Егор.

Михайлыч распахнул дверь... И Егор, в халате, чуть склонив голову, стремительно, как Калигула, пошел развратничать.

“Развратничать” собрались диковинные люди, больше пожилые. Были и женщины, но какие-то на редкость все некрасивые, несчастные. Все сидели за богато украшенным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но вида не подал.

— Чего взгрустнули?! — громко сказал Егор.

И прошел во главу стола. Остановился и внимательно оглядел всех.

— Да-а,— не удержался он.— Сегодня мы оторвем от хвоста грудинку. Ну!.. Налили.

— Мил человек,— обратился к нему один пожилой, старик почти,— ты объясни нам: чего мы празднуем-то? Случай какой... или чего?

Егор некоторое время думал.

— Мы собрались здесь,— негромко, задумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского,— чтобы...

Вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех. И лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения.

— Братья и сестры,— проникновенно сказал он,— у меня только что... от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу.

Егор говорил серьезно, крепко, даже торжественно. Он даже несколько прошелся, сколь позволило место, и опять оглядел всех.

— Весна...— продолжал он.— Скоро зацветут цветочки. Березы станут зеленые...— Егор чего-то вовсе заволновался и помолчал. Он все еще слышал родной голос Любы, и это путало и сбивало.

— Троица скоро, чего же,— сказал кто-то за столом.

— Можно идти и идти,— продолжал Егор.— Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно говорю? Да потому что я, как курва, говорю и стыжусь своих же слов!

Егор всерьез на себя рассердился. И стал валить напропалую — зло и громко, как если бы перед ним стояла толпа несогласных.

— Вот вы все меня приняли за дурака — взял триста рублей ни за что выбросил... Но если я сегодня люблю всех подряд! Я весь нежный, как самая последняя... как корова, когда отелится. Пусть бардака не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я

нежный — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить друг друга!

Егор почти закричал это. И сильно стукнул себя несколько раз в грудь.

— Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирать?! Я не понимаю вас... — Егор прошелся за столом. — Не понимаю! Отказываюсь понимать! Я себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы. Все!!! Идите воруйте сами... Я сяду на пенек и буду сидеть тридцать лет и три года. Я шучу. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, я... не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо, даже сердце болит — но страшно. Мне страшно! Вот штука-то... — неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор.

Помолчал, опустив голову, потом добро посмотрел на всех и велел: — Взяли в руки по бутылке шампанского... взяли, взяли! Взяли? Откручивайте, там проволочки такие есть, — стреляйте!

Все задвигались, заговорили... Под шум и одобрение захлопали бутылки.

— Наливайте быстрее, пока градус не вышел! — распоряжался Егор.

— А-а, правда, — выходит! Давай стакан!.. Подай-ка стакан, кум! Скорей!

— Эх, язви тебя!.. Пролил маленько.

— Пролил?

— Пролил. Жалко добро такое.

— Да, штука веселая. Гли-ка, прямо кипит, кипит! Как набродило. Видно, долго выдерживают.

— Да уж, конечно! Тут уж, конечно, стараются...

— Ух, а шипит-то!..

— Милые мои! — с искренней нежностью и жалостью сказал Егор. — Я рад, что вы задвигались и заулыбались. Что одобряете шампанское... Я все больше и больше люблю вас!

На Егора стеснялись открыто смотреть — такую он порол чужь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры.

— Выпили! — сказал Егор.

Выпили.

— С ходу — еще раз! Давай!

Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник — дармовой.

— Ух ты, все шипит и шипит!

- Но счас уже поменьше. Уже сила ушла.
- Но вкус какой-то... Не пойму.
- Да, какой-то неопределенный.
- А?
- На вид — вроде конской мочи, а вкус какой-то... неясный.
- А чего-то оно в горле останавливается... Ни у кого не останавливается?
- Да, распирает как-то.
- Ага!.. И в нос бьет! Пей — хорошо!
- А вот градус-то и распирает.
- Да какой тут, к черту, градус — квас. Это газ выходит, а не градус.
- Так, оставили шампанское! — велел Егор. — Взяли в руки коньяк.
- А мы куда торопимся-то?
- Я хочу, чтоб мы песню спели.
- Э-э, это мы сумеем!
- Взяли коньяк!
- Взяли коньяк. Тут уж — что велят, то и делай.
- Налили по полстакана! Коньяк помногу сразу не пьют. И если счас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, — дам бутылкой по голове. Выпили!
- Выпили.
- Песню! — велел Егор.
- Мы же не закусили еще...
- Начинается... — обиженно сказал Егор. И сел. — Ну, ешьте, ешьте, все наесться никак не могут. Все бы ели, ели, ели!..
- Некоторые — совестливые — отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора.
- Да ешьте, ешьте! Чего вы?..
- Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь.
- Не захмелею. Ешьте.
- Ну, язви тебя-то! — громко возмутился один лысый мужик. — Что же ты, пригласил, а теперь попрекаешь?! Я, например, не могу без закуски, я моментально под стол полезу. Мне же неинтересно так. И никому неинтересно, я думаю.
- Ну и ешьте!

А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее, бедную, все допрашивали и допрашивали.

— Ну а чего же, военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха.

Знала бы Люба, как тут Егор “становился на учет”, одним бы только взглядом глянула... Но она не знала. Она терялась в догадках. И верилось ей и не верилось с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором, сама слышала его голос, и какие он слова говорил... Она и теперь еще, когда ее допрашивали, все говорила с ним мысленно. “Ну, Егор, с тобой не соскучишься,— говорила она.— Что же у тебя на уме, парень?”

— Любк?

— Ну.

— Какой же военкомат? Все на ночь запирается, ты чо!

— Нет, наверно, если он говорит, что ночует там...

— Да он наговорит, только развесь уши.

— Я думаю так,— решил старик.— Ему сказали: явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь — там люди военные. И он подумал, что лучше уж заночевать, чем завтра утром опять переться туда.

— Да он же и говорит! — обрадовалась Люба.— Ночую, говорит, здесь, на диване...

— Да все учреждения на ночь запираются! — стояла на своем старуха.— Вы что? Как это его там одного на ночь оставют? А он возьмет да печать украдет...

— Ну, мама!..

И старик тоже скорёжился на такую глупость.

— На кой она ему черт нужна, печать?

— Да я к слову говорю! Сразу “мама”! Слова не дадут сказать.

Егор налаживал хор из “развратников”.

— Мы с тобой будем заводить,— тормошил он лысого мужика.— А вы, как я махну, будете петь “бом-бом”. Пошли:

— “Вечерний зво-о-он...” — Егор махнул, но группа “бом-бом” не поняла.— Ну, чего вы?! — заорал Егор.

— Чего? — не поняли из группы.

— Где “бом-бом”?! Я же сказал: как махну — так “бом-бом”.

— Да ты махнул, а сам поешь...

— Наступай! Я оттого и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют. Тоска меня берет по родине... И я запел потихоньку. А вы свое: “бомм, бомм”. Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую,— это не ваше дело.

— Вроде в тюрьме человек сидит — тоскует,— подсказал Михайлыч.— Или в плену где-нибудь.

— В плену какие церкви? — возразили на это.

— Как же? У их же там тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно — церква, с колоколом. Верно же, Георгий?

— Да пошли вы!.. Только болтать умеете! — вконец рассердился Егор.— Во-от начнут говорить! И говорят, и говорят, и говорят... Чего вы так слова любите? Что за понос такой словесный?!

— Ну, давай. Ты не расстраивайся.

— Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы... Ну, пошли: — “Вечерний зво-он...”

— “Вечерний зво-он-он...”

— Бо-м, бо-ом, бо-о-ом...— вразнобой “забили на колокольне”, все спутали и погубили.

Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно:

— Валяйте любую. Не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте. Можете свой родной “камыш” затянуть.

Группа “бом-бом”, да и все, кто тут был, растерянно помолчали... Но вина и всевозможной редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и погоревали, но так, больше для очистки совести:

— Чего он?

— А вы уже тоже — “бом-бом” не могли спеть! — упрекнул всех Михайлыч, хозяин.— Чего там петь-то!

— Да разнобой вышел.

— Это Кирилл вон... Куда зачастил?

— Кто “зачастил”? — оскорбился Кирилл.— Я пел нормально — как вроде в колокол бьют. Я же понимаю, что там не надо частить. Колокол, его еще раскатать надо.

— А кто зачастил?

— Да ладно, чего теперь? Давайте, правда, он же велел гулять.

— Оно, конечно, того... вроде не заслужили, но, с другой стороны,— а если я не пою? Какого я хрена буду рот разевать, если у меня сроду голоса не было?

Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михайлыч.

— Георгий, ты уж прости — не вышло у нас... с колоколами-то.

Егор помолчал... И капризно спросил:

— А почему они все такие некрасивые?

Михайлыч даже растерялся.

— Дак... это... Георгий, красивые-то все — семейные, замужем. А я одиноких собрал, ты же сам велел.

Егор некоторое время сидел... И лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулась — вспомнилась в душе его какая-то радость.

— Ты можешь такси вызвать?

— Могу.

— До Низовки... Я заплачу, сколько он хочет. Звони! — Егор встал, прошелся... Сбросил халат и надел свой пиджак и поправил галстук.

— А зачем в Низовку-то?

— У меня там друг. — И опять стал взволнованно ходить.

— Чего ты? — спросил Михайлыч.

— Душа у меня... наскипидаренная какая-то, Михайлыч. Заведет куда-нибудь, курва! Как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони! Сколько ты собрал людей?

— Пятнадцать. С нами — семнадцать. А что?

— Вот тебе две сотни. Всем дать по червонцу, себе остальные. Не обмани! Я заеду узнаю.

— Да что ты, Георгий!..

И вот Георгий летел светлой лунной ночью по доброму большаку — в село, к Любе.

“Ну, что это, что это? — пытал себя Егор. — Что это я?” Беспокойство и волнение овладели им. Он уж забыл, когда он так волновался из-за юбки.

— Ну, как там... насчет семейной жизни? — спросил он таксиста. — Что пишут новенького?

— Где пишут? — не понял тот.

— Да вообще — в книгах...

— В книгах-то понапишут, — недовольно сказал таксист. — В книгах все хорошо.

— А в жизни?

— А в жизни... Что, сам не знаешь, как в жизни?

— Плохо, да?

— Кому как.

— Ну, тебе, например?..

Таксист пожал плечами — очень похоже, как тот парень делал, который продал Егору магнитофон.

— Да что вы все какие-то!.. Ну, братцы, не понимаю вас. Чего вы такие кислые-то все? — изумился Егор.

— А чего мне тут — хихихать с тобой? Ублажать, что ли, тебя?

— Да где уж ублажать! Ублажать — это ты свою бабу ублажай. И то ведь — суметь еще надо. А то полезешь к ней, а она скажет: “Отойди, от тебя козлом пахнет”.

Таксист засмеялся.

— Что, тебе говорили так?

— Нет, я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло.

Таксист глянул на Егора, но смолчал.

А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино, все как-то в голове спуталось из-за этой Любы.

И подъехали к большому темному дому. Егор отпустил машину... И вдруг оробел. Стоял с бутылками коньяка у ворот и не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота, в ограду Петра, поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо, потом скрипнула избяная дверь, легко, босиком, прошли по сениям, и голос Петра спросил:

— Кто там?

— Я, Петро. Георгий. Жоржик...

Дверь открылась.

— Ты чего? — удивился Петро. — Выгнали, что ли?

— Да нет... Не хочу будить. Ты когда-нибудь “Реми-Мартин” пил?

Петро долго молчал, всматривался в лицо Егора.

— Чего?

— “Реми-Мартин”. Двадцать рублей бутылка. Пойдем врежем в бане?

— Почто в бане-то?

— Чтоб не мешать никому.

— Да пойдем на кухне сядем...

— Не надо! Не буди никого.

— Ну дай я хоть обуюсь... Да закусить вынесу чего-нибудь.

— Не надо! У меня полные карманы шоколада, я весь уж провонял им, как студентка.

...В бане, в тесном черном мире, лежало на полу — от окошечка — пятно света... И зажгли еще фонарь. Сели к окошечку.

— Чего домой-то не пошел? — не понимал Петро.

— Не знаю. Видишь, Петро... — заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. Петро достал из кармана старых галифе два стакана. — Видишь — коньяк. Двадцать рублей, гад! Это ж надо!

Помолчали.

— Не знаю я, что и говорить, Петро. Сам не все понимаю.

— Ну, не говори. Наливай своего дорогого... Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет.

— Да не пахнет он клопами! — воскликнул Егор. — Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет?

— Дорогой, может, и не пахнет. А такой... нормальный, пахнет.

Ночь истекала. А луна все сияла. Вся деревня была залита бледным, зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо. Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще — тоже перед рассветом, когда в низинах незримо скапливается туман и сырость. Зябко и тихо.

И вдруг в тишине этой из бани донеслось:

*“Сижу за решеткой
В темнице сырой...” —*

завел первый Егор. Петро поддержал. И так неожиданно красиво у них вышло, так — до слез — складно и грустно:

*“Вскормленный в неволе орел
молодо-ой;
Мой грустны-ый товарищ, махая
крыло-ом,
Кровавую пищу клюет под окном...”*

Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так, увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе

и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Любе очень нравилось, что он пошел с ней — у нее было светлое настроение. И утро было хорошее — с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись.

— Чего загрустил, Егорша? — спросила Люба.

— Так... — неопределенно сказал Егор.

— В баню зачем-то поперлись... — Люба засмеялась. — И не бояться ведь! Меня сроду туда ночью не загонишь.

Удивился Егор:

— Чего?

— Да там же черти! В бане-то... Они там только и водятся.

Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу... И погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло, сам не думал.

— Правильно: никогда не ходи ночью в баню. А то эти черти... Я их знаю.

— Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала — это мой Коленька преподобный приехал...

— Какой Коленька?

— Да муж-то мой.

— А-а. А он что, приезжает иногда?

— Приезжает, как же.

— Ну? А ты что?

— Ухожу в горницу да запираюсь там. И сижу. Он трезвый-то ни разу и не приезжал, а я его пьяного прямо видеть не могу: он какой-то дурак вовсе делается. Противно, меня трясоти начинается.

Егор встрепнулся, услышав живые, гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. Оттого, может, и завела его житейская дорога так далеко вбок, что всегда, и смолodu, тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линией, но — резко, определенно.

— Да, да, да, — притворно посочувствовал Егор, — прямо беда с этими алкашами!

— Беда! — подхватила простодушная Люба. — Да беда-то какая! — горькая: слезы да ругань.

— Прямо трагедия. О, ё!.. — удивился Егор. — Коров-то сколько!

— Ферма... Вот тут я и работаю.

Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они... коровы-то, — повторял он. — Они, вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смо-отряют... — Егор помолчал... И вдруг, не желая этого, проговорился: — Я из

всего детства... мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице... Знаешь: зимой возют, а весной из-под снега вытаивает, на дорогах, на плетнях остается... Вот. А ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сено было еще... Прокололи. Кишки домой приволокла.

Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом.

А Егор — видно было — жалел, что у него вырвался этот рассказ, был недоволен.

— Чего смотришь?

— Егорша...

— Брось,— сказал Егор.— Это же слова. Слова ничего не стоят.

— Ты что, выдумал, что ли?

— Да почему!.. Но ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивая, как...

Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно и чуть стесняясь погладил ее по спине.

— Неужели тебя никогда не обманывали?

— Нет... Кому?

— Мгм.— Егор засмотрелся в ясные глаза женщины. Усмехнулся. Непонятно сказал: — Кошмар.— Все время хотелось трогать ее. И смотреть.

— Глянь-ка, директор совхоза идет,— увидела Люба.— У нас был...— Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего.

К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверно таких же лет, как Егор. Шел он твердой хозяйской походкой, с любопытством смотрел на Любу и на ее — непонятно кого — мужа, знакомого?

— Чего ты так уж разулыбалась-то? — неприятно поразился Егор.

— Он хороший у нас... Хозяйственный. Мы его уважасм. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Что, у нас были?

— Был у вас. Здравствуйте! — Директор крепко тряхнул руку Егора.— Что, не пополнение ли к нам?

— Дмитрий Владимирович, он — шофер,— не без гордости сказала Люба.

— Да ну? Хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить. Права есть?

— У него еще паспорта нету...— Гордость Любина скисла.

— А-а. А то поехали? Со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают... Боюсь, надолго.

— Егор!..— заволновалась Люба.— А? Район наш поглядишь. Поглянется!

И это живое волнение и слова эти нелепые — про район — подтолкнули Егора на то, над чем он пять минут назад негромко бы, искренне посмеялся.

— Поехали,— сказал он.

И они пошли с директором.

— Егор! — крикнула вслед Люба.— Пообедаешь в чайной где-нибудь! Где будете... Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он не знает еще!

Дмитрий Владимирович посмеялся.

Егор оглянулся на Любу... Некоторое время смотрел. Потом отвернулся и пошел с директором. Тот дождался его.

— Сам из каких мест? — спросил директор.

— Я-то? Я здешний. Из вашего района, деревня Листвянка.

— Листвянка? У нас нет такой.

— Как "нет"? Есть.

— Да нету! Я-то знаю свой район.

— Странно. Куда же она девалась?

Егору не понравился директор: довольный, гладкий... Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей.

— Была деревня Листвянка, я хорошо помню.

Директор внимательно посмотрел на Егора.

— Мда,— сказал он.— Наверно, сгорела.

— Наверно, сгорела. Жалко — хорошая была деревня.

— Ну, так поедешь со мной?

— Поеду. Мы же и идем — ехать. Правильно я вас понял?

И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера.

— Чего так со мной заговорил-то? — спросил директор.

— Как?

— Ну... как — Ванькой сразу прикинулся. Зачем?

— Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать.

— Ну-у, как же так? Как это можно биографию выдумать?

— Как? Так... Документов у меня никаких нету, кроме одной справки, никто меня тут не знает — чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать — я сын прокурора.

Директор посмеялся. И ему тоже Егор не понравился — какой-то бессмысленно строптивый.

— А что? Вон я какой — в шляпе, при галстук...— Егор посмотрел в зеркальце.— Чем не прокурорский сын?

— Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоремся вот на участкового — что делать?

— Вы — хозяин.

Подъехали к пасеке... Директор легко выпрыгнул из машины.

— У меня тут дельце одно... А то, хошь, пойдем со мной — старик медом угостит.

— Нет, спасибо.

Егор тоже вышел на волю.

— Я вот тут... пейзажем полюбуюсь.

— Ну, смотри.— И директор ушел.

А Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг... Подошел к березке, потрогал ее.

— Что?.. Начинаешь слегка зеленеть? Скоро уж, скоро... Оденешься. Надоело голой-то стоять? Ишь ты какая... Скоро нарядная будешь.

Из избушки вышел дед-пасечник.

— А что не зайдешь-то?! — крикнул Егору с крыльца.— Иди чайку стакан выпей!

— Спасибо, батя! Не хочу.

— Ну, гляди.— И дед ушел.

Вскоре вышел директор. Дед провожал его.

— Заезжайте почаще,— приветливо говорил дед.— Чай, по дороге. То и дело шмыгаете тут.

— Спасибо, отец, спасибо. Поехали.

Поехали.

— Вот...— сказал директор, устраивая какой-то сверток между сиденьями.— Есть вещество такое — прополис, пчелиный клей, иначе.

— Язву желудка лечить?

— Да. Что, болел? — повернулся директор.

— Нет, слышал просто.

— Да. Вот один человек заболел, надо помочь: хороший человек.

— Говорят, здорово помогает.

— Да, говорят, помогает.

Впереди показалась деревня.

— Меня ссадишь у клуба,— сказал директор,— а сам съездишь в Сосновку — здесь, семь километров: привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, найди — спроси, где он.

Егор кивнул.

Садил у клуба директора и уехал.

К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки... И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора пока окружили, и он что-то говорил и был очень уверен и доволен.

Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись.

Старики курили у штакетника.

На фасаде клуба висели большие плакаты... Все походило на праздник, к которому люди привыкли.

Клуб был новый, недавно выстроенный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял на земле старый кузов самосвала с застывшим цементом.

Егор привез бригадира Савельева... И пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума.

Егор прошел через зал клуба, где рассаживались рабочие совхоза... Поднялся на сцену и подошел сзади к директору.

Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой... Егор тронул его за рукав.

— Владимирыч...

— А? А-а. Привез? Хорошо. Жди.

— Нет...— Егор позвал директора в сторонку и, когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: — Вы сами умеете на машине?

— Умею. А что такое?

— Я больше не могу... Доехайте сами — не могу больше. И ничего мне с собой не поделать, я знаю.

— Да что такое? Заболел, что ли?

— Не могу возить... Я согласен: я дурак, несознательный, отсталый... Зек несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь, мне плохо! Я лучше буду на самосвале. На тракторе! Ладно? Не обижайся. Ты мужик хороший, но... Вот мне уже сейчас плохо — я пойду.

И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил,

как... Извинялся, что ли? А что извиняться-то? Не могу — не могу, все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою паялить... Тьфу!

Горько было Егору.

Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать... Тьфу! Нет, очень это горько.

Директор же, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему, он не все понял, то есть он ничего не понял.

Егор шел обратно перелеском.

Вышел на полянку, прошел полянку, потом опять начался лесок — погуше, покрепче.

Потом он спустился в ложок — там ручеек журчит. Егор остановился над ним.

— Ну надо же! — сказал он.

Постоял-постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок... А там открылась глазам березовая рощица, целая большая семья выбежала навстречу и остановилась.

— Ух ты!.. — сказал Егор.

И вошел в рощицу.

Походил среди березок... Снял с себя галстук, надел одной, особенно красивой, особенно белой, стройной, на грудь. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу... Отошел и полюбопытствовал со стороны на этих красавцев. И засмеялся.

— Ка-кие фраера! — сказал он. И пошел дальше. И долго еще оглядывался на этих нарядных красоток. И улыбался. На душе сделалось легче.

Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил... Время от времени принимался вдруг напевать: “За-чем вы, девушки, красивых любите?” Бросал петь, останавливался, некоторое время смотрел в окно или в стенку... И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался. И опять не мог... Он нервничал.

— Не переживай, Егор, — сказал дед, который тоже похаживал по комнате — к двери и обратно, сучил из суровых ниток лесу на перемет, которая концом была привязана к дверной скобке, и дед обшаркивал ее старой рукави-

цей. — Трактористом не хуже. Даже ишо лучше. Они вон по сколь час выгоняют!

— Да я не переживаю.

— Сплету вот переметы... Вода маленько посветлеет, пойдём с тобой переметы ставить — милое дело. Люблю.

— Да... Я тоже. Прямо обожаю переметы ставить.

— И я. Другие есть — больше предпочитают сеть. Но сеть — это... Поймать могут, раз; второе: ты с ней намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь — время-то сколько надо!

— Да... Попробуй покидай ее. "Зачем вы, девушки...". А Люба скоро придет?

Дед глянул на часы.

— Скоро должна придти. Счас уж сдают молоко. Сдадут, и придет. Ты ее, Егор, не обижай: она у нас — последыш, а последышка жалче всех. Вот пойдут детишки у самого — спомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей... Этого пьянчужку нанесло — насили отбрыкались.

— Да, да... С этими алкашами беда прямо! Я вот тоже... это... смотрю — прямо всех пересажаю бы чертей. В тюрьму! По пять лет каждому. А?

— Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь, — оживился дед, — под строгий изолятор, я бы их столкал! Всех, в кучу!

— А Петро скоро приедет?

— Петро-то? Счас тоже должен приехать. Пушай посидят и подумают.

— Сидеть — это каждый согласится. Нет, пусть поработают! — подбросил Егор жару.

— Да, правильно: лес вон валить!

— В шахты! В лес — это... на чистом-то воздухе, дурак согласится работать. Нет, в шахты! В рудники! В скважины!..

Тут вошла Люба.

— Вот те раз! — удивилась она. — Я думала, они где-нибудь ночью приедут, а он уж дома.

— Он не стал возить директора, — сказал дед. — Ты его не ругай — он объяснил почему: его тошнит на легковушке.

— Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор. И увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился.

В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале.

Егор пошел к нему... Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило.

Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром, потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. А Егор полез в кабину самосвала, за руль.

— Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Егор и Люба собрались куда-то ехать.

— Да я сама толком не знаю... Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу.

— Любка!.. — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью.

— Чего он такое затеял, этот Жоржик! — сказал вслух дед. — Это же что за жизнь такая чертова пошла — вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай...

И он скоренько тоже пошел на половину сына — спросить, куда это Егор повез дочь, вообще, куда они поехали?

— ...Есть деревня Сосновка, — объяснил Егор Любе в кабине, когда уже ехали, — девятнадцать километров отсюда...

— Знаю Сосновку.

— Там живет старушка, по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице...

— Где это ты узнал-то все?

— Ну, узнал... я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил разузнать про эту старуху, про ее детей — где они, живы ли?

— А зачем ему? Товарищу-то?

— Ну... Она родня ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так: подъедем, ты зайдешь... Нет, зайдём вместе, но расспрашивать будешь ты.

— Почему?

— Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай! — повысил голос Егор.

Нет, он, конечно, нервничал.

— Ну, ну! Ты только на меня, не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю. Ну?

— Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что, значит, он сидел с ее сы... это, с племянником. Ну, и самакинется расспрашивать. А товарищ мне наказал, чтоб я не говорил, что он в тюрьме... Фу-у! Дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть?

— Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь?

— Надо что-то выдумать. Например: ты из сельсовета... Нет, не из сельсовета, а из рай... этого, как его, пенсии-то намеряют?

— Райсобес?

— Райсобес, да, из райсобеса, мол, проверяю условия жизни престарелых людей. Расспроси, где дети, пишут ли?.. Поняла?

— Поняла. Все сделаю, как надо.

— Не говори "гоп"...

— Вот увидишь.

Дальше Егор замолчал. Был он непривычно строг и сосредоточен. Уловил чутьем удивление Любы... Через силу улыбнулся и сказал:

— Не обижайся, Люба, я помолчу. Ладно?

Люба тронула ладонью его руку... Сказала:

— Молчи, молчи. Делай как знаешь, не спрашивай.—
Такого Егора она сильнее любила и ничуть не обижалась.

— А что закричал... прости,— еще сказал Егор.—Я сам не люблю, когда кричат.

Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные корни, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывало, хваталась за ручку дверцы и смотрела на Егора. Егор смотрел вперед — рот плотно сжат, глаза чуть прищурены — весь во власти одного желания. И Люба поняла наконец то, что очень хотела понять в эти дни и о чем догадывалась: он очень сильный мужик, Егор. И потому ее так неудержимо повлекло к нему. Он сильный и надежный человек.

Просторная изба. Русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленный и снова мытый... Простой стол с крашеными столешницами. В красном углу — Николай-угодник.

Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору... Егор был в темных очках.

— Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она.— Рази через их видать?

Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал.

— Вот мне велели, бабушка, все разузнать,— сказала Люба.

Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике.

— Дак а чего узнавать-то? Мне плотют двадцать рублей...— Она снизу просто посмотрела на Любу.— Чего же еще?

— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а трое — в городах... Коля в Новосибирском на паровозе работает, Миша тоже там же, он дома строит, а Вера — на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали — всей семьей, внучатки уж большенькие, двое: мальчик и девочка.

Старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. И она тоже умела уходить в мыслях далеко куда-то — и ушла, перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу и сказала — так, чтоб не молчать, а то неловко молчать, о ней же заботятся:

— Вот... Живут.— И опять замолчала.

Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее.

— А еще двое?...— спросила Люба.

— А вот их-то... я и не знаю: живые они, сердешные душеньки, или нету их давно.

Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она скоро вытерла глаза фартуком.

— Не знаю. В голод разошлись по миру... Теперь не знаю. Два сына ишо, два братца... Про этих не знаю.

Зависла в избе тяжелая тишина... Люба не знала, что еще спрашивать,— ей было жалко бабушку. Она глянула на Егора... Тот сидел изваянием и все смотрел на Куделиху. И лицо его под очками тоже как-то вполне окаменело. Любе и вовсе не по себе стало.

— Ладно, бабушка...

Она вдруг забылась, что она из "райсобеса", подошла к старушке, села рядом, умело как-то — естественно, просто обняла ее и приглубила.

— Погоди-ка, милая, погоди — не плачь, не надо: глядишь, еще и найдутся. Надо же и поискать!

Старушка послушно вытерла слезы, еще покивала головой.

— Может, найдутся... Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян? Простецкая-то.

— Из крестьян, откуда же. Поискать надо сынов-то...

Егор встал и вышел из избы.

Медленно прошел по сениям... Остановился около уличной двери, погладил косяк, гладкий, холодный. И прислонился лбом к этому косяку и замер. Долго стоял так, сжимая рукой косяк так, что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни — все немного легче было бы. Но ни слезинки же ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше, что помогло бы в тяжкую минуту — ни табак, ни водка — ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там медленным огнем. И еще только твердил в уме, как молитву: "Ну, будет уж! Будет!"

Егор слышал в избе шаги Любы, откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка... И скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны... Снял очки, стал смотреть на избу.

Вышла Люба.

— Господи, до чего же жалко ее стало,— сказала она.— Прямо сердце заломило.

— Поехали,— велел Егор.

Развернулись... Егор последний раз глянул на избу и даванул на железку.

Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула.

Выехали за деревню...

Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза.

— Чего, Егор? — испугалась Люба.

— Погоди... постоим,— осевшим голосом сказал Егор.— Тоже, знаешь... сердце заломило. Мать это, Люба. Моя мать.

Люба тихо ахнула.

— Да что же ты, Егор? Как же ты?..

— Не время,— зло почти сказал Егор.— Дай время... Скоро уж. Скоро.

— Да какое время, ты что?! Развернемся!

— Рано! — крикнул Егор.— Дай хоть волосы отрастут... Хоть... на человека похожим стану.

Егор включил скорость, и поехали опять.

— Я ей перевел деньги,— еще сказал он,— но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась — от кого, спросит? Еще не возьмет. Прошу тебя, доехай завтра до ней опять и... скажи что-нибудь. Придумай что-нибудь. Мне пока... Не могу пока — сердце лопнет. Не могу. Можешь понять?

— Останови-ка,— велела Люба.

— Зачем?

— Останови.

Егор остановил.

Люба обняла его, как обняла давеча старуху,— ласково, умело,— прижала к груди его голову.

— Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?..— Она заплакала.— Что мне с вами делать-то?

Егор освободился из ее объятий, крикнул несколько раз, чтоб прошел комок из горла, включил скорость и с остервенением веселым сказал:

— Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я не говорю зря.

Дома их в ограде встретил Петро.

— Волнуется, видно. За машину-то,— догадалась Люба.

— Да ну, что я? Я же сказал...

Когда Люба с Егором вылезли из кабины, Петро подошел к ним.

— Там этот пришел... твой,— сказал он по своей привычке как бы нехотя, через усилие.

— Колька?! — неприятно удивилась Люба.— Вот гад-то, что ему надо-то?! Замучил, замучил, слюнтят!..

— Ну, я пойду познакомлюсь,— сказал Егор.

И глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой.

— Егор!..— всполошилась Люба.— Он же пьяный, небось драться кинется. Не ходи, Егор.— И Люба сделала было движение за Егором, но Петро придержал ее.

— Не бойся,— сказал он.— Только,— Егор!..

Егор обернулся.

— Там еще трое ждут — за плетнем. Знай.

Егор кивнул и пошел в дом.

Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко.

— Да они же избьют его! — чуть не плакала Люба.— Ты что? Ну, Петро!..

— Кого избьют? — спокойно басил Петро.— Жоржика? Его избить трудно. Пускай поговорят... И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда.

— А-а,— сказал Коля, растянув в насильственной улыбке рот.— Новый хозяин пришел.

Он встал с лавки.

— А я — старый.

Он пошел на Егора.

— Надо бы потолковать?..

Он остановился перед Егором.

— Мм?

Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятный, с голубыми умными глазами.

Старики со страхом смотрели на “хозяев” — старого и нового.

Егор решил не тянуть. Сразу лапнул Колю за шкурку и поволок из избы.

...Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз.

Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут.

— Если ты, падали кусок, будешь еще... Ты был здесь последний раз,— сказал Егор сверху. И стал спускаться.

Коля вскочил с земли... И засуетился.

— Пойдем отсюда! Иди за мной... Идем, идем. Ну, собака!.. Иди, иди-и!..

Они шли из ограды. Причем Егор шел впереди, а Коля сзади, и Коля очень суетился, разок даже подтолкнул Егора в спину. Егор оглянулся и качнул укоризненно головой.

— Иди, иди-и,— с дрожью в голосе повторял Коля.

Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро.

— Только не здесь,— решительно сказал Егор.— Пошли дальше.

Пошли дальше. Егор как-то опять очутился впереди всех.

— Слушайте,— остановился он.— Идите рядом, а то как на расстрел ведут. Люди же смотрят.

— Иди, иди-и,— опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя.

Еще прошли немного.

Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся вбок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал... Но и еще один кинулся, этого Егор ударил — наотмашь — кулаком в живот. И этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела. Зато Коля вскочил и побежал к плетню выламывать кол.

— Ну, собака!..— задыхался Коля от злости. Выломил кол и страшно ринулся на Егора.

Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается — всегда, даже в страшно короткое время, успеет подумать: что будет? И если убивают, то — хотели убить. Нечаянно убивают редко.

Егор стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел на Колю... Коля наткнулся на его спокойный — как-то по-особому спокойный, зловеще-спокойный — взгляд.

— Не успеешь махнуть,— сказал Егор. Помолчал, добавил участливо: — Коля.

— А чего ты тут угрожаешь-то?! Чего ты угрожаешь-то?! — попытался еще надавить Коля.— С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!

— Пить надо меньше, дурачок,— опять участливо сказал Егор.— Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи.

Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то было двинулся за ним, наверно Коля, но его остановили:

— Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер городской! Мы его где-нибудь в другом месте прищучим.

Егор не остановился. Не оглянулся.

...Первую борозду в своей жизни проложил Егор.

Остановил трактор, прыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь — что это его работа. Пнул сапогом ком земли, хмыкнул.

— Ну и ну... Жоржик. Это ж надо! Ты же так ударником будешь!

Он оглянулся по степи, вдохнул полной грудью весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. И постоял так.

Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает... Волнующее чувство, Егор всегда это чувство помнил: как будто это нездешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт знает где. Если покрепче зажмуриться и целиком вникнуть в этот мощный утробный звук, то он перейдет в тебя — где-то загудит внутри, в голове, что ли, или в груди, не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немногое: как гудели столбы, корова Манька да как с матерью носили на себе березки, мать — большую, малолетний Егор — поменьше, зимой, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжело, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку... Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого, и грустно, и по-иному

щемило сердце — и дорого и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить постоянный свой бег по земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора.

Егор еще раз оглядел степь... Вот и этого будет жаль.

“Да что же я за урод такой! — невольно подумал он. — Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо! Ну и радуйся”.

Егор глубоко вздохнул...

— Сто сорок лет можно жить... с таким воздухом, — сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему.

— Ох вы, мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что — дождались? Зазеленели... — Он ласково потрогал березку. — Ох, ох — нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились! И молчат стоят. Хоть бы крикнули — позвали, нет, нарядились и стоят. Ну, уж вижу теперь, вижу — красивые. Ну, ладно, мне пахать надо. Я тут рядом буду, буду заходить теперь. — Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся: — Ка-кие стоят! — И пошел к трактору.

Шел и еще говорил по своей привычке:

— А то простишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так вот... Вам-то что, вам все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так.

И запел Егор:

*“Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки-и
Характер вызнала-а.
Характер вызнала-а:
Характерой како-ой...”*

Так с песней и залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал — видно было — петь, но уже песни не было слышно из-за этого грохота и лязга.

Вечером ужинали все вместе: старики, Люба и Егор.

В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни.

Вдруг дверь открылась — и появился неожиданный гость: высокий молодой парень, тот самый, который заполошничал тогда вечером при облаве.

Егор даже слегка растерялся

— О-о! — сказал он. — Вот так гость! Садись, Вася!

— Шура! — поправил гость, улыбнувшись.

— Да, Шура! Все забываю. Все путаю с тем Васей, помнишь? Вася-то был, большой такой, старшиной-то работал...

Так тараторил Егор, а сам, похоже, приходил пока в себя — гость был и вправду неожиданный.

— Мы с Шурой служили вместе, — пояснил он. — У генерала Щелокова. Садись, Шура, ужинать с нами.

— Садитесь, садитесь, — пригласила и старуха.

А старик даже и подвинулся на лавке — место дал.

— Давайте.

— Да нет, меня там такси ждет. Мне надо сказать тебе, Георгий, кое-что. Да передать тут...

— Да ты садись, поужинай! — упорствовал Егор. — Подождет таксист.

— Да нет... — Шура глянул на часы. — Мне еще на поезд успеть...

Егор полез из-за стола. И все тараторил, не давая времени Шуре как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить, что вконец запутывал других — не понимали, что он хочет сказать. Бывало это и от растерянности.

— Ну, как, знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки!.. Мне эта служба до сих пор во сне снится. Ну, пойдем — чего там тебе передать надо, в машине, что ли лежит? Пойдем примем пакет от генерала... Расписаться ж надо? Ты сюда рейсовым? Или на перекладных? Пойдем...

Они вышли.

Старик помолчал... И в его крестьянскую голову пришла только такая мысль:

— Это ж сколько они на такси-то прокатывают — от города и обратно? Сколько с километра берут?

— Не знаю, — рассеянно сказала Люба. — Десять копеек. Она в этом госте почувала что-то худое.

— Десять копеек. Десять копеек на тридцать шесть верст... Сколько это?

— Ну, тридцать шесть копеек и будет, — сказала старуха.

— Здорово живешь! — воскликнул старик. — Десять верст — это уже рупь. А тридцать шесть — это... три шестьдесят, вот сколь. Три шестьдесят да три шестьдесят —

семь двадцать. Семь двадцать — только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал.

Люба не выдержала, вылезла тоже из-за стола.

— Чего они там? — сказала она. И пошла из избы.

...Вышла в сени, а сеничная дверь на улицу открыта. И она услышала голос Егора и этого Шуры. И замерла.

— Так передай. Понял? — жестко, зло говорил Егор. — Запомни и передай.

— Я передам... Но ты же знаешь его...

— Я знаю. Он меня тоже знает. Деньги он получил?

— Получил.

— Все. Я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. — Егор коротко посмеялся. — Не советую.

— Горе... Ты не злишь только, я сделаю, как мне велено: если, мол, у него денег нет, дай ему. На.

И Шура, наверно, протянул Егору заготовленные деньги. Егор, наверно, взял их и с силой ударил ими по лицу Шуры — раз, и другой, и третий. И говорил негромко, сквозь зубы:

— Сучонок... Сопляк... Догадался, сучонок!..

Люба грохнула чем-то в сених. Вышагнула на крыльцо...

Шура стоял, руки по швам, бледный...

Егор протянул ему деньги, сказал негромко, чуть хриплым голосом:

— На. До свидания, Шура. Передавай привет! Все запомнил, что я сказал?

— Запомнил, — сказал Шура. Посмотрел на Егора последним — злым и обещающим — взглядом. И пошел к машине.

— Ну вот! — Егор сел на приступку. Проследил, как машина развернулась... Проводил его глазами и оглянулся на Любу.

Люба стояла над ним.

— Егор... — начала она было.

— Не надо, — сказал Егор. — Это мои старые дела. Долги, так сказать. Больше они сюда не придут.

— Егор, я боюсь, — призналась Люба.

— Чего? — удивился Егор.

— Я слышала, у вас... когда уходят от них, то...

— Брось! — резко сказал Егор. И еще раз сказал: — Брось. Садись... И никогда больше не говори об этом. Садись... — Егор потянул ее за руку вниз. — Что ты стоишь за спиной, как... Это нехорошо — за спиной стоять, невежливо.

Люба села.

— Ну? — спросил весело Егор. — Что закручинилась, зоренька ясная? Давай-ка споем лучше!

— Господи, до песен мне...

Егор не слушал ее.

— Давай я научу тебя... Хорошая есть одна песня. — И Егор запел:

*“Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...”*

— Да я ее знаю! — сказала Люба.

— Ну? Ну-ка, поддержи. Давай:

“Калина...”

— Егор, — взмолилась Люба, — Христом богом прошу, скажи: они ничего с тобой не сделают?

Егор стиснул зубы и молчал.

— Не злись, Егорушка. Ну, что ты?

И Люба заплакала.

— Как же ты меня-то не можешь понять: ждала я, ждала свое счастье, а возьмут да... Да что же уж я, проклятая, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя?..

Егор обнял Любу и ладошкой вытер ей слезы.

— Веришь ты мне? — спросил.

— “Веришь”, “веришь”... А сам не хочет говорить. Скажи, Егор, я не испугаюсь. Может, мы уедем куда-нибудь...

— О-о!.. — взвыл Егор. — Станешь тут ударником! Нет, я так никогда ударником не стану... честное слово, Люба, я не могу, когда плачут. Не могу!.. Ну сжался ты надо мной, Любушка.

— Ну, не буду, не буду. Все будет хорошо?

— Все будет хорошо, — четко, раздельно сказал Егор. — Клянусь, чем хочешь... всем дорогим. Давай песню. — И он запел первый:

*“Калина красная-а-а,
Калина вызрела-а...”*

Люба поддержала, да так тоже хорошо подладила, так славно. На минуту забылась, успокоилась:

*“Я у залеточки
Характер вызнала-а,
Характер ой какой,
Я не уважила,
А он пошел к другой.*

*А я пошла с другим —
Ему не верится,
Он подошел ко мне
Удостовериться-а-а...”*

Из-за плетня на них насмешливо смотрел Петро.

— Спишите слова,— сказал он.

— Ну, Петро,— обиделась Люба.— Взял спугнул песню.

— Кто это приезжал, Егор?

— Дружок один. Баню будем топить? — спросил Егор.

— А как же? Иди-ка сюда, что скажу...

Егор подошел к плетню. Петро ему на ухо что-то заговорил.

— Петро! — сказал Люба.— Я ведь знаю, чего ты там, знаю. После бани!

— Я жиклер его прошу посмотреть,— сказал Петро.

— Я только жиклер гляну...— сказал Егор.— Там, наверно, продуть надо.

— Я вам дам жиклер! После бани, сказала,— сурово молвила напоследок Люба. И ушла в дом. Она вроде и успокоилась, но все же тревога вкралась в душу. А тревога та — стойкая; любящие женщины знают, какая это стойкая, живучая боль.

Егор полез через плетень к Петру.

— Бренди — это дерьмо,— сказал он.— Я предпочитаю или шампанзе или “Реми-Мартин”.

— Да ты попробуй!

— А то я не пробовал! Еще меня устраивает, например, виски с содовой...

Так, разговаривая, они направились к бане.

Теперь то самое поле, которое Егор пахал, засевали. Егор же опять и сеял. То есть он вел трактор, а на сеялке, сзади, где стоят и следят, чтоб зерно равномерно сыпалось, стояла молодая женщина с лопаточкой, Галя.

Петро подъехал к ним на своем самосвале с нашитыми бортами — привез зерно. Засыпали вместе в сеялку. Малость поговорили с Егором.

— Обедать здесь будешь или домой? — спросил Петро.

— Здесь.

— А то отвезу, мне все равно ехать.

— Да нет, у меня с собой все... А тебе чего ехать?

— Да что-то стрелять начала. Правда, наверно, жиклер.

Они посмеялись, имея в виду тот “жиклер”, который они вместе “продували” прошлый раз в бане.

— У меня дома есть один, все берег его...

— Может, посмотреть — чего стреляет-то?

— Ну, время еще терять. Жиклер, точно. Я с ним давно мучаюсь, все жалко было выбрасывать. Но теперь уж сменю.

— Ну, гляди.— И Егор полез опять в кабину. Галя стала на свое место, а Петро поехал развозить зерно к другим сеялкам.

И трактор тоже взревел и двинулся дальше.

...Егор отвлёкся от приборов на щите, глянул вперед, а впереди, как раз у того березового колка, что с краю пашни, стоит “Волга” и трое каких-то людей. Егор всмотрелся... и узнал людей. Люди эти были — Губошлеп, Бульдя, еще какой-то высокий. А в машине — Люсьен. Люсьен сидела на переднем сиденье, дверца была открыта, и, хоть лица не было видно, Егор узнал ее по юбке и по ногам. Мужчины стояли возле машины и поджидали трактор.

И ничто не изменилось в мире. Горел над пашней ясный день, рошица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем... Густо пахло землей, так густо, тяжело пахло сырой землей, что голова легонько кружилась. Собрала она всю свою весеннюю силу, все соки живые — готовилась опять породить жизнь. И далекая синяя полоска леса, и облако белое, кудрявое над этой плоской, и солнце в вышине — все была жизнь, и перла она через края, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась.

Егор чуть-чуть сбавил скорость... Склонился, выбрал гаечный ключ — не такой здоровый, а поаккуратней, положил в карман брюк. Покосился — не виден он из-под пиджака. Вроде не виден.

Поравнявшись с “Волгой”, Егор остановил трактор и заглушил мотор.

— Галя, иди обедать,— сказал он помощнице.

— Мы же только засыпались,— не поняла Галя.

— Ничего, иди. Мне надо вот тут с товарищами... из ЦК профсоюзов поговорить.

Гаяля пошла к отдаленно виднеющемуся бригадному домику. На ходу раза три оглянулась на "Волгу", на Егора...

Егор тоже незаметно глянул по полю... Еще два трактора с сеялками ползли по тому краю; ровный гул их как-то не нарушал тишины огромного светлого дня.

Егор пошел к "Волге". Губошлеп заулыбался, еще когда Егор был далековато от них.

— А грязный-то! — с улыбкой воскликнул Губошлеп. — Люсьен, ты глянь на него!..

Люсьен вылезла из машины... И серьезно смотрела на подходящего Егора, не улыбалась.

Егор тяжело шел по мягкой пашне... Смотрел на гостей... Он тоже не улыбался.

Улыбался один Губошлеп.

— Ну не узнал бы, ей-богу! — все потешался он. — Встретил бы где-нибудь — не узнал бы.

— Губа, ты его не тронешь, — сказала вдруг Люсьен чуть хриплым голосом. И посмотрела на Губошлепа требовательно, даже зло.

Губошлеп, напротив, весь так и встрепенулся от мстительной какой-то радости.

— Люсьен!.. О чем ты говоришь! Это он бы меня не тронул! Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком по окаянной шее...

— Ты не тронешь его, тварь! — сорвалась Люсьен. — Ты сам скоро сдохнешь, зачем же...

— Цыть! — сказал Губошлеп. И улыбку его как ветром сдуло. И видно стало — проглянуло в глазах, — что мстительная неспособность его взбесилась: этот человек оглох навсегда для всякого справедливого слова. Если ему некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост. — А то я вас рядом положу. И заставлю обниматься — возьму себе еще одну статью: глумление над трупами. Мне все равно.

— Я прошу тебя, — сказала Люсьен после некоторого молчания, — не тронь его. Нам все равно скоро конец, пусть он живет. Пусть пашет землю — ему нравится.

— Нам конец, а он будет землю пахать? — Губошлеп показал в улыбке гнилые зубы свои. — Где же справедливость? Что он, мало натворил?

— Он вышел из игры... У него справка.

— Он не вышел. — Губошлеп опять повернулся к Егору. — Он только еще идет.

Егор все шел... Увязал сапогами в мягкой земле и шел.
— У него даже и походка-то какая-то стала!..— с восхищением опять сказал Губошлеп.— Трудовая.

— Пролетариат,— промолвил глуповатый Бульдя.

— Крестьянин, какой пролетариат.

— Но крестьяне-то тоже пролетариат!

— Бульдя!.. Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри — читай “Мурзилку” и дыши носом. Здорово, Горе! — громко приветствовал Губошлеп Егора.

— А чего они еще сказали? — допрашивала встревоженная Люба своих стариков.

— Ничего больше... Я им рассказал, как ехать туда...

— К Егору?

— Ну.

— Да мамочка моя родимая! — взревела Люба. И побежала из избы.

В это время в ограду въезжал Петро.

Люба замахала ему — чтоб не въезжал, чтоб остановился. Петро остановился...

Люба вскочила в кабину... Сказала что-то Петру. Самосвал попятился, развернулся и сразу шибко поехал, прыгая и грохоча на выбоинах дороги.

— Петя, братка, милый, скорей, скорей! Господи, как сердце мое чуяло!..— У Любы из глаз катились слезы, она их не вытирала — не замечала их.

— Успеем,— сказал Петро.— Я же недавно был у него...

— Они только что здесь были... спрашивали. А теперь уж там. Скорей, Петя!..

Петро выжимал из своего горбатого богатыря все что мог.

Группа, что стояла возле “Волги”, двинулась к березовому колку. Только женщина осталась у машины, даже залезла в машину и захлопнула все двери.

Группа немного не дошла до берез — остановилась. О чем-то, видимо, поговорили... И двое из группы отделились и вернулись к машине. А двое — Егор и Губошлеп — зашли в лесок и стали удаляться и скоро скрылись с глаз.

...В это время далеко на дороге показался самосвал Петро. Двое стоявших у “Волги” пригляделись к нему... Поняли, что

самосвал гонит сюда, крикнули что-то в сторонку леска... Из леска тотчас выбежал один человек, Губошлеп, пряча что-то в кармане. Тоже увидел самосвал и бегом побежал к "Волге". "Волга" рванулась с места и понеслась, набирая скорость...

...Самосвал поравнялся с рощицей.

Люба выпрыгнула из кабины и побежала к березам.

Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, Егор. Шел, хватаясь другой рукой за березки... И на березках оставались ярко-красные пятна.

Петро, увидев раненого Егора, вскочил опять в самосвал, погнался за "Волгой". Но "Волга" была уже далеко. Петро стал разворачиваться.

Люба подхватила Егора под руки.

— Измажу я тебя, — сказал Егор, страдая от боли.

— Молчи, не говори. — Сильная Люба взяла его на руки... Егор было запротестовал, но новый приступ боли накатил, Егор закрыл глаза.

Тут подбежал Петро, бережно взял с рук сестры Егора и понес к самосвалу.

— Ничего, ничего, — гудел он негромко. — Ерунда это... Штыком насквозь прокалывали, и то оставались жить. Через неделю будешь прыгать...

Егор слабо качнул головой и вздохнул — боль немного отпустила.

— Там — пуля, — сказал он.

Петро глянул на него, на белого, стиснул зубы и ничего не сказал. Прибавил только шагу.

Люба первая вскочила в кабину... Приняла на руки Егора... Устроила на коленях у себя, голову его положила на грудь себе. Петро осторожно поехал.

— Потерпи, Егорушка... милый. Счас доедем до больницы.

— Не плачь, — тихо попросил Егор, не открывая глаз.

— Я не плачу.

— Плачешь... На лицо капает. Не надо.

— Не буду, не буду.

Петро выворачивал руль и так и этак — старался не трясти. Но все равно трясло, и Егор мучительно морщился и раза два простонал.

— Петя... — сказала Люба.

— Да уж стараюсь... Но и тянуть-то нельзя. Скорей надо.

— Остановите, — попросил Егор.

— Почему, Егор? Скорей надо...

— Нет... все. Снимите.

Петро остановился.

Егора сняли на землю, положили на фуфайку.

— Люба,— позвал Егор, выискивая ее невидящими глазами где-то в небе — он лежал на спине.— Люба...

— Я здесь, Егорушка, здесь, вот она...

— Деньги...— с трудом говорил Егор последнее.— У меня в пиджаке... раздели с мамой...— У Егора из-под прикрытых век сползла слезинка, подождала, повиснув около уха, и сорвалась и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома... Лежал, прикинувшись щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Как в детстве, прижимался к столбам. Люба упала ему на грудь и тихо, жутко выла. Петро стоял над ними, смотрел на них и тоже плакал. Молча. Потом поднял голову, вытер слезы рукавом фуфайки...

— Да что же,— сказал он на выдохе, в котором почувствовалась вся его устрашающая сила,— так и уйдут, что ли? — Обошел лежащего Егора и сестру и, не оглядываясь, тяжело побежал к самосвалу.

Самосвал взревел и понесся прямо по степи, минуя большак. Петро хорошо знал все дороги здесь, все проселки и теперь только сообразил, что "Волгу" можно перехватить — наперерез. "Волга" будет огигать выступ того леса, который синел отсюда ровной полосой... А в лесу есть зимник, по нему зимой выволакивают на тракторных сани лесины. Теперь, после дождя, захламленный ветками зимник даже надежнее для самосвала, чем большак. Но "Волга", конечно, туда не сунется. Да и откуда им знать, куда ведет тот зимник?

И Петро перехватил "Волгу".

Самосвал выскочил из леса раньше, чем здесь успела прошмыгнуть бежевая красавица. И сразу обнаружилось безвыходное положение: разворачиваться назад поздно — самосвал несся в лоб, разминуться как-нибудь тоже нельзя: узка дорога... Свернуть — с одной стороны лес, с другой целина, налитанная вчерашним дождем,— не для городской машинки. Оставалось только попытаться все же по целине: с ходу, на скорости, объехать самосвал и выскочить на большак. "Волга" свернула с накатанной дороги и сразу завиляла задом, сразу пошла тихо, хоть скреблась и ревела изо всех сил. Тут ее и настиг Петро. Из "Волги" даже не успели выскочить... Труженик-самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок, опрокинул и стал над ней.

Петро вылез из кабины...

С пашни, от тракторов, к ним бежали люди, которые все видели...

РАССКАЗЫ

ДВОЕ НА ТЕЛЕГЕ

Дождь, дождь и дождь... Мелкий, назойливый, с легким шумом сеял день и ночь. Избы, дома, деревья — все намокло. Сквозь ровный шорох дождя слышалось только, как всплескивала, журчала и булькала вода. Порой проглядывало солнышко, освещало падающую сетку дождя и опять закуты-валось в лохматые тучи.

...По грязной издавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понутив головы. Старик возница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал:

— Погодка, черт тебя надавал... Добрый хозяин собаку из дома не выпустит...

За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы.

Рано утром эта "сорока", как про себя назвал ее сердитый возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку: "Семен Захарович, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас на ремонте. Квасов". Захарыч прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождевиком и, войдя в избу, бросил старухе:

— Собери.

Ехать не хотелось, и, наверно, поэтому бойкая девушка не понравилась Захарычу — он сердито не замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его "пожалуйста". Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непогоду.

Захарыч долго возился, запрягая Гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал:

— Становись, пожалуйста, в оглобли, дура окаянная!

Когда выехали со двора, девушка пробовала заговорить с возницей: спрашивала, не болит ли чего-нибудь у него, много ли снега бывает тут зимой... Захарыч отвечал неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь, но скоро замолчала и задумалась.

Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалось

председателю и этой “сороке”, которой приспичило именно теперь ехать в Березовку.

— Ххе-е... жизнь... Когда уж только смерть придет. Нно-о, журавь!

Они с трудом выехали на гору. Дождь припустил еще сильнее. Телега качалась, скользила, точно плыла по черной жирной реке.

— Ну и погодушка, чтоб тебя черти...— ругался Захарыч и уныло тянул: — Но-о-о, уснула-а-а...

Казалось, этому пути, дождю и ворчанию старика не будет конца. Но вдруг Захарыч беспокойно заерзал и, полу-обернувшись к спутнице, весело прокричал:

— Что, хирургия, небось замерзла?

— Да, холодно,— призналась она.

— То-то. Сейчас бы чайку горячего, как думаешь?

— А что, скоро Березовка?

— Скоро Медоухино,— лукаво ответил старик и, почему-то рассмеявшись, погнал лошадей: — Но-о, ядрена Матрена!

Телега свернула с дороги и покатилась под гору, прямо по целине, тарахтя и подпрыгивая. Захарыч молодецки покрикивал, лихо крутил вожжами. Скоро в логу, среди стройных березок, показалась одинокая старая избушка. Над избушкой струился синий дымок, растягиваясь по березняку слоистым голубым туманом. В маленьком окошке светился огонек. Все это очень походило на сказку. Откуда-то выкатились два огромных пса, кинулись под ноги лошади. Захарыч соскочил с телеги, отогнал бичом собак и повел лошадей во двор.

Девушка с любопытством осматривалась и, когда заметила в стороне между деревьями ряды ульев, догадалась, что это пасека.

— Бежи отогревайся! — крикнул Захарыч и стал распрягать лошадей.

Прыгнув с телеги, девушка тотчас присела от резкой боли в ногах.

— Что? Отсидела?.. Пройдись маленько, они отойдут,— посоветовал Захарыч.

Он бросил Гнедухе охапку травы и первый потрусил в избушку, отряхивая на ходу мокрую шапку.

В избушке пахло медом. Перед камельком стоял на коленях белоголовый старик в черной сатиновой рубаше и подбрасывал дрова. В камельке весело гудело и потрескивало. На полу затейливо трепетали пятна света. В переднем углу

мигала семилинейная лампа. В избушке было так тепло и уютно, что девушке даже подумалось: не задремала ли она, сидя в телеге, не снится ли ей все это? Хозяин поднялся навстречу неожиданным гостям — он оказался очень высоким и слегка сутулился, — отряхнул колени и, прищурив глаза, сказал глуховато:

— Доброго здоровья, люди добрые.

— Там добрые или нет — не знаю, — ответил Захарыч, пожимая руку старому знакомому, — а вот промокли мы изрядно.

Хозяин помог девушке раздеться, подбросил еще в камелек. Он двигался по избушке не торопясь, делал все спокойно и уверенно.

Захарыч, устроившись у камелька, блаженно кряхтел и приговаривал:

— Ну и благодать же у тебя, Семен. Прямо рай. И чего я пасечником не сделался — ума не приложу.

— По какому же делу едете? — спросил хозяин, поглядывая на девушку.

— А вон с доктором в Березовку едем, — объяснил Захарыч. — Ну, помочил он нас... Хоть выжимай, язви его совсем...

— Доктор, значит, будете? — спросил пасечник.

— Фельдшер, — поправила девушка.

— А-а... Смотри-ка, молодая какая, а уже... Ну, согревайся, согревайся. А мы тем делом сообразим чего-нибудь.

Девушке было так хорошо, что она невольно подумала: "Все-таки правильно, что я сюда поехала. Вот где действительно... жизнь". Ей захотелось сказать старикам что-нибудь приятное.

— Дедушка, а вы весь год здесь живете? — спросила она первое, что пришло в голову.

— Весь год, дочка.

— Не скучаете?

— Хе!.. Какая нам теперь скука. Мы свое спели.

— Ты тут, наверно, всю жизнь насквозь продумал, один-то? Тебе бы сейчас учителем работать, — заметил Захарыч.

Пасечник достал из-под пола берестовый туесок с медовухой и налил всем по кружке. Захарыч даже слюну глотнул, однако кружку принял не торопясь, с достоинством. Девушка застыдилась, стала отказываться, но оба старика настойчиво уговаривали, разъяняя, что "с устатку и с холода это — первейшее дело". Она выпила полкружки.

Вскипел чайник. Сели пить чай с медом. Девушка раскраснелась, в голове у нее приятно зашумело и на душе стало легко, как в праздник. Старики вспоминали каких-то кумовьев. Пасечник раза два покосился на улыбающуюся девушку и показал на нее глазами Захарычу.

— Тебя, дочка, как звать-то? — спросил он.

— Наташей.

Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и сказал:

— Ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась даже, что холодно, мол, дедушка. От другой бы слез не обобрался.

— А вон у ней, видишь, — указал пасечник на комсомольский значок и добавил: — Они молодцы!

Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь особенное о себе.

— Вы вот, дедушка, ругались давеча, а ведь это я сама попросилась ехать в Березовку.

— Да ну? — изумился Захарыч. — И охота тебе?

— Нужно — значит, охота, — задорно ответила Наташа и покраснела. — Лекарство одно в нашей аптеке кончилось, а оно очень необходимо.

— Хэх ты!.. — Захарыч крутнул головой и решительно заявил: — Только сегодня мы уж никуда не поедем.

Наташа перестала улыбаться. Старики снова принялись за свой разговор. За окном было уже темно. Ветер горстями сыпал в стекло дождь, тоскливо скрипела ставня. Девушка встала из-за стола и присела у печки. Ей вспомнился врач — толстый, угрюмый человек. Провожая ее, он говорил: “Смотрите, Зиновьева... Погода-то больно того. Простудитесь еще. Может, нам кого-нибудь другого послать?” Наташа представила, как доктор, узнав, что она пережидала непогоду на пасеке, посмотрит на нее и подумает: “Я ведь и не ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабоваты. Это извинительно”, а вслух, наверное, скажет: “Ничего, ничего, Зиновьева”. Вспомнилось также, как пасечник посмотрел на ее комсомольский значок... Она резко поднялась и сказала:

— Дедушка, мы все-таки поедем сегодня. — И стала одеваться.

Захарыч обернулся и вопросительно уставился на нее.

— В Березовку за лекарством поедем, — упрямо повторила она. — Вы понимаете, товарищи, мы просто... мы не имеем права сидеть и ждать!.. Там больные люди. Им нужна помощь!..

Старики изумленно смотрели на нее, а девушка, ничего не замечая, продолжала убеждать их. Пальцы ее рук сжались в тугие, острые кулачки. Она стояла перед ними маленькая, счастливая и с необыкновенной любовью и смущением призывала больших, взрослых людей понять, что главное — это не жалеть себя!..

Старики все так же, с удивлением смотрели на нее и, кажется, ждали еще чего-то. Счастливый блеск в глазах девушки постепенно сменился выражением горькой обиды: они совсем не поняли ее! И старики показались ей вдруг не такими уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избышки, прислонилась к косяку и заплакала... Было уже темно. По крыше уныло шуршал дождь. На крыльцо с карниза дробно шлепались капли. Перед окном избышки лежал желтый квадрат света. Жирная грязь блестела в этом квадрате, как масло. В углу двора, невидимая, фыркала и хрустела травой лошадь...

Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин.

— Где ты, дочка? — негромко позвал он.

— Здесь.

— Ну-ка, пошли в избу.— Пасечник взял ее за руку и повел за собой. Наташа покорно шла, вытирая на ходу слезы. Когда они появились в избышке, Захарыч суетливо копошился в темном углу, отыскивая что-то.

— Эка ты! Шапку куда-то забросил, язви ее,— ворчал он.

А пасечник, подкладывая в печку, тоже несколько смущенный говорил:

— На нас не надо обижаться, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз... А это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься так. Молодец.

Наконец Захарыч нашел шапку. На Наташу вместо пальто надели большой полушубок и брезентовый плащ. Она стояла посреди избы неуклюжая и смешная, поглядывая из-под башлыка мокрыми веселыми глазами и шмыгая носом. А вокруг нее хлопотали виноватые старики, соображая, что бы еще надеть на нее...

Через некоторое время телега снова мягко катилась по дороге, и на ней снова тряслись два человека.

По-прежнему ровно шумел дождь; обочь дороги, в канавках, тихонько булькало и хлюпало.

СВЕТЛЫЕ ДУШИ

Михайло Беспалов полторы недели не был дома: возили зерно из далеких глубинок.

Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора.

Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него.

Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба.

Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила:

— Ты б хоть поздороваться зашел.

— Здравово, Нюся! — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят.

Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью.

Михайло пришел через полчаса.

Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.

— Ты чего? — спросил Михайло.

— Ничего.

— Вроде сердиться?

— Ну что ты! Разве можно на трудящийся народ сердиться? — с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна.

Михайло неловко потоптался на месте. Сел на скамейку у печки, стал разуваться.

Анна глянула на него и всплеснула руками:

— Мамочка родимая! Грязный-то!..

— Пыль, — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги.

Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошкой небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.

— Прямо места живого не найдешь, господи ты мой! — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо.

Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел:

— Замараю ж я тебя всю, дуреха такая!..

— Ну и марай... марай, не думай! Побольше бы так марал!

— Соскучилась небось?

— Соскучишься! Уедет на целый месяц...

— Где же на месяц? Эх ты... акварель!
— Пусти, пойдю баню посматреть. Готовься. Белье вон на ящике.— Она ушла.

Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки: что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене:

— Ань! Ты, случайно, не видела карбюратор?
— Какой карбюратор?
— Ну такой... с трубочками!
— Не видела я никаких карбюраторов! Началось там опять...

Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать...

Карбюратора нигде не было.

Пришла Анна.

— Собрался?

— Тут, понимаешь... штука одна потерялась,— сокрушенно заговорил Михайло.— Куда она, окайная?

— Господи! — Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез.— Ни стыда, ни совести у человека! Побудь ты хозяином в доме! Приедет раз в год и то никак не может расстаться со своими штуками...

Михайло поспешно подошел к жене.

— Чего сделать, Нюся?

— Сядь со мной.— Анна смахнула слезы.

Сели.

— У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое... хоро-о-шенькое! Видел, наверно, она в нем по воскресеньям на базар ездит!

Михайло на всякий случай сказал:

— Ага! Такое, знаешь...— Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит: вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене.

— Вот. Она это полупальто продает. Просит четыре сотни.

— Так...— Михайло не знал, много это или мало.

— Так вот я думаю: купить бы его? А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миша. Я давеча примерила — как влитое сидит!

Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь.

— Взять это полупальто. Чего тут думать?

— Погоди ты! Разлысил лоб... Денег-то нету. А я вот что придумала: давай продадим одну овечку! А себе ягненка возьмём...

— Правильно! — воскликнул Михайло.

— Что правильно?

— Продать овечку.

— Тебе хоть все продать! — Анна даже поморщилась.

Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.

— Сама же говорит, елки зеленые!

— Так я говорю, а ты пожалей. А то я — продать, и ты — продать. Ну и распродадим так все на свете!

Михайло открыто залюбовался женой.

— Какая ты у меня... головастая!

Анна покраснела от похвалы.

— Разглядел только...

Из бани возвращались поздно. Уже стемнело.

Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины.

— Миша!

— Аиньки! Сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу.

— Замараешь белье-то!

Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.

— Миша!

— Одну минуту, Нюся.

— Я говорю, замараешь белье-то!

— Я же не прижимаюсь к ней.

Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце.

Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.

— Ну, сделал?

— Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала.

— Ты ее не целуешь, случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней, черт ее надавал, проклятую! — рассердилась Анна.

— Ну вот... При чем она здесь?

— При том. Жизни никакой нету.

В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар.

Михайло прилег на кровать. Анна собирала на стол ужин.

Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туески, кринки и рассказывала последние новости.

— ...Он уж было закрывать собрался магазин свой. А тот — то ли поджидал специально — тут и был! “Здрассти, говорит, я ревизор...”

— Хэх! Ну? — Михайло слушал.

— Ну, тот туда-сюда — заегозил. Тыр-пыр — семь дыр, а выскочить некуда. Да. Хворым прикинулся...

— А ревизор что?

— А ревизор свое гнет: “Давайте делать ревизию”. Опытный попался.

— Тэк. Влопался, голубчик?

— Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.

— Сколько дали?

— Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уже народ замечал. Зочка-то его последнее время в день по два раза переодевалась! Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть! А сейчас нует ходит: “Может, ошибка еще”. Ошибка! Ганя ошибется!

Михайло задумался о чем-то.

За окнами стало светло: взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.

— Садись, Миша.

Михайло задавил в пальцах окуроч, скрипнул кроватью.

— У нас одеяло какое-нибудь старое есть? — спросил он.

— Зачем?

— А в кузов постелить. Зерна много сыплется.

— Что они, не могут вам брезенты выдать?

— Их пока жареный петух не клюнет — не хватятся. Все обещают.

— Завтра найдем чего-нибудь.

Ужинали не торопясь, долго.

Анна слезила в подпол, нацедила ковшик медовухи — для пробы.

— Ну-ка, оцени.

Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул:

— Ох... хороша-а!

— К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья... сытые — загляденье! А на тебя смотреть страшно.

— Ничего-о,— гудел Михайло.— Как у вас тут?

— Рожь сортируем. Пылища!.. Бери вон блины со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша! Прямо страсть берет. Куда уж его столько!

— Нужно. Весь СССР прокормить — это... одна шестая часть.

— Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.

Михайло раскраснелся, глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова.

Спать легли совсем поздно.

В окна лился негреющий серебристый свет. На полу, в светлом квадрате, шевелилось темное кружево теней.

Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно, на одной ноте, гудел одинокий трактор.

— Ночь-то! — восторженно прошептал Михайло.

Анна, уже полусонная, пошевелилась.

— А?

— Ночь, говорю...

— Хорошая.

— Сказка просто!

— Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, — невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. — До того красиво...

— Соловей?

— Какие же сейчас соловьи!

— Да, верно...

Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула.

Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы.

Когда через полчаса Аннахватила мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.

Анна негромко окликнула его.

Михайло вздрогнул, сложил на крыле детали и мелкой рысью побегал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.

Анна, устраниваясь около его бока, выговаривала ему:

— На одну ночь приедет и то норовит убежать! Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня!

Михайло ласково похлопал жену по плечу — успокаивал.

Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом:

— Там что, оказывается: ма-аленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер... там иголка не пролезет.

— Ну, теперь-то все хоть?

— Конечно.

— Бензином опять несет! Ох... господи!..

Михайло хохотнул, но тут же замолчал.

Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно.

Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.

— Ты опять? — спросила Анна.

— Я попить хочу.

— В сенцах в кувшине — квас. Потом закрой его.

Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел наконец кувшин, опустил на колени и, приложившись, долго пил холодный, с кислинкой квас.

— Хо-ох! Елки зеленые! Тебе надо?

— Нет, не хочу.

Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней...

Стояла удивительная ночь — огромная, светлая, тихая... По небу кое-гдеплыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.

Вдыхая всей грудью вольный, настоящий на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:

— Ты, гляди, что делается!.. Ночь-то!

СТЕПКИНА ЛЮБОВЬ

Весной, в апреле, Степан Емельянов влюбился. В целинщицу Эллочку. Он видел ее всего два раза. Один раз подвез из города до деревни — ничего. Сидели рядом и молчали. На ухабах полуторку подкидывало. Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него, точно хотела сказать: “Вы, конечно, понимаете, что не сама же я хочу этого”. И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан — ничего, даже не смотрел на девушку. Насвистывал себе “Амурские волны” и думал об аккумуляторе (у него аккумулятор сел).

Подъехали к деревне, девушка полезла в сумочку за деньгами.

Степан слегка зарумянился в скулах.

— Бросьте вы...

— Почему? — Девушка вскинула на него зеленоватые, прозрачные глаза. — А что?

— Ничего. — Степан “кинул” скорость, газанул и уехал.

“Бывают же такие красивые!” — подумал он о девушке. И все. И забыл о ней.

Мотался неделями по нелегким алтайским дорогам, ночевал где придется, видел других девушек, и красивых и не очень красивых — всяких. Мало ли девушек на белом свете! Обо всех думать — голова распухнет.

Наступил апрель.

Как-то в субботу заехал Степан домой. Помылся в бане, надел вышитую рубаху, новенькие, мягкого хрома сапоги, выпил ковш крепкой медовухи и пошел в клуб смотреть постановку. Должны были играть свои, деревенские артисты. Степан очень любил, когда играли свои. Интересно. Знаешь человека вот с таких лет, приходишь в клуб, глядь — тот же Гришка Новоселов, скажем, бегаёт по сцене с бородой по пояс и орёт дурным голосом: “Живьем тебя сгною, такой-сякой!...”

Степан всегда хохотал в таких случаях, и на него всегда шикали соседи и говорили, что он не понимает, что к чему.

Сел Степан поближе к сцене и стал смотреть. И видит: выходит на сцену та самая девушка, которую он подвез из города. Такая же красивая, только спокойная и какая-то очень важная: голова чуть откинута назад, русые косы по поясу, в красных сапожках. Ходит медленно, голову поворачивает медленно, а голос родной какой-то. Степан почему-то начал волноваться. Он узнал ее сразу. Только он не думал, что она такая красивая. То есть он знал, что она красивая, но не так.

Потом на сцену вышел один нахальный парень, Васька Семенов, колхозный счетовод. В шляпе, в очках, тоже очень важный. В другое время Степан тут обязательно бы захохотал, но сейчас ему было не до смеха. Он смотрел на девушку и ждал, что у них будет с этим Васькой. Он увидел, как заблестели глаза девушки, как вся она как-то съежилась, как будто испугалась чего. Степану стало жалко ее.

— Зачем ты пришел? — спросила она.

— Я не могу без тебя! — говорил этот дурак громко, на весь зал.

— Уходи, — говорит девушка, но как-то так, что слышит-ся больше: “Не уходи”.

— Я не уйду, — говорит Васька и подходит к ней ближе.

Степан вцепился руками в край скамьи. Он знал, что этот Васька так просто не уйдет. И не успел он глазом моргнуть, не успел подумать, чем все это кончится, как счетоводишка ловко обнял девушку за плечи, чуть завалил на левую руку и поцеловал. Степан видел губы девушки после поцелуя — припухшие, чуточку влажные, приоткрытые. Они вздрагивали в стыдливой, счастливой улыбке. У Степана потемнело в глазах. Он встал и пошел из клуба.

На улице прислонился к столбу и долго не мог прийти в себя. “Как же так!..” — думал он.

Три дня ходил Степан сам не свой. (Машину он поставил на ремонт.) Он узнал, что девушку зовут Элла, что она из города Воронежа, работает учетчицей в тракторной бригаде. И все. Хотел было поговорить с Васькой Семеновым, чтобы тот не особенно наигрывал в постановке, но вовремя одумался: это ж не по правде у них. Люди засмеют.

Как-то вечером Степан начистил до блеска свои хромо-вые сапоги и направился... к Эллочке. Дошел до ворот (она жила у стариков Куксиных), постоял, повернулся и пошел прочь. Побрел за деревню, к реке. Сел на сырую землю, обхватил руками колени, уронил на них голову и так просидел до утренней зари. Думал.

Он похудел за эти дни; в глазах устоялась серьезная, черная тоска. Ничего не ел почти, курил одну за одной папиросы и думал, думал...

— Чего это ты? — спросил его отец.

— Так... — Степан задавил сапогом окурков и снова полез за папиросами, а сам смотрел в сторону.

Эллочку он не видел ни разу за это время. В клуб больше не ходил.

На четвертый день Степан заявил отцу:

— Хочу жениться.

— Ну? Кого хочешь брать? — поинтересовался Егор Северьяныч, отец Степана.

— Эту... новенькую... учетчицу... — тихо ответил Степан, недовольно глядя мимо отца в окно.

Егор Северьяныч задумался.

— Ты с ней знакомый?

— Та-а...— Степан замялся.— Нет.

— Я сватать не пойду,— твердо заявил Егор.

— Почему?

— Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство: придешь, а девка ни сном ни духом не ведает. Сперва договорись с ней. Погуляй малость, как все люди делают, тогда пойду сватать. А то... Ты вечно, Степка, наобум Лазаря действуешь. Учил тебя, учил, все без толку.

Этот разговор слышал дед Северьян, отец Егора. Он лежал на печке хворый.

— Скажите, какой принц выискался: сватать он не пойдет,— сердито сказал Северьян.— Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать?

Егор Северьяныч недовольно нахмурился, закурил. Долго молчал. Чего говорить, сам он в молодости был такой же, как Степан: боялся на девушку глаза поднять.

— Я могу, конечно, сходить,— заговорил он,— но только... я думаю, не пойдет она за тебя.

— Пойдет! — сказал дед Северьян.— За такого парня любая пойдет.

— Почему ты думаешь, что не пойдет? — спросил Степан, чувствуя, что холодеет изнутри.

— Городская ж она... черт их поймет, чего им надо. Скажет — отсталый.

— Сам ты отсталый, Егор,— опять встрял Северьян.— Сейчас не глядят на это. Сейчас девки умнее пошли. Я старый человек и то это понимаю.

В четверг с утра отец с сыном собирались на сватовство.

Степан опять надел вышитую рубаху, долго приглаживал перед зеркалом прямые, жесткие волосы.

Егор Северьяныч, болезненно сморщившись, ловил негнущимися, темными пальцами маленькую скользкую пуговицу на ширинке новых брюк, с великим трудом вгонял ее в тугую петельку.

— Сошьют же, оглоеды! — ругался он.— Не лезет, хоть ты что. Хоть матушку-репку пой.

Степан пригладил волосы, остановился посреди избы, соображая, что еще сделать над собой.

— Надень галстук,— посоветовал дед Северьян.

— На вышитую рубаху не идет,— пояснил Степан.

Собрались наконец.

Егор Северьяныч тронул огромной ладонью затылок, озадаченно посмотрел на отца.

— А пол-литра-то брать с собой или нет? Они ведь теперь по-новому все живут, не поймешь ничего.

Дед Северьян подумал.

— Возьми в карман, — посоветовал он. — Понадобится — она при себе.

Пошли.

День был солнечный, звонкий. Текли ручьи. Небо отражалось в лужах; синие осколки его там и здесь весело сверкали на черной земле. Апрель вовсю бушевал на дорогах.

Шли молча. Старательно обходили лужи, чтобы не замарать сапоги.

У Куксиных огромный домина выстроен.

В первых двух комнатах никого не было. Егор Северьяныч приуныл: он думал, что сейчас разведет лясы со стариком Куксиным и в разговоре как-нибудь вставит: “А мы ведь к вам того, по делу...” Старик обязательно помог бы ему. Теперь же надо проходить прямо в горницу, где жила Элла.

Отец с сыном переглянулись и направились к горнице.

Егор казанком указательного пальца осторожно стукнул в дверь.

— Да! — ответили из горницы.

У Степана больно подпрыгнуло сердце.

Егор Северьяныч приоткрыл половинку двери, с трудом протиснулся внутрь. Степан — за ним. Стали у порога.

Прямо перед ними за столом сидел Васька Семенов, а рядом с ним, близко, — Эллочка.

Чай попивают. Васька без пиджака, в шелковой желтой рубашке, выбритый до легкого сияния. Сидит как у себя дома, свободно, даже развалился немного. Смотрит на Емельяновых ласково и глупо.

Эллочка легко поднялась с места, подставила гостям стулья.

— Проходите, садитесь, пожалуйста.

Егор Северьяныч, глядя на Ваську, прошел и сел. Потом оглянулся на сына. У Степана во всю щеку полыхал горячий румянец. Он точно прирос к полу.

— Садитесь, что вы стоите! — весело крикнула Эллочка. — Вы что, его никогда не видели?

Степан сел, положил на колени фуражку.

Некоторое время молчали.

Эллочка, готовая рассмеяться, бросала взгляды то на Егора, то на Ваську. Васька тоже ничего не понимал.

— Слушаю, товарищи. А я помню вас,— повернувшись к Степану, весело сказала Элла.— Я однажды ехала с вами из города. Вы тогда очень сердитый были.

Степан мучительно улыбнулся.

А Васька счел необходимым пошутить.

— Левачков, значит, подбрасываем, Степан Егорыч? Не хорошо!..

Егор Северьяныч еще раз глянул на гладкое Васькино лицо, нагнул по-бычьи голову и сказал прямо:

— Мы, девка, сватать тебя пришли.

Эллочка от неожиданности приоткрыла рот.

— Как?..

— Ну как сватают! Сын вон у меня,— Егор кивнул в сторону Степана,— хочет, чтобы ты за него выходила. Если ты согласная, конечно.

Элла взглянула на Степана.

Тот сжал до отеков кулаки, положил на колени и внимательно их рассматривал. На лбу у него мелким бисером выступил пот. Он не вытирал его.

— То есть замуж?..— спросила Элла и покраснела.

— Куда же еще,— вздохнул Степан. И посмотрел в глаза Ваське.

Васька хохотнул и пошевелился на стуле. И уставился на Элле. Она стояла около стола, розовая от смущения, старательно снимала белыми пальчиками соринку с платья.

— Поздно хватился, Степан,— громко сказал Васька и опять пошевелился на стуле.— Опоздал.

Степан на этот раз не удостоил его взглядом, смотрел неотступно, требовательно и серьезно на девушку, ждал. Смущение его отчего-то прошло.

Эллочка вдруг резко подняла голову, глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами. И стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще невыразимо прекрасное, робкое, отчаянное было в ее взгляде. У Степана дрогнуло от радости сердце. Никто бы не смог объяснить, что такое родилось вдруг между ними и почему родилось. Это понимали только они двое. Да и то не понимали. Чувствовали.

И в этот-то момент Васька брякнул:

— Мы скоро поженимся, Степа...

И так это у него глупо вышло, что он даже сам подумал: не надо бы ему так говорить.

Егор Северьяныч встал было и пошел из горницы, но Элла как-то вся вдруг встрепенулась, даже немного излишне поспешно сказала:

— Куда вы? Сват называется! Я-то вам еще ничего не ответила.

Она быстро приходила в себя. Она не смотрела на Степана, но Степан... Степану неважно было, смотрит она на него или нет. Степан весь горел от стыда и радости. Никакие силы не подняли бы его сейчас с места и не заставили уйти.

Егор Северьяныч остановился. Васька сидел красный и растерянный. Он с ужасом тоже начал что-то понимать.

— Садитесь. И давайте чай пить, что ли.

Эллочка сначала растерялась, потом заговорила уже уверенно и с какой-то другой теперь веселостью, чем вначале, — с решительной веселостью.

Все были в ожидании того, что сейчас непременно произойдет.

— Может, мне лучше уйти? — громко спросил Васька, и голос его дрогнул от обиды. Васька погибал, погибал прямо и просто. Он даже не пытался спастись.

— Я считаю, что да, — тоже громко сказал Степан.

Он немного поторопился. Не надо бы так тоже. Но уж тут ничего не сделаешь. Их было двое, и один должен был уйти. Оба действовали грубо. И кого-то одного Эллочка должна была извинить.

Васька на этот раз тоже не удостоил Степана взглядом: он смотрел на Эллу. Элла опять покраснела и глянула на Егора Северьяныча, который все еще стоял посреди горницы и переводил глаза то на одного, то на другого, то на третью. Он совсем не мог сообразить, что тут происходит. Эллочка невесело рассмеялась:

— Вот положение-то, господи! Хоть бы помог кто-нибудь. Ну почему вы стоите-то! Садитесь же!

Она даже ногой слегка пристукнула. Ей было нелегко.

Васька поднялся со стула. Стал надевать пиджак. Он его как-то очень медленно надевал. Все ждали, когда он наконец наденет его.

— Эх, Степа, жалко мне тебя, — сказал Васька.

И пошел из горницы. На пороге еще оглянулся, зло и весело посмотрел на всех и вышел, крепко хлопнув дверью.

Некоторое время в горнице было тихо.

Степан осторожно вытер со лба пот. И улыбнулся.

— Нет, вы как хотите, а я сейчас выпью, — сказал Егор Северьяныч, подходя к столу. — Я даже ослаб от такого сватовства.

ПРАВДА

На межрайонном совещании председателей колхозов и директоров совхозов Николай Алексеевич Аксенов, председатель колхоза "Пламя коммунизма", — Аксеныч, как его попросту называли, — выдал такую огневую речь, что сам потом удивился.

Он то гремел с трибуны, подвергая беспощадной критике недостатки в своем колхозе, то, указывая прокуренным пальцем на аудиторию, тихо и строго предупреждал: "Но учтите, дорогие товарищи, мы все это исправим. Исправим". Под конец, правда, он дал маху: забыл в пылу выступления, что кукурузу называют "королевой полей", и назвал ее "русской красавицей". В зале засмеялись и долго хлопали Аксенову.

Сейчас, копаясь в моторе своего "козла", Аксеныч с удовольствием думал: "Могу, язви ты в легкое!"

Сзади кто-то негромко спросил:

— Вы к себе сейчас едете?

Аксенов обернулся: спрашивал невысокий, бритый наголо, с серым лицом, большеротый. Смотрел спокойно, чуть насмешливо. Аксенов узнал: новый директор Березовского совхоза, сосед Аксенова.

— Подбросить, что ли?

— Да.

— Сейчас... — Аксенов опять уткнулся в мотор. — Свечи закидало... — Он вывернул запальную свечу, подчистил ножом контакты-усики, поскоблил, протер, продул и ввернул опять.

Большеротый все стоял и смотрел ему в спину.

"Как же его фамилия?" — пытался вспомнить Аксеныч. Он еще не был знаком с новым директором, слышал о нем как о человеке странном. В чем заключалась эта странность, он сейчас не мог вспомнить, так же как и фамилию директора.

Во время совещания прошел хороший дождь, дороги размыло.

Пока выбирались на гравийную дорогу, молчали. Задок "козла" заносило из стороны в сторону. Аксеныч ожесточенно крутил баранку и ворчал:

— Черт-те надавал!.. В районном центре не могут дорогу сделать как следует. Ты гляди!..

Большеротый сидел с ним рядом, курил, безучастно смотрел вперед.

Когда наконец выбрались на гравий и машина пошла ровно, Аксеныч откинулся на спинку сиденья, достал одной рукой папиросы, закурил.

— Слышал, как я выступал? — спросил он, опять с удовольствием вспомнив свое выступление.

— Слышал, — откликнулся большеerotый.

Аксеныч подождал, не скажет ли он чего еще, и, не дождавшись, спросил:

— Как, по-твоему?

— Что?

— Выступил-то.

— По-моему, плохо. — Большеerotый повернул голову к Аксенычу и посмотрел ему прямо в глаза, просто и спокойно.

Аксеныч на секунду-две забыл про штурвал: засмотрелся на чистые, незлые, насмешливые глаза нового соседа. Взгляд этих глаз был тверд.

Директор первый отвернулся, показал глазами на дорогу. Аксеныч круто вывернул руль, сбавил скорость.

“Завидует, лысан! Сам не умеет выступать и завидует другим”, — подумал Аксеныч, но не успокоился от этой мысли.

— Почему плохо?

— А вы думаете, хорошо?

— Я ничего не думаю, — обозлился Аксенов, — я просто спрашиваю, почему плохо, и все.

— Плохо потому, что ничего конкретного. Одни возгласы да обещания. Недостатки, положим, были названы, но... и то, я вам скажу, схитрили вы здесь.

— Как это?

— Назвали такие недостатки, за которые головы не снимают. — Большеerotый повернулся к Аксенову и улыбнулся. — Так ведь?

Аксенов презрительно прищурил глаза.

— Чего так? — Он чувствовал себя глупо.

— Клуб не достроили — это полбеды. За это можно бить себя в грудь.

— А еще что? Что я утаил, например?

— А мор свиней в прошлом месяце?... Это же не стихийное бедствие, это безалаберность. Халатность. — Директор выговорил эти два слова твердым, спокойным голосом — он их не выбирал и ни на мгновение не задумался: говорить ли этими или подыскивать другие? — У вас есть акт ветврача об этом. Скрыли.

У Аксенова от злости засосало под ложечкой. Особенно возмутил его этот спокойный, уверенный тон директора. Он некоторое время молчал.

— Что же ты не сказал об этом?

Директор ответил тоже не сразу.

— Скажу. Вот осмотрюсь немного — начну говорить.

— Достанется нам тогда на орехи! — воскликнул Аксеныч. Он хотел еще добавить: “Таким большим ртом можно много-много наговорить всякой всячины”. Но удержался. С этой минуты он горячо невзлюбил директора и даже забыл подумать, откуда новичку известны такие факты, как припрятанный до поры до времени акт о падеже свиней в колхозе “Пламя коммунизма”, в котором есть и эти слова: “безалаберность” и “халатное отношение”. — Несдобровать нам тогда! А? — Аксеныч окинул насмешливым взглядом соседа. Он тоже решил казаться насмешливым.

— Не знаю, как насчет сдобровать, но акты из столов... — тут директор несколько замялся, — акты придется вытащить. Они не для того пишутся, чтобы лежать в столах. Правильно? — Директор засмеялся и хлопнул Аксенова по плечу: он отчего-то развеселился.

Аксенов резко шевельнул плечом, скидывая руку директора.

— Не лапай, я не баба.

— О!

“Запугать хочет. Как с ребенком разговаривает, стервец. Стреляный воробей, вообще-то говоря, — думал Аксенов. — В секретари метит. Как бы тебя ущемить, черта лысого? Высажу сейчас посреди дороги. Скажу, что в другую сторону надо”. Но вместо этого неожиданно для себя Аксеныч покосился на директора и усмехнулся.

— Поглядим, сосед, как ты развернешься. Ой, поглядим!

— Развернемся! — Директор улыбнулся бескровными губами. И так хорошо он улыбнулся, что Аксенов почему-то вдруг поверил: этот развернется. Что-то такое было у него припрятано про запас — и чувствуешь, но не понимаешь, что именно. Развернется и будет все такой же насмешливый и спокойный.

— Посмотрим, посмотрим! — еще раз сказал Аксенов, и таким тоном, точно обещал новичку верную каторгу через год-другой.

Но удивительное дело: сам он не поверил в то, в чем хотел убедить нового директора, и почувствовал фальшь в своем самонадеянном, ни на чем не основанном тоне, когда

произнес это "посмотрим". "Черт его знает... пугаю к чему-то человека".

Горечь от сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза, прошла у Аксенова; эта горечь сменилась теперь острым желанием и самому заглянуть в глаза новому человеку, послушать его, понять, откуда у него такая уверенность в себе и в своих будущих делах на новом месте. Аксенов вовсе не струсил и не заискивал перед новым соседом — он сам был достаточно силен и крут, чтобы не заискивать, — просто захотел узнать этого человека поближе.

— Откуда сам?

— Из Калуги.

— Инженер?

— Точно.

— К нам... по охоте аль неволей?

— По охоте, почему же неволей! — Новичок повернулся к Аксенову, и на его сером квадратном лице изобразилось удивление.

"Значит, инженер так себе. Хорошего не отпустят с завода, — не без ехидства подумал Аксеныч. — Воображаешь ты много, друг милый".

— А все-таки зря ты легко смотришь на свое, так сказать, ближайшее будущее, — не удержался и еще раз сказал Аксенов. — Наше дело сложное, посложней заводского.

— Ничего, — сказал новичок, и Аксенова опять взяла досада: в конце концов не мешало бы новичку прислушаться к словам опытных людей. Едет, как к теще на блины.

Подъехали тем временем к чайной на окраине большого села. Остановились.

— Закусим?

— С удовольствием! — оживился новый директор. — Есть хочется.

Сидели друг против друга за маленьким квадратным столиком, ждали официантку.

Директор, склонив большую полированную голову, изучал синие кружочки на клеенке. Аксенов смотрел на него. И в нем родилась вдруг озорная мысль.

— По сто пятьдесят, что ли, закажем?

Директор поднял голову.

— Не пью.

"Брось ты... Поставить себя хочешь".

— В чайной или вообще?

Директор усмехнулся.

— Вообще. А вот курить не могу бросить.— Директор полез за папиросами.— Три раза бросал — не вышло.

— Ты, наверно, думаешь,— начал Аксенов, пошевелившись на стуле,— вот, мол, припугнул председателя актом, он теперь виляет передо мной, выпить предлагает. Так?

— Нет, не так. Акт — это само собой. Между нами, я бы все-таки не полез на твоём месте на трибуну с такой речью. Совесть же надо иметь, елки с палкой! Я, грешным делом, смекнул там, на совещании: может, думаю, у него пересмотрели это дело с падежом, комиссия какая-нибудь была. А в машине понял, что никакой комиссии не было — акт лежит у тебя под сукном.

— Тебе бы следователем работать,— съязвил Аксенов, чувствуя, как к сердцу снизу подмыла едкая волна — стыд. Стыд и злость опять овладели им.— Так вот слушай: акт этот я опротестовал и на самом деле жду комиссию. Чтоб ты знал.— Аксенов сказал это, в упор глядя на директора, не скрывая злости.

Этот человек бесил его и вместе с тем привлекал. Аксенов знал, что не смог бы сейчас встать и уйти, оставив за спиной эти спокойные, правдивые глаза. Хотелось уж теперь досидеться до той поры, когда самому возможно будет прямо взглянуть в них, в эти глаза, и чувствовать себя при этом спокойным и уверенным. Но как это сделать, он не знал. Насчет комиссии он соврал, то есть не то чтоб соврал — он действительно был не согласен с актом ветврача и действительно хотел пригласить комиссию, но он еще не пригласил и акта официально не опротестовывал. В сущности, Аксенов, конечно, соврал и испытывал сейчас такое чувство, точно его, взрослого человека, застали за мелким воровством, будто кто-то неслышно подошел сзади и спросил: “Ты что здесь делаешь?”

“Сегодня же, сейчас же, как только приеду, вызову комиссию, черт ее задери!” — поклялся себе Аксенов.

Услышав, что Аксенов опротестовал акт и вызвал комиссию, директор внимательно посмотрел на него и сказал коротко, деловито:

— Это другое дело.

У Аксенова слабо зарозовели скулы. Ах, до чего, черт возьми,— до зуда в груди — захотелось быть с этим человеком на равных, захотелось вдруг сказать ему какие-нибудь обыкновенные слова, вроде: “Это не так, директор” или: “Это другое дело!”

“Нет, к чертям собачьим!.. Надо кончать со всякими такими актами”. Аксенов на минуту представил себе, каким спокойным, прямо счастливым он чувствовал бы себя сейчас, если бы за душой не было бы этого темного дела с актом, если бы он был чист. Он бы сейчас толково и обстоятельно рассказал новичку, как трудно управлять большим, сложным хозяйством, чего не надо делать поначалу и что надо сделать сразу, немедленно... Он улыбнулся.

— Знаешь, о чем тебя попрошу: как только первый раз где-нибудь словчишь, скажи мне. Только по-честному. Мне охота узнать: проживешь ты без этого или нет?

Директор выслушал, тоже улыбнулся.

— Договорились. Ты думаешь, без этого нельзя?

У Аксенова стало легче на душе.

— Как тебе сказать... Можно, конечно.— Аксеныч опять улыбнулся.— Вообще-то так и надо... Эх!.. Забыл, как твоя фамилия?

— Воловик, Николай.

— Тезки с тобой. Я тебе так скажу, Микола: можно. Мы тут ведь уж подолгу работаем, выросли, так сказать, корнями в дела эти колхозные да совхозные, переплелись друг с другом... Ну и случится иной раз: сказал бы про него, подлеца, правду, да у самого рыло, как говорится, в пуху — смолчишь. Но ты не думай, пожалуйста, что мы тут только и делаем, что скрываем грехи друг от друга.

— Господи!.. Кто же так думает! Дела у вас хорошие, большие.— Воловик говорил серьезно, искренне.— Потому и захотелось попробовать тут свои силенки. Я о том, что обидно, елки с палкой, когда в таких делах случаются...

— Случаются,— перебил Аксеныч и нахмурился, глядя в стол.— Случаются, Микола.

— Вообще совещание мне понравилось. Некоторые очень толково говорили, конкретно.

Аксенов опять покраснел: вспомнил свое выступление.

— У нас есть люди... Первый секретарь — дельный мужик: знает хозяйство... Со вторым нам не повезло малость: суетливый какой-то, шумит много...

Подошла официантка. Заказали два борща, две порции котлет, по кружке пива.

— Борщ тут у нас знатный делают,— похвастал Аксеныч.— В Калуге такого... Хотя ты ж с Украины, наверно?

— Нет, калужанин коренной. Отец украинец был, а жил тоже в Калуге.

— Ты с семьей здесь или один пока?

— Один пока.

— Как устроился-то? Слушай, приезжай сегодня ко мне! Этак к вечеру. Баньку протопим, с неводишком на речку сбегает... Небось стосковался без своих-то? Я тебе поподробнее расскажу про все наши дела, введу, так сказать, в курс дела... Ты поверишь, нет, я чего-то до смерти рад, что познакомился с тобой. Не подумай, что я насчет этого дурацкого акта боюсь. Я всегда оправдаюсь. Чего-то ты мне поглянул, честное слово... — Давно уж Аксеныч не говорил таких простых, хороших слов, давно уж не испытывал такого горячего, участливого уважения к человеку.

Воловик подумал немного и согласился.

— Только... я, понимаешь, не один приеду, если разрешишь. Ко мне дружок заехал... офицер с Дальнего Востока. Демобилизовался. Тоже дела человек ищет. Я думаю, мы ему вдвоем как-нибудь поможем присмотреться. Мне хочется, чтобы он здесь остался... Толковый парень!

На сердце Аксенова расцвела хорошая, благодарная радость.

— Конечно!.. Господи, да мы его тут враз с делом окрутим. Покажу вам свое хозяйство. У меня хозяйство хорошее, Микола. Ферма!.. Ты знаешь, какая у меня ферма! Вся начисто механизирована! — Аксеныч широко повел правой рукой; в глазах его засветился счастливый огонек. — Ребята-дояры — вот такие! Комсомальцы. Ты правильно сделал, Микола, что приехал сюда. Поможем! Трудно будет первое время — это точно. Поможем. Я не зря говорю...

Директор слушал, кивал большой гладкой головой — соглашался. Смотрел на Аксенова доверчиво.

ПЛЕМЯННИК ГЛАВБУХА

Совещание было коротким.

— Хватит миндальничать! — сказал дядя. — Дальше еще хуже будет. Завтра он поедет ко мне и будет учиться на счетовода. Специальность не хуже всякой.

Мать всплакнула было, но скоро успокоилась, и, поглядывая на закрытую дверь горницы, стала негромко и жалко просить брата:

— Помоги, Егорушка! Я больше не могу ничего сделать. Учиться не хочет, хулиганит... На днях соседской свинье глаз

выбил. Я уж просила доктора — доктор сосед-то, — чтобы он не жаловался никуда. Свинья-то теперь боком ходит.

Дядя нахмурился и покачал головой.

— Уж ты будь ему вместо отца родного. Жив был бы Игнат — разве так все было... — Мать опять всплакнула.

— Ладно, ладно, — сказал дядя, — чего там!.. Сделаем.

...В горнице сидел подросток лет тринадцати-четырнадцати, худой, лобастый, с голубыми девичьими глазами — Витька. Катал по столу бильярдный шар и недовольно сопел. Решалась его судьба.

В горницу вошел дядя и объявил:

— Поедешь завтра со мной!

— Куда это?

— В Кондратьево. Будешь учиться на счетовода.

Витька искренне удивился.

— Какой же из меня счетовод! Вы что!

— Ничего-о, я с тобой сам теперь займусь. Вот так.

Дядя вышел.

Витька спрятал в карман шарик, открыл окно, вылез на улицу и, пригибаясь под окнами, пошел прочь со двора.

...Дядя догнал его на коне за поскотиной.

Витька, завидев всадника, нырнул в придорожный черемушник и затих. Дядя остановился как раз против того куста, под которым затаился Витька. Негромко приказал:

— Вылазь!

Витька ни гугу.

— Я ведь знаю, что ты здесь. Бегать еще не умеешь: кто же прячется возле дороги?

Витька вышел. Потер ушибленное колено.

— Где же еще спрячешься? Чистое поле кругом.

— Пошли, — сказал дядя беззлобно. — Ну и осел же ты, Витька! Даже удивительно.

Витька шагнул рядом с мордой лошади. Молчал.

— Куда бы ты побежал, интересно?

Витька сплюнул на дорогу, сунул руки в карманы и посмотрел далеко-далеко — на закат. Ему не хотелось об этом говорить.

— Характер! Эх, отца бы тебе сейчас!.. Ну ничего!

Долго молчали.

В воздухе заметно посвежело. Пыль на дороге стала холодной.

— Чего тебе в жизни надо, Витька?

Молчание.

— Почему ты не учишься, как все люди?

Опять молчание.

— Работать хочешь?

— Хочу.

— Кем? Конюхом?

— Необязательно конюхом...

Дядя тоже сплюнул на дорогу и замолчал.

— Сопляк, — сказал он через некоторое время.

Витька посмотрел на него снизу чистыми честными глазами и отвернулся.

— У нас в родне все в люди вышли, авторитетом пользуются, а ты... Вот осел-то! — громко возмутился дядя. — Ты думаешь, конюхом — хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в конюхи-то идет. Голова садовая! Ну ничего! Я возьмусь за тебя.

Витьку посадили за большой стол рядом с толстой девушкой, которую все называли Лидок.

Лидок внимательно посмотрела на Витьку, вздохнула.

— Надо же, такие глаза и парню достались.

Витьке это почему-то не понравилось. Вообще все тут ему не понравилось. Контора была большая и бестолковая, как показалось Витьке. Много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте. Дядя Витькин, главбух объединенного колхоза, занимал отдельный кабинет. Время от времени он, озабоченный, выходил оттуда и требовал у какой-нибудь из девушек "балансовый отчет" или "платежную ведомость". И внимательно и строго смотрел на Витьку.

Девушек в конторе было четыре. Все, как одна, скучные и глупенькие. Когда никого не было, они сплетничали о парнях и смеялись. Очень много смеялись. И без конца ели конфеты. Витька презирал их. Но больше всех он невзлюбил Лидок.

— Ты таблицу умножения знаешь, конечно?

— Знаю, конечно.

— Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся!

Витька умножал скучное число на число еще более скучное, получал скучнейший результат и подавал Лидок. Лидок сосала конфетку и проверяла на арифмометре Витькино вычисление.

— Пра-льно. Тренируйся больше.

— Ну и дура ты! — не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку.

— Ты что это?

— Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в волейбол.

— Егор Васильевич! — позвала Лидок.

Из кабинета вышел дядя, строгий и озабоченный.

— Он на меня говорит: “дура”.

— Зайди ко мне.

Витька не без робости вошел к дяде в кабинет.

— Вот что, дорогой племянничек, — заговорил дядя, стоя посреди кабинета с бумажкой в руке, — если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

— Понял.

— Вот так! Иди извинись перед девкой. Она в два раза старше тебя, сопляк. Не хватало еще с тобой тут возиться.

Витька вышел из кабинета, прошел на свое место.

Девушки щелкали на счетах и неодобрительно посматривали на него.

— Попало? — спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги... задумался, глянул на солидную Лидок и написал крупно, во весь лист: “ФИФЫЧКА”. И показал Лидок.

Лидок тихонько ахнула, посмотрела на дверь кабинета, потом взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

“КОНЮХ” — было написано на листе.

Витька взял новый лист и написал: “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”.

Лидок фыркнула, взяла новый лист и быстро написала: “ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРΟΣ”.

Витька долго думал, потом написал в ответ: “СВЕЖА-СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО”.

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла с ним в кабинет.

Витька, недолго раздумывая, поднялся и пошел из конторы, осторожно прикрыв за собою дверь.

Близилась осень. Ее дыхание тронуло уже лес и поля. Листья на деревьях пожелтели. Трава поблекла, сухо шуршала под ногами.

Витька вышел за деревню, на косогор, сел и стал смотреть в степь.

День был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый отсвет делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось очень грустно. Вспомнилась мать. Захотелось домой. Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами — с дорогой, с дождиком, с печкой... Когда они откуда-нибудь идут с Витькой уставшие, она просит: "Матушка-дороженька, помоги нашим ноженькам — приведи нас скорей домой". Или если печка долго не разгорается, она говаривает ей: "Ну, милая... ты уж сегодня совсем что-то... Барыня какая". Витька любил свою мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же — ездить на мельницу, перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи... А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: "Учись ты ради Христа; учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: ученые шибко уж хорошо живут". Был у них сосед-врач Закревский Вадим Ильич, так этим врачом она все глаза протыкала Витьке: "Смотри, как живет человек". Витька ненавидел сытого врача и одно время подумывал, не поджечь ли его большой дом. Ограничился пока тем, что выбил его свинье левый глаз.

— Матушка-степь, помоги мне, пожалуйста, — попросил Витька, а в чем помочь, он точно не знал. Он хотел, чтобы его оставили в покое, хотел быть сейчас дома, хотел, чтобы Лидок не мучила его вычислениями. Стало легко оттого, что он попросил матушку-степь. Он незаметно заснул.

Разбудил его дядя.

Когда Витька проснулся, дядя стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Сеялся нехолодный мелкий дождь. Было уже темно.

— Замерз? — спросил дядя.

— Нет.

— Нет... — Дядя поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. — Ох, Витька, Витька... обормот ты мой!.. — Дядя взял Витьку

в охапку и понес. Тут только увидел Витька, что рядом с ними стоит конь.— Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя сел сзади.

— Ну что? — спросил дядя, когда они поехали.

— Ничего.

— Не хочешь быть бухгалтером?

— Нет.

— Ни в какую?

Витьке показалось, что дядя сейчас начнет ругаться, и он промолчал.

— Ну и черт с ней! Знаешь... тоже, я тебе скажу, невелика пешка — бухгалтер. Ничего, Витька, проживем. Ты только, я прошу тебя, не хулигань. Разобидел давеча девку до слез. Она ж невеста, а ты ей такие слова. Чудо!

— Она сама начала.

Дядя закурил и задумался.

Дождь перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. Крепко запахло картофельной ботвой и гнилой древесиной. По селу лаяли собаки. Хлопали калитки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Где-то недалеко били палкой по чему-то мягкому, наверное по перине, и приговаривали:

— Ты гляди, что делается — пыли-то! Пыли-то!

— Завтра пойдем с тобой к председателю, посоветуемся,— заговорил дядя.— Я бы тебя к машине какой-нибудь приставил. Хочешь?

— Конечно. А домой я не поеду?

— Нет, домой пока не надо.

— Почему?

Дядя помолчал.

— Мать твоя замуж, наверно, выйдет. Она ведь молодая еще. Сватается там один...

Витька чуть с коня не свалился — настолько поразило его это известие. Во-первых, он с удивлением узнал, что его мать еще молодая, во-вторых... как это так? А как он, Витька?

— Он неплохой мужик. Я его знаю немного,— рассказывал дядя, а Витька с болезненной остротой представил себе, как ходит по ихнему дому этот “неплохой мужик” и зевает. Почему-то зевает.

“Из-за меня это она. Потому что я непутевый”, — догадался Витька, и ему стало до слез жаль свою мать.

Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворот дядя соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку.

— Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси — дождь, наверно, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печь.

Дядя пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул лошадь.

До Игренева, где жила мать Витьки, было километров семь. Витька пробежал их скоро: лошадь разохотилась в беге, несла ровно и быстро. Витька сперва ждал, что она где-нибудь споткнется, потом успокоился и стал думать о матери. Не терпелось поскорей увидеть ее и сказать... что-нибудь хорошее, ласковое. Витька ругал себя, свой дурной характер, который привел к тому, что мать вынуждена впускать в дом чужого мужчину. Ей, конечно, трудно одной — это Витька и без дяди понимал. Теперь они будут вдвоем, теперь Витька никогда не обидит мать и никому не позволит ее обидеть. Только бы она не успела привести этого...

Мать уже спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька соскочил с коня, набросил повод на колышек плетня, постучал в дверь.

— Кто там? — Мать не на шутку испугалась.

— Я,— сказал Витька.

— Витя!.. Ты чего, сынок? — Открыла дверь, обняла второпях сына, потом спохватилась: — Ты чего, сынок? Не с Егором ли чего? Он с тобой?

— Нет.— Витька прошел в избу, дождался, когда мать засветит огонь. Огляделся.

Мать во все глаза смотрела на сына. Какой-то он был... странный.

— Что случилось-то, Витька?!

— Ничего,— Витька присел на краешек кровати, долго молчал.

— Мам...— Голос его чуть дрогнул.— Ты... замуж, что ли, выходишь?

Мать вспыхнула горячим румянцем. Помолчала, потом заговорила торопливо, с усмешечкой, которая должна была скрыть ее растерянность:

— Да ты что?.. Кто тебе сказал-то? Господи... Ты откуда взял-то это?

“Врет”, — понял Витька. И встал.

— Пойду коня расседлаю.

Когда он вышел, мать быстро натянула платьишко, покружилась по избе, не зная, что делать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала отчего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет... Так и пройдет.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери. Неловко, осторожно провел рукой по ее волосам.

— Не надо.

— Я ничего, сынок. Я — так. Чаю хочешь?

— Я насовсем приехал, мам.

— Ну и хорошо! Это хорошо, сынок! Я тебе чаю сейчас поставлю.

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

“А что, мама? Тряхни стариной — приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добираться лучше самолетом — это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь”.

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

— Зовет Павел-то к себе,— сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. (Шурка — внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.)

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами — поезжай, раз зовет.

— У тебя когда каникулы-то? — спросила бабка строго.

Шурка навострил уши.

— Какие? Зимние?

— Какие же еще, летние, что ль?

— С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой — задумалась. А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

— А что? — еще раз спросил он.

— Ничего. Учи знай.— Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну — посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

— Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. “Приезжай,— говорит,— мама, шибко я по тебе соскучился”.

Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал что, а бабка ей громко:

— Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно...

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

— Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать?..

Видно было, что все ей советуют ехать.

Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку — такой же сухощавый, скуластый, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка — энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

— Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...

— Привет! — сказал Шурка. — Кто же так телеграммы пишет?

— А как надо, по-твоему?

— Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового года. Точка. Подпись: мама. Все.

Бабка даже обиделась.

— В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же уметь помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

— Пожалуйста,— сказал он. — Мы так, знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

— Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем...

Шурка отложил ручку.

— Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

— Пиши, как тебе говорят! — приказала бабка. — Что я, для сына двадцать рублей пожалею?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

— Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями — все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько...

— На почте все равно переделают, — вставил Шурка.

— Пусть только попробуют!

— Ты и знать не будешь.

— Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж... ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень...

Шурка пропустил эти слова — насчет того, что он стал большой и послушный.

— Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко...

Шурка написал: "жутко".

— ...соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

— Посчитаем, — злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: — Раз, два, три, четыре...

Бабка стояла за его спиной и ждала.

— Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим шестьдесят на тридцать — одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто — имеем восемнадцать... На двадцать с чем-то рублей! — торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

— Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

— Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

...Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями седеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

— Значит, лететь хотите?

Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой.

— Лететь, Егор. Расскажи все по порядку — как и что.

— Так чего тут рассказывать-то? — Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. — Доедете до города, там сядете на Бийск — Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать...

— Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу. — Бабка поставила Егору стакан с пивом, строго по-смотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

— Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

— Записывай, Шурка, — велела бабка.

Шурка вырвал из тетради чистый лист и стал записывать.

— Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

— В Свердловске, правда, сделаете посадку...

— Зачем?

— Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все. — Егор решил, что теперь можно и выпить. — Ну?.. За легкую дорогу!

— Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают?

Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы.

— Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу...

Бабка налила ему еще один стакан.

— Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

— Как это? — не понял Егор.

— Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле да посердите стараетесь. Сахару больше кладите в хмели-

ну-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать — это стыдоба.

— Да,— задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил.— Да-а,— еще раз сказал он.— Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

— А что?

— Да так... Все может быть.— Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма.— Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан.

Егор сразу его выпил, крикнул и стал развивать свою мысль:

— Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: “Мне билет”. А куда билет — это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

— На самолете лететь — это надо нервы да нервы! Вот он поднимется — тебе сразу конфетку дают...

— Конфетку?

— А как же. Мол, забудься, не обращай внимания... А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: “Привяжись ремнями”. — “Зачем?” — “Так положено”. — Хэх... положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то — “положено”.

— Господи, господи! — сказала бабка.— Так зачем же и лететь-то на нем, если так...

— Ну, волков бояться — в лес не ходить.— Егор посмотрел на четверть с пивом.— Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться — и пожалуйста... Потом: горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока...— Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась.— Летим, значит, я смотрю в окно: горит...

— Свят, свят! — сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл — слушал.

— Да. Ну я, конечно, закричал. Прибежал летчик... Ну, в общем, ничего — отматерил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди... Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

— Я одного не понимаю,— продолжал Егор, обращаясь к Шурке,— почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папироску в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти.

— Ну и пиво у тебя, Маланья!

— Ты шибко-то не налегай — захмелеешь.

— Пиво... просто...— Егор покачал головой и выпил.— Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу... И костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой.— Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло.

— А вообще-то не бойтесь! — громко сказал он.— Садитесь только подальше от кабины — в хвост — и летите. Ну, пойду...

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

— Поклон Павлу Сергеевичу передайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто...

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел — не поговорили толком.

— Слабый ты какой-то стал, Егор.

— Устал, поэтому.— Егор снял с воротника полушубка соломинку.— Говорил нашим деятелям: давайте вывезем летом сено — нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, насилу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое...— Егор покачал головой, засмеялся.— Ну, пошел. Ничего, не робейте — летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

— До свиданья,— сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко...

И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором.

— Страшно, Шурка, — сказала бабка.

— Летают же люди...

— Поедем лучше на поезде?

— На поезде — это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

— Господи, господи! — вздохнула бабка. — Давай писать Павлу. А телеграмму анулироваем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

— Значит, не полетим?

— Куда же лететь — страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм.

Шурка задумался.

— Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людьми...

Шурка склонился к бумаге.

— Порассказали они нам, как летают на этих самолетах... А мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются...

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать:

“А теперь, дядя Паша, это я пишу, от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните... Он, например, привел такой факт: он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это нестрашно, но про меня — что это я вам написал — не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси — она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас летчик, Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, как мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно — заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота

глянуть на Москву. Ну, пока до свиданья. С приветом — Александр”.

А бабка между тем диктовала:

— ...Поближе туда к осени поедem. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепихного. В Москве-то ведь все с купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал?

— Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

“Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.

Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу. От матери его из Сибири”.

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

— Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедem.

— А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

— Шурк! — позвала бабка.

— А?

— Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

— Наверно. А что?

— Побывать бы хоть разок там... посмотреть.

— Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

— Так и пустили всех,— недоверчиво сказала она.

— Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

— Но ты тоже, бабонька: где так смелая, а тут испугалась чего-то,— сказал Шурка недовольно.— Чего ты испугалась-то?

— Спи знай,— приказала бабка.— Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.

— Спорим, что не испугаюсь?

— Спи знай. А то завтра в школу опять не добудисься. Шурка затих.

ДЕМАГОГИ

Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали.

Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками прилепывал по голому телу.

Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти — Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.

Старик нес на плече свернутый сухой невод.

Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, посматривал на небо. Время от времени сплевывал через зубы.

Разговаривали.

— ...Я ему на это отвечаю, слышь: “Милый, говорю, человек! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь”. Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. — “Ты, конечно, начальство!.. Но для меня ты — ноль без палочки. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!”

— А он что? — спросил Петька.

— А?

— А он что на это?

— Он? “А я,— говорит,— на тебя вовсе не ору”. Тогда я ему на это: “Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу”.

— Ха-ха-ха! — закатился Петька.

Старик прибавил шаг, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:

— Чего ты?

— Хитрый ты, деда!

— Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу...

Под обрывом, в затоне, сплывалась большая рыба; по воде пошли круги.

Петька замер.

— Видал?

Старик тоже остановился.

— Здесь рыбешка имеется, — негромко сказал он. — Только коряг много.

Петька как зачарованный смотрел на воду.

— Вот такая, однако! — Он показал руками около метра.

— Талмешка... Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя — порвешь только. — Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.

Еще сплавила одна рыбина, опять по воде пошли круги.

— Ох ты! — тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. — Может, попробуем?

— А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был.

Петька посмотрел на старика.

— Как утонула?

— Как... Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были.

Помолчали.

— Деда, а почему так бывает: когда человек утонет, он лежит на дне, а когда пройдет время, он выплывает наверх. Почему это?

— Его раздувает, — пояснил дед.

— Ее нашли потом?

— Кого?

— Девку ту.

— Конечно. Сразу нашли... Вся деревня, помню, смотреть сбежалась. — Дед помолчал и добавил задумчиво: — Она красивая была... Марья Малюгина.

Петька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга.

— Она здесь лежала? — Петька показал глазами на берег.

— Где-то здесь. Я уже забыл теперь. Давно это было.

Петька еще некоторое время смотрел на воду.

— Жалко девку, — вздохнул он. — Ныряет в воду, и косы зачем-то распускать. Вот дуреха!

— А?

— Я про Марью.

— Хорошая девка была. Шибко уж красивая.

Шумела река, шелестел в чаще ветер. Вода у берегов порозовела — солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наершилась рябью.

— Пошли, Пётра. Ветер подымается. К ночи большой будет: с севера повернул.

Петька, не вынимая рук из карманов, двинулся дальше.

— Северный ветер холодный. Правильно?

— Верно.

— Потому что там Северный Ледовитый океан.

Дед промолчал на это замечание внука.

— Деда, а знаешь, почему наша речка летом разливается? Другие весной — нормально, а наша в середине лета. Знаешь?

— Почему?

— Потому что она берет начало в горах. А снег, сам понимаешь, в горах только летом тает.

— Это вам учительша все рассказывает?

— Ага.

— Она верно понимает. Какие теперь люди пошли! Ей небось и тридцати нету?

— Это я не знаю.

— А?

— Не знаю, говорю!

— Ей, наверное, двадцать так. А она уж столько понимает. Почти с мое.

— Она умная.— Петька поднял камень и кинул в воду.— А я на руках ходить умею! Ты не видел еще?

— Ну-ка...

Петька разбежался, стал на руки и... брякнулся на задницу.

— погоди! Еще раз!!!

Дед засмеялся.

— ловко ты!

— Да ты погоди! Глянь!..— Петька еще раз разбежался и снова упал.

— Ну, будет, будет! — сказал дед.— Я верю, что ты умеешь.

— Надо малость потренироваться. Я же вчера только научился.— Петька отряхнул штаны.— Ну ладно, завтра покажу.

...Подшли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится. Здесь водятся хариусы.

Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду.

Вода была студеная. Дед посинел и покрылся гусиной кожей.

— Ух-ха! — воскликнул он и сел с маху в воду, чтобы сразу притерпеться к холоду.

Петька засмеялся.

— Дерет?

Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод.

— Пошли!

Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и тянул за собой. Петька скользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскочил, закрутил головой и воскликнул, как дед:

— Ух-ха!

— Подбавь! — кричал дед.

Вода доставала ему до бороды: он подпрыгивал и плевался.

Вдруг невод сильно повлекло течение от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его.

— Держи, Пётра! — кричал дед. Вода заливала ему рот.

Петька напрягал последние силы.

Голова деда исчезла. Невод сильно рвануло. Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень, крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его ослизлого бока.

Петьку понесло дальше.

Он вытянул вперед ноги и тотчас ударился еще об один камень. На этот раз ему удалось упереться ногами в камень и сдержать невод.

Огляделся — деда не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Он успел крикнуть:

— Ноги! Дер... — И опять исчез под водой.

Невод сильно дергало. Петька понял: ноги деда запутались в неводе. Петька согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом, то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед.

...Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег.

— Деда! А деда!.. — звал Петька и плакал. Потом принялся делать ему искусственное дыхание.

Деда стало рвать водой. Он корчился и слабо стонал.

— Ты живой, деда? — обрадовался Петька.

— А?

Петька погладил деда по лицу.

— Напужался я до смерти, деда.

Дед закрутил головой.

— Звон стоит в голове. Чего ты сказал?

— Ничего.

— Ох-хох, Пётра... Я уж думал, каюк мне.

— Напужался?

— А?

— Здорово трухнул?

— Хрен там! Я и напужаться-то не успел.

Петька засмеялся.

— А я-то гляжу, была голова — и нету.

— Нету... Бодался бы я там сейчас с налимками. Ну, история. Понос теперь прохватит, это уж точно.

— И напужался ж я, деда! А главное, позвать некого.

— А?

— Ничего.— Петька смотрел на деда и не мог сдержать смех — до того был смешным и растерянным дед.

Дед тоже засмеялся и зябко поежился.

— Замерз? Сейчас костерчик разведем!

Петька принес одежду. Оделись. Затем набрал сухого валежника, поджег. И сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами.

Громко трещал сухой тальник, далеко отскакивали красные угольки. Ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны.

Сидели, скрестив по-татарски ноги, и глядели на огонь.

— ...А как, значит, повез нас отец сюда,— рассказывал дед,— так я, слышь? — залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дома уезжать. Там у нас тоже речка была, она мне потом все снилась.

— Как называется?

— Ока.

— А потом?

— А потом — ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земли-то какие. Не сравнить с той. Тут земля жирная.

Петька засмеялся.

— Разве земля бывает жирная?

— А как же?

— Земля бывает черноземная и глинистая,— снисходительно пояснил Петька.

— Так это я знаю! Черноземная... Чернозем черноземом, а жирная тоже бывает.

— Что она, с маслом, что ли?

— Пошел ты! — обиделся дед. — Я ее всю жизнь вот этими руками пахал, а он мне будет доказывать. Иная земля, если ты хочешь знать, такая, что весной ты посеял в нее, а осенью получаешь натуральный шиш. А из другой, матушки, стебель в оглоблю прет, потому что она жирная.

— Ты “полоску” не знаешь?

— Какую полоску?

Петька начал читать стихотворение:

*Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна,—
Грустную думаю...*

— Забыл, как дальше.

— Песня? — спросил дед.

— Стихотворение.

— А?

— Не песня, а стихотворение.

— Это все одно: складно, значит, петь можно.

— Здравсте! — воскликнул Петька. — Стихотворение — это особо, а песня — тоже особо.

— Ох! Ох! Поехал! — Дед подбросил хворосту в костер. — С тобой ведь говорить-то — надо сперва полбарана умять. Некоторое время молчали.

— Деда, а как это песни сочиняют? — спросил Петька.

— Песни складывают, а не сочиняют, — пояснил дед. — Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стало. “Эх ты, доля, эх ты, доля”, например.

— А “Эй, вратарь, готовься к бою”?

— Подожди... я сейчас... — Дед поднялся и побежал в кусты. — Какой вратарь? — спросил он.

— Ну, песня такая.

— А кто такой вратарь?

— Ну, на воротах стоит!..

— Не знаю. Это, наверно, шутейная песня. Таких тоже много. Я не люблю такие. Я люблю серьезные.

— Спой какую-нибудь!

Дед вернулся к костру.

— Чего ты говоришь?

— Спой песню!

— Песню? Можно. Старинную только. Я нынешних не знаю.

Но тут из темноты к костру вышла женщина, мать Петьки.

— Ну, что мне прикажете с вами делать?! — воскликнула она. — Я там с ума схожу, а они костры разводят. Марш домой! Сколько раз, папаша, я просила не задерживаться на реке до ночи. Боюсь я, ну как вы не понимаете?

Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними.

— А где же рыба-то? — спросила она.

— Чего? — не расслышал дед.

— Спрашивает: где рыба? — громко сказал Петька.

— Рыба-то? — Дед посмотрел на Петьку. — Рыба в воде. Где же ей еще быть.

Мать засмеялась.

— Эх вы, демагоги, — сказала она. — Задержитесь у меня еще раз до ночи... Пожалуюсь отцу, так и знайте. Он с вами иначе поговорит.

Дед ничего не сказал на это. Взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым, мать — за ним. Петька затоптал костер и догнал их.

Шли молча.

Шумела река. В тополях гудел ветер.

КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ

В самый разгар уборочной в колхозе “Заря коммунизма” вышли из строя две автомашины — полетели коленчатые валы. Шоферы второпях недосмотрели, залили в картеры грязное масло — шатунные вкладыши поплавились. Остальное доделали головки шатунов.

Запасных коленчатых валов в РТС не было, а ехать в областной сельхозснаб — потерять верных три дня.

Колхозный механик Сеня Громов, сухой маленький человек, налетел на шоферов соколом.

— До-дд-доигрались?! — Сеня заикался. — До-д-допрыгались?! —

Шоферы молчали. Один, сидя на крыле своей машины, курил с серьезным видом, второй — тоже с серьезным видом — протирал тряпкой побитые шейки коленчатых валов.

— По п-п-п-пятьдесят восьмой пойдете! Обои!.. — кричал Сеня.

— Сеня! — сказал председатель колхоза. — Ну что ты с этими лоботрясами разговариваешь?! Надо достать валы.

— Гэ-г-где? — Сеня подбоченился и склонил голову набок. — Г-где?

— Это уж я не знаю. Тебе виднее.

— Великолепно. Тэ-т-т-тогда я вам рожу их. Дэ-д-двойняшку!

Шофер, который протирал тряпочкой израненный вал, хмыкнул и сочувственно заметил:

— Трудно тебе придется.

— Чего трудно? — повернулся к нему Сеня.

— Рожать-то. Они же гнутые, вон какие...

Сеня нехорошо прищурился и пошел к шоферу.

Тот поспешно встал и заговорил:

— Ты вот кричишь, Сеня, а чья обязанность, скажи, пожалуйста, масло проверить? Не твоя? Откуда я знаю, чего в этом масле?! Стоит масло — я заливаю.

Сеня достал из кармана грязный платок, вытер потное лицо.

Помолчали все четверо.

— Ты думаешь, у Каменного человека нет валов? — спросил председатель Сеню.

“Каменный человек” — это председатель соседнего колхоза Антипов Макар, великий молчун и скряга.

— Я с ним н-н-не хочу иметь ничего общего, — сказал Сеня.

— Хочешь, не хочешь, а надо выходить из положения.

— Вэ-в-выйдешь тут...

— Надо, Семен.

Сеня повернулся и, ничего не сказав, пошел к стану тракторной бригады — там стоял его мотоцикл.

Через пятнадцать минут он подлетел к правлению соседнего колхоза. Прислонил мотоцикл к заборчику, молодцева-то взбежал на крыльцо... и встретил в дверях Антипова. Тот собрался куда-то уезжать.

— Привет! — воскликнул Сеня. — А я к тебе... З-з-здорово!

Антипов молча подал руку и подозрительно посмотрел на Сеню.

— Кэ-к-как делишки? Жнем помаленьку? — затараторил Сеня.

— Жнем, — сказал Антипов.

— Мы тоже, понимаешь... фу-у! Дни-то!.. Золотые де-денечки стоят!

— Ты насчет чего? — спросил Антипов.
— Насчет валов. Пэ-п-п-подкинь пару.
— Нету.— Антипов легонько отстранил Сеню и пошел с крыльца.

— Слушай, мэ-м-монумент!..— Сеня пошел следом за Антиповым.— Мы же к коммунизму п-подходим!.. Я же на общее дело... Дай два вала!!!

— Не ори,— спокойно сказал Антипов.
— Дай пару валов. Я же отдам... Макар!
— Нету.

— Кэ-к-кулак! — сказал Сеня останавливаясь.— Кэ-к-когда будем переходить в коммунизм, я первый проголосую, чтобы тебя не брать.

— Осторожней,— посоветовал Антипов, залезая в “Победу”.— Насчет кулаков — поосторожней.

— А кто же ты?

— Поехали,— сказал Антипов шоферу.

“Победа” плавно тронулась с места и, переваливаясь на кочках, как гусыня, поплыла по улице.

Сеня завел мотоцикл, догнал “Победу”, крикнул Антипову:

— Поехал в райком!.. Жаловаться на тебя! Приготовь валы, штук пять! Мне, пэ-п-правда, только два надо, но попрошу пять — охота н-н-наказать тебя!

— Передавай привет в райкоме! — сказал Антипов.

Сеня дал газку и обогнал “Победу”.

В приемной райкома партии былолюдно. Сидели на новеньких стульях с высокими спинками, ждали приема. Курили.

Высокая дверь, обитая черной клеенкой, то и дело открывалась — выходили одни и тотчас, гася на ходу окурки, входили другие.

Сеня сердито посмотрел на всех и сел на стул.

— Слишком много болтаете! — строго заметил он.

Мягко хлопала дверь. Выходили из кабинета то радостные, то мрачные.

Сеня закурил.

С ним рядом сидел какой-то незнакомый мужчина городского вида, лысый, с большим желтым портфелем.

— Вы кэ-к-райний? — спросил его Сеня.

— Э... кажется, да,— как-то угодливо ответил мужчина.

Сеня тотчас обнаглед.

— Я впереди вас п-п-пойду.

— Почему?

— У меня машины стоят. Вот почему.

— Пожалуйста.

К Сене подсел цыгановатый мужик с буйной шевелюрой, хлопнул его по колену.

— Здорово, Сеня!

Сеня поморщился, потер колено.

— Что за д-д-дурацкая привычка, слушай, руки распускать!

Курчавый хохотнул, встал, поправил ремень гимнастерки. Посмотрел на дверь кабинета.

— Судьба решается, Сеня.

— Все насчет тех т-т-тракторов?

— Все насчет тех... Я сейчас скажу там несколько слов.— Курчавый заметно волновался.— Не было такого указания, чтобы закупку ограничивать.

— А куда вы столько нахватили? Стоят же они у вас.

— Нынче стоят, а завтра пойдут — расширим пашню...

— Н-н-ненормальные вы,— сказал Сеня.— Когда расширите, тогда и покупайте. Что их, солить, что ли!

— Тактика нужна, Сеня,— поучительно сказал курчавый.— Тактика.

Из кабинета вышли.

Курчавый кашлянул в ладонь, еще раз поправил гимнастерку, вошел в кабинет. И тотчас вышел обратно. Достал из кармана блокнот, вырвал из него лист и, склонившись, стал вытирать грязные сапоги.

Сеня хихикнул.

— Ну что?.. Сказал н-н-несколько слов? Или н-н-не успел?

— Ковров понастелили,— проворчал курчавый. Брезгливо взял двумя пальцами черный комочек и бросил в урну.

Лысый гражданин пошевелился на стуле.

— Что, не в духе сегодня? — спросил он курчавого (он имел в виду секретаря райкома).

Курчавый ничего не сказал, вошел снова в кабинет.

— Не в духе,— сказал лысый, обращаясь к Сене.— Точно!

— Я сам не в духе,— ответил Сеня.

Чтобы не быть в кабинете многословным, Сеня заранее подготовил фразу: "Здравствуйте, Иван Васильевич. У нас прорыв: стали две машины. Нет валов. Валы есть у Антипова. Но Антипов не дает".

Секретарь сидел, склонившись над столом, смотрел на людей немигающими усталыми глазами, слушал, кивал го-

ловой, говорил прокуренным, густым голосом. Говорил негромко, коротко. Он измотался за уборочную, изнервничался. Скуластое, грубоватой работы лицо его осунулось, приобрело излишнюю жесткость.

— Здравствуйте, Иван Васильевич!

— Здорово. Садись. Что?

— П-п-прорыв... Два наших охламона залили в машины грязное масло... И, главное, у-у-убеждают, что это не их дело — масло п-п-проверить! — Сеня даже руками развел. — А чье же, м-м-милые вы мои? Мое, что ли? У меня их на шее п-п-пятнадцать...

— Ну а что случилось-то?

— Валы полетели. Стоят две машины. А з-за... это... запасных валов нету.

— У меня тоже нету.

— У Антипова есть. Но он не даст. А в сельхозснаб сейчас ехать — вы ж понимаете...

— Так что ты хочешь-то?

— Позвоните Антипову, пусть он...

— Антипов меня пошлет к черту и будет прав.

— Не пошлет, — серьезно сказал Сеня. — Что вы!

— Ну, так я сам не хочу звонить. Что вам Антипов — снабженец? Как можно докатиться до того, чтобы ни одного вала в запасе не было? А? Чем же вы занимаетесь там?

Сеня молчал.

— Вот. — Секретарь положил огромную ладонь на стекло стола. — Где хотите, там и доставайте валы. Вечером мне доложите. Если машины будут стоять...

— Понятно. По-по-понял. До свиданья.

— До свиданья.

Сеня быстро вышел из кабинета. В приемной оглянулся на дверь и сердито воскликнул:

— Очень хо-хо-хорошо! — И потер ладони. — П-просто великолепно!

В приемной остался один лысый гражданин. Он сидел, не решаясь входить в кабинет.

— Пятый угол искали? — спросил он Сеню и улыбнулся; во рту его жарко вспыхнуло золото вставленных зубов.

Сеня грозно глянул на золотозубого. И вдруг его осенило: городской вид лысого, его гладкое бабье лицо, золотые зубы, а главное, желтый портфель — все это непонятным образом вызвало в воображении Сени чарующую картину заводского склада... Темные низкие стеллажи, а на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежат валы — огромное количество

коленчатых валов. В складе тишина, покой, как в церкви. Прохладно и остро пахнет свежим маслом. Раза три за свою жизнь Сеня доставал запчасти помимо сельхознаба. И всякий раз содействовал этому какой-нибудь вот такой тип — с брюшком и с портфелем. Сеня подошел к золотозубому, хлопнул его грязной рукой по плечу.

— С-с-слушай, друг!.. — Сеня изобразил на лице небрежность и снисходительность. — У тебя на авторемонтном в го-городе никого знакомого нету? Пару валов вот так надо! — Сеня чиркнул себя по горлу ребром маленькой темной ладони. — Литр ставлю.

Лысый снял с плеча Сенину руку.

— Я такими вещами не занимаюсь, товарищ, — строго сказал он. Потом деловито спросил: — Он сильно злой?

— Кто?

— Секретарь-то.

Сеня посмотрел в серые мутновато-наглые глаза лысого и опять увидел стройные ряды коленчатых валов на стеллажах.

— Н-н-не очень. Бывает хуже. Иди, я тебя по-по... это... подожду здесь. Иди, не робей.

Лысый медленно поднялся, поправил галстук. Прошелся около двери, подумал. Быстренько снял галстук и сунул его в карман.

— Тактика нужна, тактика, — пояснил он Сене. — Правильно давеча твой друг говорил. — Откашлялся в ладонь, мелко постучал в дверь.

Дверь неожиданно распахнулась — на пороге стоял секретарь.

— Здравствуйте, товарищ первый секретарь, — нетропмо и торопливо сказал лысый. — Я по поводу алиментов.

Секретарь не разобрал, по какому вопросу пришел лысый.

— Что?

— Насчет алиментов.

— Каких алиментов?

Лысый снисходительно поморщился.

— Ну, с меня удерживают... Я считаю, несправедливо. Я вот здесь подробно, в письменной форме... — Он стал вынимать из желтого портфеля листы бумаги.

— Вот тут на улице, за углом, прокуратура, — показал секретарь, — туда.

Лысый стал вежливо объяснять:

— Не в этом дело, товарищ секретарь. Они не поймут... Я уже был там. Здесь нужен партийный подход... Я считаю, что так как у нас теперь установка на справедливость...

Секретарь устало прислонился спиной к дверному косяку.

— Идите к черту, слушайте!.. Или еще куда! Справедливость! Вот по справедливости и будете платить.

Лысый помолчал и дрожащим от обиды голосом сказал:

— Между прочим, Ленин так не разговаривал с народом.— Повернулся и пошел на выход совсем в другую сторону.— Все начисто забыли!

— Не туда,— сказал секретарь.— Вон выход-то!

Лысый вернулся. Проходя мимо секретаря, горько прошептал, ни к кому не обращаясь:

— А кричим: "Коммунизм! Коммунизм!"

Секретарь проводил его взглядом, потом повернулся к Сене.

— Кто это, не знаешь?

Сеня пожал плечами.

— По-моему, это по-по-п-полезный человек.

— А ты чего сидишь тут?

— Я уже пошел, все.— Сеня встал и пошел за лысым.

Лысый шагал серединой улицы — большой, солидный. Круглая большая голова его сияла на солнце.

Сеня догнал его.

— Разволновался? — спросил он.

— А заелся ваш секретарь-то! — сказал лысый, глядя прямо перед собой.— Ох, заелся!

— Он за-за-за... это... зашился, а не заелся. Мы же го-го-горим со страшной силой! Нам весной еще т-т-три тыщи гектар подвалили... попробуй тут! Трудно же!

— Всем трудно,— сказал лысый.— У вас чайная далеко?

— Вот, рядом.

— Заелся, заелся ваш секретарь,— еще раз сказал лысый.— Трудно, конечно: такая власть в руках...

— У тебя на авторемонтном в го-го-го...— начал Сеня.

— У меня там приятель работает,— сказал лысый.— Завскладом.— И посмотрел сверху на Сению.

Сеня даже остановился.

— Ми-ми-ми-ми-ми ты мой, ка-к-к... это... кровинушка ты моя! — Он ласково взял лысого за рукав.— Как тебя зовут, я все забываю?

Лысый подал ему руку.

— Евгений Иванович.

— Ев-в-ге-ге... Это... Женя, друг, выручи! Пару валов — хоть плачь!.. А? — Сеня улыбнулся. Глаза его засветились неожиданно мягким, добрым светом.— Д-д-две бутылки ставлю.— Сеня показал два черных пальца.

Лысый важно нахмурился.

— Тебе коленчатых, значит?

— Ко-ко-ко... Ага.

— Пару?

— Парочку, Женя!

— Можно будет.

Сеня зажмурился...

— В-в-в-великолепно! Махнем прямо сейчас? У меня мотоцикл. За час слетаем.

— Нет, сперва надо подкрепиться.— Женя погладил свой живот.

— Ла-ла-лады! — согласился Сеня.— Вот и чайнуха. Пять минут, эх, пять мину-ут!..— пропел он, торопливо семена рядом с огромным Женей. Потом спросил: — Ты сам, значит, городской?

— Был городской. Теперь в вашем районе ошиваюсь, в Соусканихе.

— Сразу видно, что го-го-го-городской,— тонко заметил Сеня.

— Почему видно?

— Очень ка-ка-к-красивый. На сцене, наверно, выступаешь? — Сеня погрозил ему пальцем и пощекотал в бок.— Ох, Женька!..

Женя густо хохотнул, потянулся рукой к груди: хотел поправить галстук, но вспомнил, что он в кармане, нахмурился.

— Бюрократ ваш секретарь,— сказал он.— Выступишь с такими...

— А ты где сам работаешь, Женя?

— По торговой.

— Хорошее дело,— похвалил Сеня.

Сели за угловой столик, за фикус.

Сеня обвел повеселевшими глазами пустой зал.

— Ну, кто там!.. Мы торопимся! По борщишку ударим? — спросил он Женю.

Женя выразительно посмотрел на него.

— Я лично устроил бы небольшой забег в ширину... С горя.

Сеня потрогал в раздумье лоб.

— Здесь?

— А где же еще?

— Это... вообще-то тут нельзя...

— Везде нельзя! — громко и обиженно заметил лысый. — Знаешь, есть анекдот...

— Ну, ладно, я поговорю пойду...

Сеня встал и пошел к буфету. Долго что-то объяснял буфетчице, махал руками, но говорил вполголоса. Вернулся к лысому, достал из-под полы пиджака бутылку водки.

— Ка-ка-калгановая какая-то. Другой нету.

Женя быстренько налил полный стакан, хряпнул, перекопился...

— Не пошла, сволочь!

Он налил еще полстакана и еще выпил.

— Ого! — сказал Сеня. — Ничего себе!

— От так. — На глазах у лысого выступили светлые слезы. — Выпьешь?

— Нет, мне нельзя.

— Правильно, — одобрил лысый.

Им принесли борщ и котлеты.

Начали есть.

— Борщ как помои, — сказал лысый.

Сеня с аппетитом хлебал борщ.

— Ничего борщишко, чего ты!

— До чего же мы кричать любим! — продолжал лысый, помешивая ложкой в тарелке. — Это ж медом нас не корми, дай только покрывать.

— Насчет чего кричать? — спросил Сеня.

— Насчет всего. Кричим, требуем, а все без толку.

Лысый хлебнул еще две ложки, откинулся на спинку стула. Его как-то сразу развезло.

— Вот ты, например, — начал он издали, — так называемый Сеня: ну на кой тебе сдались эти валы? Они тебе нужны?

Сеня, не прожевав кусок, воскликнул:

— Я ему битый час т-т-толкую, а он!..

— Я говорю: тебе! Лично тебе!

— Нужны, Женя.

Лысый поморщился, оглянулся кругом, повалился грудью на стол и заговорил негромко:

— Жизни-то никакой нету!.. Никаких условий! Законов понаписали — во! — Лысый показал рукой высоко над полом. — А все ж без толку. Пшик.

— Как это п-п-пшик? — Сеня отложил ложку. — Какие законы?

— А всякие. Скажем, про алименты...— Лысый полез под стол за бутылкой, но Сеня перехватил ее раньше.

— Хватит, а то ты за-запьянеешь. Мы же за ва-валами поедем.

— Валы!..— Лысого неудержимо вело.— Они небось на “Победах” разбегают, командуют, а мы вкалываем, валы достаем. Алименты вычитать — это у них есть законы!.. Равенство!..— Лысый говорил уже во весь голос.

Сеня внимательно слушал.

— Ешь! — зло сказал он.— Чего ты развякался-то?

— Не хочу есть,— капризно сказал лысый.— И в никакой коммунизм вообще я не верю. Понял?

— По-по-почему?

— Потому.— Лысый посмотрел на Сеню, пододвинул к себе тарелку и стал есть.— Тебе валы-то какие нужны? Коленчатые?

Сеня менялся на глазах — темнел.

— Почему, интересно, в коммунизм не веришь? — переспросил он.

— Ты только не ори,— сказал лысый.— Понял? От... А валы мы достанем.

— Вы-вы-вы...— Сеня показал рукой на дверь.— Выйди отсюда. Слышишь?!

— Чудак,— миролюбиво сказал лысый.— Чего ты разошелся?

Сеня грохнул кулаком по столу; один стакан подпрыгнул, упал на пол и раскололся.

Из кухни вышли повар и официантки.

...Сеня и лысый стояли друг против друга; лысый был на две головы выше Сени: Сеня смотрел на него снизу гневно, в упор.

— Ты не очень тут... понял? — Лысый трусливо посмотрел на официанток, усмехнулся.— От дает!..

Сеня толкнул его в мягкий живот.

— Кому сказано: выйди вон!

— Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то я... Смотри у меня! — Лысый пошел к двери, Сеня — за ним.— Смотри у меня!

— Я тебя насквозь вижу, паразит!

— Дурак ты!

— Я т-т-те по-по-кажу...

Около двери лысый обернулся, ощерился и небольно ткнул пухлым кулаком Сеню в грудь. Прошипел:

— Прислужник несчастный! Оборот!

Сеня отступил на шаг и ринулся головой на жирную громаду.

Дверь с треском распахнулась. Лысый вылетел на крыльцо и стал быстро спускаться по ступенькам. Сеня успел догнать его и пнул в толстый зад.

— Де-де-десятель вшивый!

— Вот тебе, а не валы! — крикнул снизу лысый. — Дурак неотесанный!

Лысый пустился тяжелой рысью по улице, оглянулся на бегу, показал Сене фигу.

Сеня крикнул ему вслед:

— Я на тебя в “Крокодил” на-на-пишу, зараза! Пе-пе-перижиток! Гад подколодный!

Лысый больше не оглядывался.

Сеня вернулся в чайную, расплатился с официанткой, спросил ее на всякий случай:

— У тебя на авторемонтном в го-го-городе никакого знакомого нету?

— Нет. Чего с лысым-то не поделили? — спросила официантка.

— Я на него в “Крокодил” на-н-напишу, — сказал Сеня, еще не остывший после бурной сцены. — Он в Соусканихе работает... Я его найду, гада!

На короткое мгновение в глазах Сени опять встала сказочная картина заводского склада с холодным мерцанием коленчатых валов на стеллажах — и пропала.

— А ни у кого тут из ваших в го-го-городе на авторемонтном нету знакомых?

— Откуда?!

Сеня завел мотоцикл и поехал к Макару Антипову. Маленькая цепкая фигурка на мотоцикле выражала собой одно несокрушимое стремление — добиться своего.

Антипова он нашел в полеводческой бригаде, в вагончике.

Макар сидел на самодельном, на скорую руку сколоченном стуле, пил чай из термоса.

— Макар!.. — с ходу начал Сеня. — Я здесь по-погибну, но без валов не уйду. Ты что, хочешь, чтобы я на тебя в “Крокодил” написал? Ты что...

— Спокойно, — сказал Макар. — Сбавь. В “Крокодил” — это вас надо, а не меня. — Он достал из кармана засаленный блокнот, нашел чистый лист, вырвал его и написал крупно:

“Егор, дай ему пару валов, в долг, конечно.”

Антипов”.

Сеня оторопел.

— С-с-пасибо, Макарушка!..

— Только жаловаться умеете, — сердито сказал Антипов. — Хозяева мне!.. Горе луковое!

— А-а! — Сеня сообразил, чья могучая рука вырвала у Макара валы. — Вот так, М-м-макар! А то ломался, по-по-по-нимаешь...

Макар продолжал пить чай из термоса.

Через час Сеня подлетел к двум своим машинам, начал отвязывать от багажника валы.

Оба шофера засуетились около него.

— Сеня!.. Милая ты моя душа! Достал?

— Вечером умоешься — я тебя поцелую...

— Ло-ло-лоботрясы, — сердито сказал Сеня, — в “Крокодил” вот катануть на вас!.. — Вытер запыленное лицо фуражкой, сел на стерню, закурил. — Да-да-да... это... давайте живее!

ВОСКРЕСНАЯ ТОСКА

Моя кровать — в углу, его — напротив. Между нами — стол, на столе — рукопись, толстая и глупая. Моя рукопись. Роман. Только что перечитал последнюю главу, и стало грустно: такая тяготица, что уши вянут.

Теперь лежу и думаю: на каком основании вообще человек садится писать? Я, например. Меня же никто не просит.

Протягиваю руку к столу, вынимаю из пачки “беломорину”, прикуриваю. Кто-то хорошо придумал — курить.

...Да, так на каком основании человек бросает все другие дела и садится писать? Почему хочется писать? Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать? Вспомнил мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился (судя по всему, крепко) и стал писать стихи.

— Кинь спички, — попросил Серега.

Я положил коробок спичек на стол, на краешек. Серега недовольно крикнул и, не вставая, потянулся за коробком.

— Муки слова, что ли? — спросил он.

Я молчу, продолжаю думать. Итак: хочется писать. А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право *рассказывать*? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты, и очень хочется жить. Я это знаю.

— Опять пепел на пол стряхиваешь! — строго заметил Серега.

Я свесился с кровати и сдул пепел под кровать. Серега сел на своего коня. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях. Во-вторых, он правдивый до тошноты и любит хлопать своими длинными ручищами меня по спине. В-третьих, — это главное — он упрям, как напильник. Он полагает, что он очень практичный человек и называет себя не иначе — реалистом. “Мы, реалисты...” — начинает он всегда и смотрит при этом сверху снисходительно и глупо, и массивная нижняя челюсть его подается вперед. В такие минуты я знаю, что ненавижу его.

— Отчего такая тоска бывает, романтик? Не знаешь? — спрашивает Серега безразличным тоном (не очень надеется, что я заговорю с ним). Сейчас он сядет на кровати, переломится пополам и будет тупо смотреть в пол. Надо поговорить с ним.

— Тоска? От глупости в основном. От недоразвитости. — Очень хочется как-нибудь уязвить этот телеграфный столб. Нисколько он не практичный, и не холодный, и не трезвый. И тоски у него нету. Я все про него знаю.

— Неправда, — сказал Серега, садясь на койке и складываясь пополам. — Я заметил, глупые люди никогда не тоскуют.

— А тебе что, очень тоскливо?

— То есть... на белый свет смотреть тошно.

— Значит, ты — умница.

Пауза.

— Двадцать копеек с меня, — говорит Серега и смотрит на меня серыми правдивыми глазами, в которых ну ни намек на какую-то холодную, расчетливую мудрость. Глаза умные, в них постоянно светится мягкий ровный свет. Может, и правда, что ему сейчас тоскливо, но зато уж и лелеет он ее и киснет как-то подчеркнуто. Смотреть на него сейчас неприятно. Он, наверное, напрашивается на спор, и, если в

спор этот ввязаться, он будет до посинения доказывать, что искусство, стихи, особенно балет — все это никому не нужно. Кино — ничего, кино можно оставить, а всю остальную “бодягу” надо запретить, ибо это сбивает людей с толку, “расколаживает” их. Коммунизм строят! Рассчитывают вот этим местом (постукивание пальцем по лбу) и строят! Мне не хочется сейчас говорить Сереге, что он придумал свою тоску, не хочется спорить с ним. Хочется думать про степь и про свой роман.

— Ох, и тоска же! — опять заныл Серега.

— Перестань, слушай.

— Что?

— Ничего. Противно.

— В твоём романе люди не тоскуют? Нет?

“Не буду спорить. Господи, дай терпения”.

— У тебя, наверно, положительные герои стихами говорят. А по утрам все делают физзарядку. Делают зарядку?

“Не буду ругаться. Не буду”.

— Песни, наверно, поют о спутниках,— продолжает Серега, глядя на меня злыми веселыми глазами.— Я бы за эти песенки, между прочим, четвертовал. Моду взяли! “Назначая я свидание на Луне-е!..” — передразнил он кого-то.— Уже свиданье назначил! О! Да ты попади туда! Кто-то голову ломает — рассчитывает, а он уже там. Кретины!

Я молчу. Между прочим, насчет песенок — это он верно, пожалуй.

Серега тоже замолчал. Малость, наверно, легче стало.

Некоторое время у нас в комнате очень тихо. Я снова настраиваюсь на степь и на зори.

— Дай роман-то свой почитать,— говорит Серега.

— Пошел ты...

— Боишься критики?

— Только не твоей.

— Я ж читатель.

— Ты читатель?! Ты робот, а не читатель. Ты хоть одну художественную книгу дочитал до конца?

— Это ты зря,— обиделся Серега.— Надо писать умнее, тогда и читать будут. А то у вас положительные герои такие уж хорошие, что спиться можно.

— Почему?

— Потому что, никогда таким хорошим не будешь все равно.— Серега поднялся и пошел к выходу.— Пройтись, что ль, малость.

Когда он вышел, я поднялся с койки и подсел к рукописи. Один положительный герой делал-таки у меня по утрам зарядку. Перечитал это место, и опять стало грустно. Плохо я пишу.

Не только с физзарядкой плохо — все плохо. Какие-то бесконечные “шалые ветерки”, какие-то жестяные слова про закат, про шелест листьев, про медовый запах с полей... А вчера только пришло на ум красивейшее сравнение, и я его даже записал: “Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре”. Какие уж тут к черту патроны! Пуговицы какие-то, а не слова.

В комнату постучали.

— Да!

В дверь заглянула маленькая опрятная головка. Пара ясных глаз с припухшими со сна веками (еще только десять часов воскресного дня).

— Сережи... Здравствуйте! Сережи нету?

— Сережи нету. Он только что вышел куда-то.

— Извините, пожалуйста.

— Он придет скоро.

— Хорошо.

Сейчас у Сережи начнется праздник. Тоску его липовую как ветром сдует. Он любит эту маленькую опрятную головку, любит тихо, упорно и преданно. И не говорит ей об этом. А она какая-то странная: не понимает этого. Сидят часами вместе, делают расчет какого-нибудь узла двигателя внутреннего сгорания. Сережу седьмой пот прошибает — волнуется, оглобля такая. Не смотрит на девушку — ее зовут Лена, — орет, стучит огромным кулаком по конспекту.

— Какой здесь кид?!

Леночка испуганно вздрагивает.

— Не кричи, Сережа.

— Как же не кричать?! Как же не кричать, когда тут элементарных вещей не понимают!

— Сережа, не кричи.

Серега будет талантливый инженер. В минуты отчаяния я завидую ему. К сорока годам это будет сильный, толковый командир производства. У него будет хорошая жена, вот эта самая Леночка с опрятной головкой. Я подозреваю, что она давно все понимает и сама тоже любит Серегу. Ей, такой хорошенькой, такой милой и слабенькой, нельзя не любить Серегу. У них будет все в порядке. У меня же... Меня, кажется, эти “шалые низовые ветерки” в гроб загонят раньше времени. Я обязательно проморгаю что-то хорошее в жизни.

Вошел Серега.

— Прошелся малость.

— К тебе эта приходила. Просила, чтоб ты зашел к ней.

— Кто?

— Лена. Кто!

Серега побагровел от шеи до лба.

— Зачем зайти?

— Не знаю.

— Ладно трепаться.— Он спокойно (спокойно!) прошел к койке, прилег.

Я тоже спокойно говорю:

— Как хочешь.— И склоняюсь к тетради. Меня душит злость. Все-таки нельзя быть таким безнадежным идиотом. Это уже не застенчивость, а болезнь.

— Дай закурить,— чуть охрипшим голосом просит Серега.

— Идиот!

Стало тихо.

— Вот так же тихо, наверно, стало, когда Иисус сказал своим ученикам: “Братцы, кто-то один из вас меня предал”.— Когда Сереге нечего говорить, он шутит. Как правило, невпопад и некстати.— Дай закурить все-таки.

— Дождешься ты, Серега: подвернется какой-нибудь вьюн с гитарой — только и видел свою Леночку. Взвоешь потом.

Серега сел, обхватил себя руками. Долго молчал, глядя в пол.

— Ты советуешь сходить к ней? — тихо спросил он.

— Конечно, Серега! — Я прямо тронут его беспомощностью.— Конечно, сходить. На закури и иди.

Серега встал, закурил и стал ходить по комнате.

— Со стороны всегда легко советовать...

— Баба! Трус! Ты же пропадешь так, Серега.

— Ничего.

— Иди к ней.

— Сейчас пойду, чего ты привязался! Покурю — пойду.

— Иди прямо с папироской. Женщинам нравится, когда при них курят. Я же знаю... Я писатель как-никак.

— Не говори со мной, как с дураком. Пусть в твоих романах курят при женщинах. Остряк!

— Иди к ней, дура! Ведь упустишь девку. Сегодня воскресенье... Ничего тут такого нет, если ты зашел к девушке. Зашел и зашел, и все.

— Значит, она не просила, чтоб я зашел?

— Просила.

Сергеа посмотрел на меня подозрительным тоскливым взглядом.

— Я узнаю зайду.

— Узнай.

Сергеа вышел.

Я стал смотреть в окно. Хороший парень Серега. И она тоже хорошая. Она, конечно, не талантливый инженер, но... в конце концов надо же кому-то и помогать талантливым инженерам. Оказалась бы она талантливой женщиной, развязала бы ему язык... Я представляю, как войдет сейчас к ним в комнату Серега. Поздоровается... и ляпнет что-нибудь вроде той шутки с Иисусом. Потом они выйдут на улицу и пойдут в сад. Если бы я описывал эту сцену, я бы, конечно, влепил сюда и "шалый ветерок" и шелест листьев. Ничего же этого нет! Есть, конечно, но не в этом дело. Просто идут по аллейке двое: парень и девушка. Парень на редкость длинный и нескладный. Он молчит. Она тоже молчит, потому что он молчит. А он все молчит. Молчит, как проклятый. Молчит, потому что у него отняли его логарифмы, кид... Молчит, и все.

Потом девушка говорит:

— Пойдем на речку, Сережа.

— Мм.— Значит, да.

Пришли к речке, остановились. И опять молчат. Речечка течет себе по песочечку, пташки разные чирикают... Теплынь. В рощице у воды настоялся крепкий тополиный дух. И стоят два счастливейших на земле человека и томятся. Ждут чего-то.

Потом девушка заглянула парню в глаза, в самое сердце, обняла за шею... прильнула...

— Дай же я поцелую тебя! Терпения никакого нет, жердь ты моя бессловесная.

Меня эта картина начинает волновать. Я хожу по комнате, засунув руки в карманы, радуюсь. Я вижу, как Серега от счастья ошалело вытаращил глаза, неумело, неловко прижал к себе худенького, теплого родного человека с опрятной головкой и держит — не верит, что это правда. Радостно за него, за дурака. Эх... пусть простит меня мой любимый роман с "шалыми ветерками", пусть он простит меня. Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую.

Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив не меньше Сереги.

Когда он приходит вечером, я уже дописываю последнюю страницу рассказа, где “он”, счастливый и усталый, возвращается домой.

— Сережа, я про тебя рассказ написал. Хочешь прочитаю?

— Хм... Давай!

Мне некогда разглядывать Серегу, я не обращаю внимания на его настроение. Я ставлю точку в своем рассказе и начинаю читать.

Пока я читал, Серега не проронил ни одного слова — сидел на кровати, опустив голову. Смотрел в пол.

Я дочитал рассказ, отложил тетрадь и стал закуривать. Пальцы мои легонько тряслись. Я ждал, что скажет Серега. Я не смотрел на него. Я внимательно смотрел на коробок спичек. Мне рассказ нравился. Я ждал, что скажет Серега. Я ему верю. А он все молчал. Я посмотрел на него и встретился с его веселым задумчивым взглядом.

— Ничего,— сказал он.

У меня отлегло от сердца. Я затараторил:

— Многое не угадал? Вы где были? На речке?

— Мы нигде не были.

— Как?

— Так.

— Ты был у нее?

— Нет.

— О-о! А где ты был?

— А в планетарий прошелся...— Серега, чтобы не видеть моего глупого лица, прилег на подушку, закинул руки за голову.— Ничего рассказ,— еще раз сказал он.— Только не вздумай ей прочитать его.

— Сережа, ты почто не пошел к ней?

— Ну, почто, почто!.. Пото... Дай закурить.

— На! Осел ты, Серега!

Серега закурил, достал из-под подушки журнал “Наука и жизнь” и углубился в чтение — он читает эти журналы, как хороший детективный роман, как “Шерлока Холмса”.

АРТИСТ ФЕДОР ГРАЙ

Сельский кузнец Федор Грай играл в драмкружке “простых” людей.

Когда он выходил на клубную сцену, он заметно бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды плохо слышали. От напряжения у него под рубашкой вспухали тугие бугры мышц. Прежде чем сказать реплику, он долго смотрел на партнера, и была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходящее, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему.

Руководитель драмкружка, суетливый малый, с конопатым неинтересным лицом, на репетициях кричал на Федора, произносил всякие ехидные слова — заставлял говорить громче. Федор тяжело переносил этот крик, много думал над ролью... А когда выходил на сцену, все повторялось: Федор говорил негромко и смотрел на партнеров исподлобья. Режиссер за кулисами кусал губы и громко шептал:

— Верстак... Наковальня...

Когда Федор, отыграв свое, уходил со сцены, режиссер набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак:

— Где у тебя язык? Ну-ка, покажи язык!.. Ведь он же у тебя...

Федор слушал и смотрел в сторону. Он не любил этого вьюна, но считал, что понимает в искусстве меньше его... И терпел. Только один раз он вышел из себя.

— Где у тебя язык?.. — накинулся, по обыкновению, режиссер.

Федор взял его за грудь и так встряхнул, что у того глаза на лоб полезли.

— Больше не ори на меня, — негромко сказал Федор и отпустил режиссера.

Бледный руководитель не сразу обрел дар речи.

— Во-первых, я не ору, — сказал он, заикаясь. — Во-вторых: если не нравится здесь, можешь уходить. Тоже мне... герой-любовник.

— Еще вякни раз. — Федор смотрел на руководителя, как на партнера по сцене.

Тот не выдержал этого взгляда, пожал плечами и ушел. Больше он не кричал на Федора.

— А погромче, чуть погромче нельзя? — просил он на репетициях и смотрел на кузнеца с почтительным удивлением и интересом.

Федор старался говорить громче.

Отец Федора, Емельян Спиридоныч, один раз пришел в клуб посмотреть сына. Посмотрел и ушел, никому не сказав ни слова. А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал:

— Хорошо играешь.

Федор слегка покраснел.

— Пьес хороших нету... Можно бы сыграть,— сказал он негромко.

Тяжело было произносить на сцене слова вроде: “сельхоз-наука”, “незамедлительно”, “в сущности говоря”... и т.п. Но еще труднее, просто невыносимо трудно и тошно было говорить всякие “чаво”, “куды”, “евон”, “ейный”... А режиссер требовал, чтобы говорил так, когда речь шла о “простых” людях.

— Ты же простой парень! — взволнованно объяснял он. — А как говорят простые люди?

Еще задолго до того, когда нужно было произносить какое-нибудь “теперича”, Федор, на беду свою, чувствовал его впереди, всячески готовился не промямлить, не “съесть” его, но когда подходило время произносить это “теперича”, он просто шептал его себе под нос и краснел. Было ужасно стыдно.

— Стоп! — взвизгивал режиссер. — Я не слышал, что было сказано. Нести же надо слово! Еще раз. Активнее!

— Я не могу,— говорил Федор.

— Что не могу?

— Какое-то дурацкое слово... Кто так говорит?

— Да во-от же! Боже ты мой!.. — Режиссер вскакивал и совал ему под нос пьесу. — Видишь? Как тут говорят? Наверно, умнее тебя писал человек. “Так не говорят”... Это же художественный образ! Актер!..

Федор переживал неудачи как личное горе: мрачнел, замыкался, днем с ожесточением работал в кузнице, а вечером шел в клуб на репетицию.

...Готовились к межрайонному смотру художественной самодеятельности.

Режиссер крутился волчком, метался по сцене, показывал, как надо играть тот или иной “художественный образ”.

— Да не так же!.. Боже ты мой! — кричал он, подлетая к Федору. — Не верю! Вот смотри. — Он надвигал на глаза кепку, засовывал руки в карманы и входил развязной походкой в “кабинет председателя колхоза”. Лицо у него делалось на редкость тупое.

— “Нам, то есть молодежи нашего села, Иван Петрович, необходимо нужен клуб... Чаво?”

Все вокруг смеялись и смотрели на режиссера с восхищением. Выдает!

А Федора охватывала глухая злоба и отчаяние. То, что делал режиссер, было, конечно, смешно, но совсем неверно. Федор не умел только этого сказать.

А режиссер, очень довольный произведенным эффектом, но всячески скрывая это, говорил деловым тоном:

— Вот так примерно, старик. Можешь делать по-своему. Копировать меня не надо. Но мне важен общий рисунок. Понимаешь?

Режиссер хотел на этом смотре широко доказать, на что он способен. В своем районе его считали очень талантливым.

Федору же за все его режиссерские дешевые выходки хотелось дать ему в лоб, вообще выкинуть его отсюда. Он играл все равно по-своему. Раза два он перехватил взгляд режиссера, когда тот смотрел на других участников, обращая их внимание на игру Федора: он с наигранным страданием закатывал глаза и разводил руками, как бы желая сказать: “Ну, тут даже я бессилен”.

Федор скрипел зубами, и терпел, и говорил “чаво?”, но никто не смеялся.

В этой пьесе по ходу действия Федор должен был прийти к председателю колхоза, маховому бюрократу и волокитчику, и требовать, чтобы тот начал строительство клуба в деревне. Пьесу написал местный автор и, используя свое “знание жизни”, сверх всякой меры нашпиговал ее “народной речью”: “чаво”, “туды”, “сюды” так и сыпались из уст действующих лиц. Роль Федора сводилась, в сущности, к положению жалкого просителя, который говорил бесцветным, вялым языком и уходил ни с чем. Федор презирал человека, которого играл.

Наступил страшный день смотра.

В клубе было битком набито. В переднем ряду сидела мандатная комиссия.

Режиссер в репетиционной комнате умолял актеров:

— Голубчики, только не волнуйтесь! Все будет хорошо... Вот увидите: все будет отлично.

Федор сидел в сторонке, в углу, курил.

Перед самым началом режиссер подлетел к нему.

— Забудем все наши споры... Умоляю: погромче. Больше ничего не требуется...

— Пошел ты!..— холодно вскипел Федор. Он уже не мог больше выносить этой бессовестной пустоты и фальши в человеке. Она бесила его.

Режиссер испуганно посмотрел на него и отбежал к другим.

— ...Я уже не могу...— услышал Федор его слова.

Всякий раз, выходя на сцену, Федор чувствовал себя очень плохо: как будто проваливался в большую гулкую яму. Он слушал стук собственного сердца. В груди становилось горячо и больно.

И на этот раз, ожидая за дверью сигнала "пошел", Федор почувствовал, как в груди начинает горячо подмывать.

В самый последний момент он увидел взволнованное лицо режиссера. Тот беззвучно показывал губами: "громче". Это решило все. Федор как-то странно вдруг успокоился, смело и просто ступил на залитую светом сцену.

Перед ним сидел лысый бюрократ-председатель. Первые слова Федора по пьесе были: "Здравствуйте, Иван Петрович. А я все насчет клуба, ххе... Поймите, Иван Петрович, молодежь нашего села..." На что Иван Петрович, бросая телефонную трубку, кричал: "Да не до клуба мне сейчас! Посевная срывается!"

Федор прошел к столу председателя, сел на стул.

— Когда клуб будет? — глухо спросил он.

Суфлер в своей будке громко зашептал:

— "Здравствуйте, Иван Петрович! Здравствуйте, Иван Петрович! А я все насчет..."

Федор ухом не повел.

— Когда клуб будет, я спрашиваю? — повторил он свой вопрос, прямо глядя в глаза партнеру; тот растерялся.

— Когда будет, тогда и будет,— буркнул он.— Не до клуба сейчас.

— Как это не до клуба?

— Как, как!.. Так. Чего ты?.. Явился тут — царь Горох!

— Партнера тоже уже понесло напропалую.— Невелика птица — без клуба поживешь.

Федор положил тяжелую руку на председательские бу-
мажки.

— Будет клуб или нет?!

— Не ори! Я тоже орать умею.

— “Наше комсомольское собрание постановило... Наше комсомольское собрание постановило...” — с отчаянием повторил суфлер.

— Вот что... — Федор встал. — Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь! Не выйдет! — Голос Федора зазвучал крепко и чисто. — Зарубите это себе на носу, председатель. Сами можете киснуть на печке с бабой, а нам нужен клуб. Мы его заработали. Нам библиотека тоже нужна! Моду взяли бумажками отбояриваться... Я их видеть не хочу, эти бумажки! И дураком жить тоже не хочу!

Суфлер молчал и с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой.

Режиссер корчился за кулисами.

— Чего ты кричишь тут? — пытался остановить председатель Федора, но остановить его было невозможно; он незаметно для себя перешел на “ты” с председателем.

— Сидишь тут, как... ворона, глазами хлопаешь. Давно бы уж все было, если бы не такие вот... Сундук старорежимный! Пуп земли... Ты ноль без палочки — один-то, вот кто. А ломаешься, как дешевый пряник. Душу из тебя вытрясу, если клуб не построишь! — Федор ходил по кабинету — сильный, собранный, резкий. Глаза его сверкали гневом. Он был прекрасен.

В зале стояла тишина.

— Запомни мое слово: не начнешь строить клуб, поеду в район, в край... к черту на рога, но я тебя допеку. Ты у меня худой будешь.

— Выйди отсюда моментально! — взорвался председатель.

— Будет клуб или нет?

Председатель мучительно соображал, как быть. Он понимал, что Федор не выйдет отсюда, пока не добьется своего.

— Я подумаю.

— Завтра подумаешь. Будет клуб?

— Ладно.

— Что ладно?

— Будет вам клуб. Что ты делаешь вообще-то?... — Председатель с тоской огляделся — искал режиссера, хотел что-нибудь понять во всей этой тяжелой истории.

В зале засмеялись.

— Вот это другой разговор. Так всегда и отвечай. — Федор встал и пошел со сцены. — До свиданья. Спасибо за клуб!

В зале дружно захлопали.

Федор, ни на кого не глядя, прошел в актерскую комнату и стал переодеваться.

— Что ты натворил? — печально спросил его режиссер.

— Что? Не по-твоему? Ничего... Переживешь. Выйди отсюда — я штаны переодевать буду. Я стесняюсь тебя.

Федор переоделся и вышел из клуба, крепко хлопнув на прощанье дверью. Он решил порвать с искусством.

Через три дня сообщили результаты смотра: первое место среди участников художественной самодеятельности двадцати районов края завоевал кузнец Федор Грай.

— Кхм... Может, еще какой Федор Грай есть? — усомнился отец Федора.

— Нет. Я один Федор Грай,— тихо сказал Федор и побагровел.— А может, еще есть... Не знаю.

СТЕНЬКА РАЗИН

Его звали — Васёка. Васека имел: двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос... и невозможный характер. Он был очень странный парень — Васека.

Кем он только не работал после армии! Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васека приходил в контору и брал расчет.

— Непонятный ты все-таки человек, Васека. Почему ты так живешь? — интересовались в конторе.

Васека, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:

— Потому что я талантливый.

Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васека, небрежно сунув деньги в карман (он презирал деньги), уходил. И шагал по переулку с независимым видом.

— Опять? — спрашивали его.

— Что "опять"?

— Уволился?

— Так точно! — Васека козырял по-военному. — Еще вопросы будут?

— Куклы пошел делать? Хэх...

На эту тему — о куклах — Васека ни с кем не разговаривал.

Дома Васека отдавал деньги матери и говорил:

— Все.

— Господи!.. Ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой! А?

Васека пожимал плечами: он сам пока не знал, что теперь делать — куда пойти еще работать.

Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось.

— Поедешь на бухгалтера учиться?

— Можно.

— Только... это очень серьезно!

— К чему эти возгласы?

“Дебет... Кредит... Приход... Расход... Заход... Обход... И деньги! деньги! деньги!..”

Васека продержался четыре дня. Потом встал и ушел прямо с урока.

— Смехота, — сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета.

Последнее время Васека работал молотобойцем.

И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васека аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

— Все!

— Что?

— Пошел.

— Почему?

— Души нету в работе.

— Трепло, — сказал кузнец. — Выйди отсюда.

Васека с изумлением посмотрел на старика кузнеца.

— Почему ты сразу переходишь на личности?

— Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? “Души нету”... Даже злость берет.

— А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

— Может, попробуешь?

Васека накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

— Прощу.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

— Иди корову подкуй такой подковой.

Васека взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее — не тут-то было.

— Что?

— Ничего.

Васека остался в кузнице.

— Ты, Васека, парень — ничего, но болтун, — сказал ему кузнец. — Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

— Это верно: я очень талантливый.

— А где твоя работа сделанная?

— Я ее никому, конечно, не показываю.

— Почему?

— Они не понимают. Один Захарыч понимает.

На другой день Васека принес в кузницу какую-то штуkenцию с кулак величиной, завернутую в тряпку.

— Вот.

Кузнец развернул тряпку... и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубахой — синей, с белыми горошинами — торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

— Смолокур, — сказал он.

— Ага, — Васека глотнул пересошим горлом.

— Таких нету теперь.

— Я знаю.

— А я помню таких. Это что он? Думает, что ли?

— Песню поет.

— Помню таких, — еще раз сказал кузнец. — А ты-то откуда их знаешь?

— Рассказывали.

Кузнец вернул Васеке смолокура.

— Похожий.

— Это что! — воскликнул Васека, заворачивая смолокура в тряпку. — У меня разве такие есть!

— Все смолокуры?

— Почему?.. Есть солдат, артистка одна есть, тройка... еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.

— А у кого ты учился?

— А сам... ни у кого.

— А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например...

— Я все про людей знаю.— Васека гордо посмотрел сверху на старика.— Они все ужасно простые.

— Вон как! — воскликнул кузнец и засмеялся.

— Скоро Стеньку сделаю... поглядишь.

— Смеются над тобой люди.

— Это ничего.— Васека высморкался в платок.— На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.

Кузнец опять рассмеялся.

— Ну и дурень ты, Васека! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?

— А что?

— Совестно небось так говорить.

— Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.

— А какую он песню поет? — без всякого перехода спросил кузнец.

— Смолокур-то? Про Ермака Тимофеича.

— А артистку ты где видел?

— В кинофильме.— Васека прихватил щипцами уголек из горна, прикурил.— Я женщин люблю. Красивых, конечно.

— А они тебя?

Васека слегка покраснел.

— Тут я затрудняюсь тебе сказать.

— Хэ!..— Кузнец стал к наковальне.— Чудной ты парень, Васека! Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки кукла.

Васека ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

— Не можешь ответить?

— Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят,— ответил Васека.

...С работы Васека шагал всегда быстро. Размахивал руками — длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу — на манер марша — подпевал:

*Пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки — донышко,
Три копейки — бок...*

— Здравствуй, Васека! — приветствовали его.

— Здорово, — отвечал Васека.

И шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра: вырезал Стеньку Разина.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васека, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васека талантливый. Он приходил к Васеке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васека глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился — слушал про Стеньку.

...Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька: один казак совсем уж отошал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошел окончательно. Стенька толкнул его — подает свой кусок мяса. "На, говорит, ешь". Тот видит, что атаман сам почернел от голода. "Ешь сам, батька. Тебе нужнее". — "Бери!" — "Нет". Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе: "В три господа душу мать!.. Я кому сказал: бери!" Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Васека, с повлажневшими глазами, слушал.

— А княжну-то он как! — тихонько, шепотом, восклицал он. — В Волгу взял и кинул...

— Княжну!.. — Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал: — Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.

...Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васека аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда "делалось", он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

— Сарынь на кичку!

Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васека бросал нож и прыгал по горнице на одной ножке и негромко смеялся.

А когда “не делалось”, Васека сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час, два — смотрел на звезды и думал про Стеньку.

Приходил Захарыч, спрашивал:

— Василий Егорыч дома?

— Иди, Захарыч! — кричал Васека. Накрывал работу тряпкой и встречал старика.

— Здоровеньки булы! — Так здоровался Захарыч — “по-казацки”.

— Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

— Не кончил еще?

— Нет. Скоро уж.

— Показать можешь?

— Нет.

— Нет? Правильно. Ты, Василий...— Захарыч садился на стул, — ты — мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб! Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай...

Васека подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

— Он не про Ермака поет, — говорил он. — Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. — И он неожиданно сильным, красивым голосом запел:

О-о-эх, воля, моя воля!

Воля вольная моя.

Воля — сокол в поднебесье,

Воля — милые края...

У Васеки перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.

— Захарыч... милый, — шептал Васека побелевшими губами и крутил головой, и болезненно морщился. — Не надо, Захарыч... Я не могу больше...

Чаще всего Захарыч засыпал тут же в горнице. А Васека уходил к Стеньке.

...День этот наступил.

Однажды перед рассветом Васека разбудил Захарыча.

— Захарыч! Все... иди. Доделал я его.

Захарыч вскочил, подошел к верстаку...

Вот что было на верстаке:

...Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька, в исподнем белье, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались: он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию... но споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозились. Хрипели. Негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному-другому... Но чем-то ударили по голове тяжелым... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

“Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора”, — сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Захарыч долго стоял над работой Васеки... не проронил ни слова. Потом повернулся и вышел из горницы. И тотчас вернулся.

— Хотел пойти выпить, но... не надо...

— Ну как, Захарыч?

— Это... Никак.— Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо.— Как они его... а! За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады! — Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Васека мучительно сморщился и заморгал.

— Не надо, Захарыч...

— Что не надо-то? — сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал.— Они же дух из него вышибают!..

Васека сел на табуретку и тоже заплакал — зло и обильно.

Сидели и плакали.

— Их же ж... их вдвоем с братом,— бормотал Захарыч.— Забыл я тебе сказать... Но ничего... ничего, паря. Ах, гады!

— И брата?

— И брата... Фролом звали. Вместе их... Но брат — тот... Ладно. Не буду тебе про брата.

Чуть занималось утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах.

По поселку ударили третьи петухи.

ЭКЗАМЕН

— Почему опоздали? — строго спросил профессор.

— Знаете... извините, пожалуйста... Прямо с работы... срочный заказ был... — Студент, рослый парень с простым хорошим лицом, стоял в дверях аудитории, не решаясь пройти дальше. Глаза у парня правдивые и неглупые.

— Берите билет. Номер?

— Семнадцать.

— Что там?

— “Слово о полку Игореве” — первый вопрос. А второй...

— Хороший билет. — Профессору стало немного стыдно за свою строгость. — Готовьтесь.

Студент склонился над бумагой, задумался.

Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глазами за его длинную жизнь прошла не одна тысяча таких парней; он привык думать о них коротко: студент. А ведь ни один из этой многотысячной армии не был похож на другого даже отдаленно. Все разные.

“Все меняется. Древние профессора могли называть себя учителями... А сегодня мы только профессора”, — подумал профессор.

— Вопросов ко мне нет?

— Нет... ничего.

Профессор отошел к окну. Закурил. Хотел додумать свою мысль о древних профессорах, но вместо этого стал внимательно наблюдать за улицей.

Вечерело. Улица жила обычной жизнью — шумела. Проехал трамвай. На повороте с его дуги посыпались красные искры. Перед семафором скопилось множество автомобилей; семафор подмигнул им, и они все сразу ринулись по улице. По тротуарам шли люди. Торопились.

“Странное дело, — думал профессор, — куда мы вечно торопимся? Вроде бы некуда. Неужели...”

— Кхм. — Студент пошевелился.

— Готовы? Давайте.— Профессор отвернулся от окна.—
Слушаю.

Студент держал в толстых, грубых пальцах узкую полосу бумаги — билет; билет мелко вздрагивал.

“Волнуется,— понял профессор.— Ничего, поволнуйся”.

— “Слово о полку Игореве” — это великое произведение,— начал студент.— Это... шедевр. Относится к концу двенадцатого века... кхэ. Автор выразил здесь чаяния...

Глядя на парня, на его крепкое, строгой чеканки лицо, профессор почему-то подумал, что автор “Слова” был юноша... совсем-совсем молодой. Злой и умный, как Лермонтов.

— Князья тогда были разобщены, и... В общем, Русь была разобщена, и когда половцы напали на Русь...— студент закусил губу, нахмурился: он, должно быть сам понимал, что рассказывает неинтересно, плохо. Он слегка покраснел.

“Не читал.— Профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза студенту.— Да, не читал. Одно предисловие прочитал. Черти полосатые. Вот вам ягодки заочного обучения!” — Профессор был противником заочного обучения. Пробовал в свое время выступить со статьей в газете — не напечатали. Сказали: что вы! “Вот вам и что вы! Вот вам — князья были разобщены”.

— Читали?

— Посмотрел... кхэ...

— Как вам не стыдно? — с убийственным спокойствием спросил профессор и стал ждать ответ.

Студент побагровел от шен до лба.

— Не успел, профессор. Работа была срочная... заказ...

— Меня меньше всего сейчас интересует ваш заказ. Если хотите, меня интересует человек, русский человек, который не удосужился прочитать величайшее национальное произведение. Очень интересует.— Профессор чувствовал, что начинает ненавидеть здорового студента.— Вы сами пошли учиться?

Студент поднял на профессора грустные глаза.

— Сам, конечно.

— Как вы себе это представляли?

— Что?

— Учебу. В люди хотел выйти?

Некоторое время они смотрели друг на друга.

— Не надо,— тихонько сказал студент и опустил голову.

— Что не надо?

— Не надо так...

— Нет, это колоссально! — воскликнул профессор, хлопнул себя по бедрам и поднялся. — Это колоссально. Хорошо, я не буду так. Меня интересует: вам стыдно или нет?

— Стыдно.

— Слава тебе, господи!

С минуту молчали. Профессор ходил около доски, фыркал и качал головой. Он даже как будто помолодел от злости.

Студент сидел неподвижно, смотрел в “хороший” билет... Минута была глупая и тяжкая.

— Спросите еще что-нибудь.

— В каком веке создано “Слово”? — Профессор, когда сердился, упрявился и капризничал, как ребенок.

— В двенадцатом. В конце.

— Верно. Что случилось с князем Игорем?

— Князь Игорь попал в плен.

— Правильно. Князь Игорь попал в плен. Ах, черт возьми! — Профессор опять хлопнул себя и замотал бородкой, изображая великую досаду и оттого, что князь Игорь попал в плен, и оттого, главным образом, что разговор принял такой дурацкий оборот.

Издевательского тона у него не получалось: он действительно злился и досадовал, что вовлек себя и парня в эту “школьную” игру. Странное дело, но он сочувствовал парню и злился на него.

— Ах, какая досада! Как же он попал в плен?!

— Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь. — Студент сказал это резким, решительным тоном. И встал.

На профессора его тон подействовал успокаивающе. Он сел.

— Давайте говорить о князе Игоре. Говорите. Как он там себя чувствовал? Сядьте, во-первых.

Студент продолжал стоять.

— Ставьте мне двойку.

— Как чувствовал себя в плену князь Игорь?! — закричал профессор, опять испытывая прилив злости. — Как чувствует себя русский человек в плену? Неужели вы даже этого не понимаете?

Студент стоя некоторое время непонятно смотрел на профессора ясными серыми глазами.

— Понимаю, — сказал он.

— Ну... Что понимаете? Как?

— Я сам в плену был.

— Ну... То есть как в плену были? Где?

— У немцев.

Профессор внимательно посмотрел на студента. И опять ему почему-то подумалось, что автор "Слова" был юноша с голубыми, ясными глазами.

- Долго?
- Три месяца.
- Ну и что?
- Что?

Студент смотрел на профессора, профессор — на студента. Оба были сердиты.

— Садитесь, чего вы стоите! — сказал профессор. — Вы бежали из плена?

— Да. — Студент сел. Опять взял билет и стал смотреть в него. Ему хотелось скорей уйти.

— Как бежали? Расскажите.

— Ночью. С этапа.

— Подробней, — приказал профессор. — Учитесь говорить, молодой человек! Ведь надо же уметь говорить. Как бежали? Собственно, мне даже не техника этого дела интересна, а... психологический момент, что ли. Как вы себя чувствовали? Это ведь очень горько — попасть в плен? — Профессор смотрел строго и сочувственно. — Как вы попали в плен? Ранены были?

— Нет. Просто попали в окружение... Это долго рассказывать, профессор.

— Скажите, пожалуйста, какой он занятой!

— Да не занятой, а...

— Страшно было?

— Конечно.

— Да, да. — Профессору почему-то этот ответ очень понравился. Он закурил. — Да. Деревня своя вспоминалась, конечно, мать?.. Вам сколько лет было?

— Восемнадцать.

— Вспоминалась деревня?

— Я из города.

— Ну? Я почему-то подумал, из деревни. Да...

Помолчали. Студент все глядел в злополучный билет; профессор поигрывал янтарным мундштуком, рассматривал студента.

— О чем вы там говорили между собой?

— Где? — Студент поднял голову. Ему этот разговор явно становился в тягость.

— В плену.

— Ни о чем. О чем говорить?

— Черт возьми, это верно! — Профессор почему-то заволновался. Встал. Переложил мундштук из одной руки в другую... Прошелся около кафедры.— Это верно. Как вас зовут?

— Николай.

— Это верно, понимаете!

— Что верно? — Студент вежливо улыбнулся. Положил билет.

Разговор принимал какой-то странный характер; он не знал, как держать себя.

— Верно, что молчали. О чем говорить? Это верно. У врага, конечно, молчат. Это самое мудрое. Вам в Киеве приходилось бывать?

— Нет.

— Там есть район, Подол называется. Можно стоять и смотреть с большой высоты. Удивительная даль открывается. Всякий раз, когда я стою там и смотрю, мне кажется, что я уже бывал там когда-то. Не в своей жизни, а давно-давно. Понимаете? — У профессора на лице отобразилось сложное чувство: он как будто нечаянно проговорился в чем-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасался, что его не поймут, во-вторых, был недоволен, что проговорился. Он смотрел на студента с тревогой, требовательно и заискивающе.

Студент пожал плечами, признался:

— Как-то сложно, знаете.

— Ну, как же! Что тут сложного! — Профессор опять стал быстро ходить по аудитории. Он сердился на себя, но замолчать не мог. Заговорил отчетливо и громко: — Мне кажется, что я там ходил когда-то. Давно. Во времена Игоря. Если бы это казалось мне только сейчас, в последние годы, я бы подумал, что это старческое. Но я и молодым также чувствовал. Ну?

Повисла неловкая пауза. Два человека смотрели друг на друга и не понимали, что им, собственно, требуется выяснить сейчас.

— Я немного не понимаю,— осторожно заговорил студент,— при чем тут Подол?

— При том, что мне показалось очень точным ваше замечание насчет того, что молчали. Я в плену не был, я даже не воевал никогда, но там, над Подолом, я непонятным образом постигал все, что относится к войне. Я, например, додумался, что в плену молчат. Не на допросах — я мог об этом много читать,— а между собой. Не хочется говорить. Я очень долго думал над вопросом, как бесшумно снимать

часовых. Мне думается, их надо пугать. Подползти незаметно и что-нибудь очень тихо спросить. Например: "Сколько сейчас времени, скажите, пожалуйста?" Он в первую секунду ошалеет, и тут бросайся на него.

Студент улыбнулся.

— Глупости я говорю? — Профессор заглянул в глаза студенту — очень хотел, чтобы ему сказали громко и обрадованно: "Какие же это глупости, профессор! Все очень понятно".

Студент поторопился сказать:

— Нет, почему же... Мне кажется, я вас понимаю.

Профессор понял, что студент совсем ничего не понимает, и скис. Но счел необходимым добавить еще, разъяснить:

— Это вот почему: наша страна много воевала. Трудно воевала. Это почти всегда была народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет наш народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому.

После сказанного долго молчали — отходили. Надо было вернуться к исходному положению — к "Слову о полку Игореве", к тому, что это великое произведение постыдно не прочитано студентом. Однако профессор не удержался и задал еще два последних вопроса:

— Один бежали?

— Нет, нас семь человек было.

— Наверно, думаете: вот привязался старый чудак! А?

— Да что вы! Я совсем не думаю так. — Студент покраснел, как если бы он именно так и подумал. — Правда, профессор. Мне очень интересно.

Сердце старого профессора дрогнуло.

— Это хорошо, солдат. Это хорошо, что вы меня понимаете. "Слово" надо, конечно, прочитать. Я вам подарю книжку... у меня как раз с собой есть... — Профессор достал из портфеля экземпляр "Слова о полку Игореве", подумал, посмотрел на студента, улыбнулся: — Вы действительно не считаете меня старым дураком?

— Да вы что, профессор! — воскликнул студент.

— Хорошо. — Профессор что-то быстро написал на обложке книги, подал студенту. — Не читайте сейчас. Дома прочитаете. Вы заметили: я суетился сегодня, как неловкий жених. После этого бывает очень тяжело.

Студент не нашелся, что на это сказать. Неопределенно пожал плечами.

— Вы все семеро дошли живыми?
— Все.
— Пишете сейчас друг другу?
— Нет, как-то, знаете...
— Ну, конечно, знаю. Конечно. Это все, дорогой мой, очень русские штучки. А вы еще “Слово” не хотите читать! Да ведь это самая русская, самая изумительная русская песня! “Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Кыеве; трубы трубятъ въ Новеграде — стоять стязи въ Путивле!” А?
— Профессор поднял палец, как бы вслушиваясь в последний растаявший звук чудной песни.— Давайте зачетку.— Он поставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту. Сухо сказал: — До свидания.

Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке — боялся посмотреть в нее, боялся, что там стоит “хорошо” или, что еще тяжелее, “отлично”. Ему было стыдно.

“Хоть бы “удовлетворительно”, и то хватит”, — думал он.

Оглянувшись на дверь аудитории, раскрыл зачетку... некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянувшись на аудиторию, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло: “плохо”.

На улице он вспомнил про книгу. Раскрыл, прочитал:

“Учись, солдат. Это — тоже нелегкое дело. Проф. Григорьев.”.

Студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном из них он увидел профессора.

Профессор действительно стоял у окна... Смотрел на улицу и пощелкивал ногтями по стеклу. Думал.

ЛЕЛЯ СЕЛЕЗНЕВА С ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ

На реке Катунь, у деревни Талица, порывом ветра сорвало паром. Паром, к счастью, был пустой. Его отнесло до ближайшей отмели и шваркнуло о камни. Он накрепко сел.

Пора была страдная. В первые же три часа на той стороне реки скопилось машин двадцать с зерном. И подъезжали и подъезжали новые. И подстраивались в длинную вереницу ЗИЛов, ГАЗов... В объезд до следующего парома было километров триста верных. Стояли. Ждали.

Председатель Талицкого сельсовета Трофимов Кузьма, надрываясь орал в телефон:

— А что я-то сделаю?! Ну!.. Да работает же бригада! А? Всех послал, конечно!.. А я-то, что могу?! — Бросал трубку и горько возмущался: — Нет, до чего интересные люди!

Тут же, в сельсовете, сидела молоденькая девушка из приезжих и что-то строчила в блокнот.

— Я с факультета журналистики, Леля Селезнева,— представилась она, когда пришла.— А сейчас я к вам из краевой газеты. Что вы предприняли как председатель сельсовета? Конкретно!

Замученный Трофимов посмотрел на нее, как на телефонный аппарат, закурил и сказал:

— Все предприняли, милая девушка.

Леля села в уголок, разложила на коленках блокнот и принялась писать. Она была курносая, с красивыми темными глазами, с короткими волосами, в непомерно узкой юбке.

Трофимов все кричал в телефонную трубку. Леля строчила. Потом Трофимов вконец озверел, бросил трубку, встал, злой и жалкий.

— У меня будет такая просьба,— обратился он к Леле.— Кто будет звонить, говорите, что я уехал на реку. Когда сделают паром — черт его душу знает.

Леля села к аппарату и стала ждать звонка. Телефон зазвонил скоро.

— Да,— спокойно сказала Леля.— Слушаю вас.

— Кто это?

— Это Талицкий сельсовет.

— Трофимова!

— Трофимов ушел на реку.

— Купаться, что ли? — Человек на том конце провода не был лишен юмора.

Леля обиделась.

— Между прочим, момент слишком серьезный, чтобы так дешево остричь.

Человек некоторое время молчал.

— Кто это говорит?

— Это Леля Селезнева с факультета журналистики. С кем имею честь?

Человек на том конце положил трубку. Пока он нес ее от уха до рычажка, Леля услышала, как он сказал кому-то:

— Там факультет какой-то, а не сельсовет.

У Лели пропало желание отвечать кому бы то ни было. Она опять села в уголок и продолжала писать статью под

названием “У семи нянек дитя без глазу”. Еще в районе она узнала, что в Талице сорвало паром и что на той стороне скопилось огромное число машин с хлебом. Узнала она также, что талицкий паром обслуживают три района, и заменить старый трос, которым удерживался паром, новым никто, ни один из районов не дотадался.

Опять звонил телефон, Леля не брала трубку. Она дошла до места в своей статье, где описывала председателя Трофимова. “...Это один из тех работников первичного звена аппарата, которые при первом же затруднении теряются и “выходят в коридор покурить”.

Статья была злая. Леля не жалела ярких красок. Ювеналов бич свистел над головами руководителей трех районов. Зато, когда она дошла до места, где несчастные шоферы, собравшись на той стороне у берега, “с немой тоской смотрят на неподвижный паром”, у Лели на глаза навернулись слезы.

Телефон звонил и звонил.

Леля писала.

В сельсовет заглянула большая потная голова в очках.

— Где Трофимов?

— Ушел к парому.

— Я сейчас только с парома. Нету его там.

Голова с любопытством разглядывала девушку.

— Я извиняюсь, вы кто будете?

— Леля Селезнева с факультета журналистики.

— Корреспондентка?

— Да.

— Приятно познакомиться.— В комнату вошел весь человек, большой, толстый, в парусиновом белом костюме, протянул Леле большую потную руку.— Анашкин. Заместитель Трофимова.

— Что с паромом?

— С паромом-то? — Анашкин грузно сел на диван и махнул рукой, причем так, что можно было понять: нашумели только, ничего особенного там не произошло.— Через часок сделают. Канат лопнул. Фу-у!.. Ну как, нравится вам у нас?

— Нравится. Значит, паром скоро сделают?

— Конечно.— Анашкин вопросительно посмотрел на Лелю.— Вы где остановились-то?

— Нигде пока.

— Так не годится,— категорично заявил Анашкин.— Пойдемте, я вас устрою сначала, а потом уж пишите про нас, грешных. Как вас, Леля?

— Леля.

— Леля... — Анашкин молодо поднялся с дивана. — Хотел дочь свою так назвать... но... жена на дыбошки стала. Красивое имя.

— Я не понимаю...

— Хочу устроить вас пока. Пойдемте ко мне, например... Посмотрите: понравится — живите сколько влезет.

— Я сейчас не могу. Вообще я хотела уехать сегодня же. Если не удастся, я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А сейчас мне нужно дописать вот это. — Леля показала на блокнот.

— Понимаю, — сказал Анашкин. — Жду вас.

— До свиданья.

Анашкин вышел. Он понравился Леле.

Зазвонил телефон.

Леля взяла трубку.

— Слушаю вас.

— Я просил Талицу, — сердито сказал густой сильный голос.

— Это и есть Талица. Сельсовет.

— Где председатель ваш?

— Не знаю.

— Кто же знает? — Бас явно был не в духе.

Леле это не понравилось.

— Председатель не обязан сидеть здесь с утра до ночи. Вам понятно?

— Кто это говорит? — пророкотал удивленный бас.

Леля на одну секундочку замешкалась, потом отчеканила:

— Это Леля Селезнева с факультета журналистики.

— Что же вы налетаете на старых знакомых, Леля с факультета? — Бас потеплел, и Леля узнала его: секретарь райкома партии Дорофских Федор Иванович. Это он три часа назад рассказал ей всю историю с паромом.

— Так что же там с паромом-то, Леля? — поинтересовался секретарь. — Вы там ближе теперь...

Леле сделалось очень хорошо оттого, что ее совершенно серьезно спрашивают о том, чем обеспокоены сейчас все начальственные головы района и что она ближе всех сейчас к месту происшествия. Леля даже мимоходом подумала, что надо будет узнать, давно ли Дорофских работает здесь секретарем и стоит ли его вставлять в разгромную статью.

— С паромом следующее: через час он будет готов! — выпалила Леля. — Там, оказывается, порвался канат...

— Да что вы? — Секретарь несказанно обрадовался. — Это серьезно, Леля? Милая вы моя!.. Вот спасибо-то!

— Не мне спасибо, а бригаде плотников.

— Ну, понятно! Вот напишите о ком! Ведь они почти чудо сотворили!..

— Да,— сказала Леля и положила трубку. Закрывает блокнот с недописанной статьей и вышла из сельсовета.

Неподдельная радость в голосе секретаря райкома, готовность Анашкина устроить ее немедленно, а главное, что паром скоро сделают,— все это повернуло ей мир другой стороной — светлой.

“Громить легко. Но это еще никогда по-настоящему не действовало на людей”, — думала Леля.

...Бригада плотников, семь человек, работала на пароме уже девять часов подряд.

Когда Леля переправилась к ним на лодке, у них был перекур.

— Здравствуйте, товарищи! — громко и весело сказала Леля.

Днище и бок одного баркаса проломлены: паром сидел, круто накренившись. Леля ступила на покатый настил палубы и смешно взмахнула руками. Кто-то из бригады негромко и необходимо засмеялся.

— Поздравляю вас, товарищи! — прибавила Леля без веселости.

В бригаде некоторое время молчали. Потом бригадир, очень старый человек с крючковатым носом, сухой и жилистый, спросил:

— С чем, дочка?

— С окончанием работы. Я из краевой газеты к вам. Хочу написать о вашем скромном подвиге...

Молодой здоровенный парень, куривший около рулевой будки, бросил окурочек в реку и весело сказал:

— Начинается! — И посмотрел на Лелю так, точно ждал, что она сейчас выгнется колесом и покатится по палубе, как в цирке.

Леля растерянно смотрела на плотников.

— Нам до окончания-то еще, ое-ей, сколько! Он еще пока на камушках сидит,— пояснил бригадир.— Его еще зашить надо, да выкачать водичку, да оттащить... Много работки.

— Как же... Мне же сказали, что вам тут осталось на час работы.

— Кто сказал?

— Толстый такой... в сельсовете работает...

— Анашкин.— Плотники понимающе переглянулись.

Бригадир так же обстоятельно, как объяснял о пароме, ровным, спокойным голосом рассказал про Анашкина:

— Это он хочет свой грех замазать. Он у нас председателем долгое время был, так?.. А денюжки, которые на ремонт парома были отпущены, куда-то сплыли. Теперь он беспокоится: боится — вспомнят. Ему это нежелательно.

Леля откинула со лба короткие волосы.

— Ему этот факт выйдет боком,— серьезно сказала она.— Сигаретка есть у кого-нибудь?

Здоровенный парень весело посмотрел на своих товарищей.

— Махорки можно,— неуверенно предложил один плотник и оглянулся на старика бригадира, желая, видимо, понять: не глупость ли он делает, что потакает молоденькой девушке в такой слабости?

Но бригадир молчал.

— Могу “Беломорканал” удружить,— сказал здоровенный парень, Митька Воронцов, с готовностью подходя к девушке. Ему хотелось почему-то, чтобы Леля выкинула что-нибудь совсем невиданное.

— Спасибо,— Леля так просто взяла у Митьки папироску, так просто прикурила и затем посмотрела на плотников, что ни у кого не повернулся язык сказать что-нибудь.

— Давай, ребята,— негромко сказал бригадир, поднимаясь.

Леля отошла от борта парома и стала смотреть на ту сторону, где, выстроившись в длинный ряд, стояли грузовики с хлебом.

Шоферы не толпились на берегу и не смотрели с грустью на паром. Они собрались небольшими кучками у машин и разговаривали. Человек шесть наладили удочки и сидели на берегу в неподвижных позах. Кое-кто разложил поодаль от машин костер — пек картошку.

А далеко-далеко, за синим лесом, заходило огромное красное солнце.

Стучали топоры плотников, и стук этот далеко разносился по реке.

Леле стало грустно. Она вдруг ощутила себя смешной и жалкой в этом огромном и в общем-то простом мире. Есть заведенный порядок жизни, которому подчиняются люди. Если сломался паром и на том берегу скопилось много машин, значит, должно пройти сколько-то часов, прежде чем паром наладят, значит, машины с хлебом — а что сделаешь?

— будут стоять и ждать, и шоферы будут собираться группами и рассказывать анекдоты. Значит, начальство будет волноваться, звонить по телефону. Было бы странно, если бы оно тоже собиралось в группы и рассказывало анекдоты. В конце концов все знают, что надо ждать. И смешно и глупо здесь суетиться, писать бойкие статейки. Все понимают, что сломался паром, что машины, которые так нужны, стоят. Паром мог бы не сломаться, но он сломался — вот и все. Жизнь на этом не остановилась. Те же шоферы, которые сейчас кажутся беззаботными, через несколько часов сядут за штурвалы и без сна и отдыха будут гнать и гнать по нелегким дорогам, навстречая по мере возможности упущенное. И не будут чувствовать себя героями, так же как сейчас не испытывают угрызений совести оттого, что не стоят толпой на берегу и не смотрят с тоскою на паром.

Леля вспомнила секретаря Дорофских и то, как она ему говорила: “С паромом следующее...” и ее собственная беспомощность стала до того очевидной и угнетающей, что она чуть не заплакала. Она стала мысленно доказывать себе, что люди сами определяют порядок жизни. И все делают люди. А киснуть и хныкать — это легче всего. Это еще ни для кого не представлялось очень трудным. Все делают люди, и надо быть спокойнее и сильнее.

Она поднялась и подошла к старику плотнику.

— Скажите, пожалуйста, а может быть, вас мало?

— А? — Бригадир выпрямился. — Мало? Нет, тут больше не надо, пожалуй... Да и нету у нас их больше-то.

— Но ведь стоят машины-то! — тихо, с отчаянием сказала Леля. — Что же делать-то?

— Что делать?... Вот делаем.

— Когда вы думаете закончить?

— Завтра к обеду... — Старик прищурился и посмотрел на ту сторону реки.

— Ну нет! — твердо сказала Леля. — Так не пойдет. Вы что?

— Что? — не понял старик.

— Товарищи! — обратилась Леля ко всем. — Товарищи, есть предложение: собрать коротенькое собрание! Пятиминутку. Я предлагаю... — продолжала Леля, — работать ночью. Мне сейчас трудно посчитать, в какие тысячи обходится государству простой этих машин, но сами понимаете — много. Я сейчас схожу в деревню, обойду ваши семьи, скажу, чтобы вам принесли сюда ужин...

— Ну, это уж — привет! — сказал Митька Воронцов.

— Да неужели вы не понимаете! — Леля даже пристукнула каблучком по палубе. — А как было в войну — по две смены работали!.. Женщины работали! Вы видите, что делается? — Леля в другое время и при других обстоятельствах поймала бы себя на том, что она слишком театрально показала рукой на тот берег, на машины, и голос ее прозвучал на последних словах, пожалуй, излишне драматично, но сейчас ей показалось, что она сказала сильно. Во всяком случае все посмотрели туда, куда она показала, — там стояли машины с хлебом.

— У нас на это начальство есть, — суховато сказал бригадир.

— Мы что, двужилые, что ли? — спросил Митька.

Он уже не ждал от девушки “фокусов”, он боялся, что она уговорит плотников остаться на ночь. Пятеро других стояли нахмурившись.

— Товарищи!.. — опять начала Леля.

— Да что “товарищи”! — обозлился Митька. — Тебе ж сказали: не останемся... — Митьке позарез нужно было быть вечером в клубе.

— Эх вы!.. — сказала Леля и неожиданно для себя заплакала. — Люди стоят, машины стоят... их ждут... а они... — говорила Леля, слезая с парома. Она вытирала ладонью слезы, сердилась на себя, не хотела плакать, а слезы все катились. Она очень устала сегодня, изнервничалась с этим паромом.

Плотники растерянно смотрели на тоненькую девушку в узкой юбке. Она отгвизала лодку и, неумело загребая веслами, поплыла к берегу.

— Ты, Митька, балда все-таки, — сказал бригадир. — Дубина просто.

— Он шибко грамотный стал, — поддакнул один из плотников. — Вымахал с версту, а умишка ни на грош.

Митька насупился, скинул рубаху, штаны и полез молчком в воду — надо было обмерить пролом в боку баркаса, чтобы заготовить щит-заплату. Остальные тоже молча взялись за топоры.

На берегу Лелю встретил председатель Трофимов.

— Чего они там? — встревожился он, увидев заплаканную Лелю. — Небось лаяться начали?

— Да нет! — Леля выпрыгнула из лодки. — Попросила их... В общем, ну их! — Леля хотела идти в деревню.

Трофимов осторожно взял ее за тоненькую руку, повел обратно к лодке.

— Поедем. Не переживай... Попросила остаться их?

— Да.

— Сейчас поговорим с ними... останутся. Я еще трех плотников нашел. К утру сделаем.

Леля посмотрела в усталые умные глаза Трофимова, села в лодку, тщательно вытерла коротким рукавом кофты заплаканные глаза.

Трофимов подгреб к парому, первым влез на него, потом подал руку Леле.

Плотники старательно тесали желтые пахучие брусья. Только бригадир воткнул топор в кругляш и подошел к председателю.

— Ну что тут? — спросил Трофимов.

— Ночь придется прихватить, — сказал старик, сворачивая папироску.

— Я еще троих вам подброшу. К утру надо сделать, черт его... — Председатель для чего-то потрогал небритую щеку, протянул руку к кисету бригадира.

Леля смотрела на бригадира, на плотников, на их запотевшие спины, на загорелые шеи, на узловатые руки. И опять ей захотелось плакать — теперь от любви к людям, к терпеливым, хорошим людям. Она взяла сухую, горячую руку бригадира и погладила ее. Бригадир растерялся, посмотрел на Лелю, на председателя, сказал:

— Это... Ну, ладно. — И пошел к своему месту.

— Ничего, — сказал Трофимов, внимательно глядя на папироску, которую скручивал.

Митька Воронцов фыркал в воде у баркаса, кряхтел, плевался.

— Ты чего? — спросил бригадир. — Чего не вылезаеть-то. Обмерил?

— Обмерил, — сердито ответил Митька.

— Ну?

— Чего “ну”?

— Вылезай, чего ты!

— Да тут... трусы спали, заразы. Кха!

Кто-то из плотников хихикнул. Все выпрямились и смотрели на Митьку.

— Это тебя бог наказал, Митька.

Митька нырнул, довольно долго был под водой, вынырнул и стал отхаркиваться.

— Нашел?

— Найдешь... кхах...

— Значит, уплыли.

— Вот история-то! — сказал бригадир и оглянулся на Лелю.

— Я отвернусь, а он пусть вылезает,— предложила Леля.

— Митька!

— Ну?

— Она отвернется — лезь!

Митька вылез, надел брюки и взялся за топор.

Опять на пароме застучали восемь топоров, и стук их далеко разносился по реке.

К утру паром починили.

Когда огромное веселое солнце выкатилось из-за горы, паром подошел к берегу.

На палубе сидели плотники, курили (бригаде нужно было сплавать разок на сторону, чтобы посмотреть, как ведет себя паром с грузом). Кое-кто отмывался, доставая ведром воду, бригадир, свесив голову через люк, смотрел в баркас, председатель (он оставался всю ночь на пароме) оттирал с колена смолистое пятно. Митька Воронцов спал, вольно раскинув руки и ноги. Леля сидела с блокнотом у борта, грызла карандашик и смотрела, как всходит солнце.

На той стороне выли стартеры, урчали, кашляли, чихали моторы, переговаривались шоферы. Голоса их были густые со сна, отсыревшие... Они громко звали.

“Это было грандиозно! — начала писать Леля.— Двенадцать человек, вооружившись топорами...” Она зачеркнула “вооружившись”, подумала и выбросила все начало. Написала так: “Это была удивительная ночь! Двенадцать человек работали, ни разу не передохнув...” Подумала, вырвала лист из блокнота, смяла и бросила в реку. Начала снова: “Неповторимая, удивительная ночь! На отмели, на камнях, горит огромный костер, освещающий трепетным светом большой паром. На пароме двенадцать человек...” Леля и этот лист бросила в реку.

Паром тем временем подошел к берегу. Стали въезжать машины. Паромщик орал на шоферов, те бешено крутили рули, то пятились, то двигались вперед.

Леля стояла, прижавшись к рулевой будке, смотрела на все это и уже не думала об удивительной ночи и о том, как трепетно горел костер. Жизнь — горластая, веселая — катилась дальше. Ночь осталась позади, никому теперь нет до нее дела. Теперь важно, как можно быстрее переправить машины.

Паром отчалил. Стало немного потише.

Леля вырвала из блокнота лист и написала:

“Федор Иванович! Виноват во всем Анашкин. Когда он был председателем, ему были отпущены деньги на ремонт паромы, но денежки эти куда-то слыли. Я бы на вашем месте наказала Анашкина со всей строгостью.

Леля Селезнева”.

Леля свернула листок треугольником, подписала: “Секретарю РК КПСС тов. Дорофских Ф.И.” — и отдала треугольник одному из шоферов.

— Вы ведь через райцентр поедете?

— Да.

— Передайте там кому-нибудь, пусть занесут в райком.

— Давай.

Паром подплыл к берегу; стали съезжать машины. Опять гул, рев, крики...

А Леля поднималась по крутому берегу с плотниками, которые направлялись в деревню, курила Митькин “Беломор” и с удовольствием думала, как она сейчас уснет в какой-нибудь избе, укрывшись шубой.

ЛЕНЬКА

Ленька был человек мечтательный. Любил уединение.

Часто, окончив работу, уходил за город, в поле. Подолгу неподвижно стоял — смотрел на горизонт, и у него болела душа: он любил чистое поле, любил смотреть на горизонт, а в городе не было горизонта.

Однажды направлялся он в поле и остановился около товарной станции, где рабочие разгружали вагоны с лесом.

Тихо догорал жаркий июльский день. В теплом воздухе настоялся крепкий запах смолы, шлака и пыли. Вокруг задумчиво и спокойно.

Леньке вспомнилась родная далекая деревня — там вечерами пахнет полынью и дымом. Он вздохнул.

Недалеко от Леньки, под откосом, сидела на бревне белокурая девушка с раскрытой книжкой на коленях. Она тоже смотрела на рабочих.

Наблюдать за ними было очень интересно. На платформе орудуют ломами двое крепких парней — спускают бревна по

сlegам; трое внизу под откосом принимают их и закатывают в штабеля.

— И-их, р-раз! И-ищ-що... оп! — раздается в вечернем воздухе, и слышится торопливо шелестящий шорох сосновой коры и глухой стук дерева по земле. Громадные бревна, устремляясь вниз, прыгают с удивительной, грозной легкостью.

Вдруг одно суковатое бревно скользнуло концом по слегам, развернулось и запрыгало с откоса прямо на девушку. В тишине, наступившей сразу, несколько мгновений лишь слышно было, как бежит по шлаку бревно. С колен девушки упала книжка, а сама она... сидит. Что-то противное, теплое захлестнуло Леньке горло... Он увидел недалеко от себя лом. Не помня себя, подскочил к нему, схватил, в два прыжка пересек путь бревну и всадил лом в землю. Уперся ногами в сыпучий шлак, а руками крепко сжал верхний конец лома.

Бревно ударилось о лом. Леньку отшвырнуло метра на три, он упал. Но и бревно остановилось.

Лом попался граненый — у Леньки на ладони, между большим и указательным пальцами, лопнула кожа.

К нему подбежали.

Первой подбежала девушка.

Ленька сидел на земле, нелепо выставив раненую руку, и смотрел на девушку. То ли от радости, то ли от пережитого страха — должно быть, от того и от другого — хотелось заплакать.

Девушка разорвала косынку и стала заматывать раненую ладонь, осторожно касаясь ее мягкими теплыми пальцами.

— Какой же вы молодец! Милый... — говорила она и смотрела на Леньку ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Удивительные у нее глаза — большие, темные, до того темные, что даже блестят.

Леньке сделалось стыдно. Он поднялся. И не знал, что теперь делать.

Рабочие похвалили его за смекалку и стали расходиться.

— Йодом руку-то надо, — посоветовал один.

Девушка взяла Леньку за локоть.

— Пойдемте к нам.

Ленька, не раздумывая, пошел.

Шли рядом. Девушка что-то говорила. Ленька не понимал что. Он не смотрел на нее.

Дома Тамара (так звали девушку) стала громко рассказывать, как все случилось.

Ее мать, очень толстая, еще молодая женщина с красивыми губами и родинкой на левом виске, равнодушно разглядывала Леньку и устало улыбалась. И говорила:

— Молодец, молодец!

Она как-то неприятно произносила это “молодец” — громко, в нос, растягивая “е”.

У Леньки отнялся язык (у него очень часто отнимался язык), и он ничего путного за весь вечер не сказал. Он молчал, глупо улыбался и никак не мог посмотреть в глаза ни матери, ни дочери. И все время старался устроить куда-нибудь свои большие руки. И еще старался не очень опускать голову — чтобы взгляд не получался исподлобья. Он имел привычку опускать голову.

Сели пить чай с малиновым вареньем.

Мать стала рассказывать дочери, какие она видела сегодня в магазине джемперы — красные, с голубой полоской. А на груди — белый рисунки.

Тамара слушала и маленькими глотками пила чай из цветастой чашки. Она раскраснелась и была очень красивой в эту минуту.

— А вы откуда сами? — спросила Леньку мать.

— Из-под Кемеров.

— О-о,— сказала мать и устало улыбнулась.

Тамара посмотрела на Леньку и сказала:

— Вы похожи на сибиряка.

Ленька ни с того ни с сего начал путанно и длинно рассказывать про свое село. Он видел, что никому неинтересно, но никак не мог замолчать — стыдно было признаться, что им неинтересно слушать.

— А где вы работаете? — перебила его мать.

— На авторемонтном, слесарем.— Ленька помолчал и еще добавил: — И учусь в техникуме, вечерами...

— О-о,— произнесла мать.

Тамара опять посмотрела на Леньку.

— А вот наша Тамарочка никак в институт не может устроиться,— сказала мать, закинув за голову толстые белые руки. Вынула из волос приколку, прихватила ее губами, поправила волосы.— Выдумали какие-то два года!.. Очень неразумное постановление.— Взяла изо рта приколку, воткнула в волосы и посмотрела на Леньку.— Как вы считаете?

Ленька пожал плечами.

— Не думал об этом.

— Сколько же вы получаете слесарем? — поинтересовалась мать.

— Когда как... Сто, сто двадцать. Бывает восемьдесят...

— Трудно учиться и работать?

Ленька опять пожал плечами.

— Ничего.

Мать помолчала. Потом зевнула, прикрыв ладошкой рот.

— Надо все-таки написать во Владимир,— обратилась она к дочери.— Отец он тебе или нет!.. Пусть хоть в педагогический устроит. А то опять год потеряем. Завтра же сядь и напиши.

Тамара ничего не ответила.

— Пейте чай-то. Вот печенье берите...— Мать пододвинула Леньке вазочку с печеньем, опять зевнула и поднялась.— Пойду спать. До свиданья.

— До свиданья,— сказал Ленька.

Мать ушла в другую комнату.

Ленька нагнул голову и занялся печеньем — этого момента он ждал и боялся.

— Вы стеснительный,— сказала Тамара и ободряюще улыбнулась.

Ленька поднял голову, серьезно посмотрел ей в глаза.

— Это пройдет,— сказал он и покраснел.— Пойдемте на улицу.

Тамара кивнула и непонятно засмеялась.

Вышли на улицу.

Ленька незаметно вздохнул: на улице было легче.

Шли куда-то вдоль высокого забора, через который тяжело свисали ветки кленов. Потом где-то сели — кажется, в сквере.

Было уже темно. И сыро. Пал туман.

Ленька молчал. Он с отчаянием думал, что ей, наверное, неинтересно с ним.

— Дождь будет,— сказал он негромко.

— Ну и что? — Тамара тоже говорила тихо.

Она была совсем близко. Ленька слышал, как она дышит.

— Неинтересно вам? — спросил он.

Вдруг — Ленька даже не понял сперва, что она хочет сделать,— вдруг она придвинулась к нему вплотную, взяла его голову в свои мягкие, ласковые руки (она могла взять ее и унести совсем, ибо Ленька моментально перестал что-либо соображать), наклонила и поцеловала в губы — крепко, больно, точно прижала каленой железкой. Потом Ленька услышал удаляющиеся шаги по асфальту и голос из темноты, негромко:

— Приходи.

Ленька зажмурился и долго сидел так.

К себе в общежитие он шел спокойный. Медленно нес свое огромное счастье. Он все замечал вокруг: у забора под тусклым светом электрических лампочек вспыхивали холодные огоньки битой посуды... Перебегали через улицу кошки...

Было душно. Собирался дождь.

Они ходили с Тамарой в поле, за город.

Ленька сидел на теплой траве, смотрел на горизонт и рассказывал, какая у них в Сибири степь весной по вечерам, когда в небе догорает заря. А над землей такая тишина! Такая стоит тишина!.. Кажется, если громко хлопнуть в ладоши, небо вздрогнет и зазвенит. Еще рассказывал про своих земляков. Он любил их, помнил. Они хорошо поют. Они очень добрые.

— А почему ты здесь?

— Я уеду. Окончу техникум и уеду. Мы вместе уедем...— Ленька краснел и отводил глаза в сторону.

Тамара гладила его прямые мягкие волосы и говорила:

— Ты хороший.— И улыбалась устало, как мать. Она была очень похожа на мать.— Ты мне нравишься, Леня.

Катились светлые, счастливые дни. Кажется, пять дней прошло.

Но однажды — это было в субботу — Ленька пришел с работы, наутюжил брюки, надел белую рубашку и отправился к Тамаре: они договорились сходить в цирк. Ленька держал правую руку в кармане и гладил пальцами билеты.

Только что перепал теплый летний дождик, и снова ярко светило солнышко. Город умылся. На улицах было мокро и весело.

Ленька шагал по тротуару и негромко пел — без слов.

Вдруг он увидел Тамару. Она шла по другой стороне улицы под руку с каким-то парнем. Парень, склонившись к ней, что-то рассказывал. Она громко смеялась, закидывая назад маленькую красивую голову.

В груди у Леньки похолодело. Он пересек улицу и пошел вслед за ними. Он долго шел так. Шел и смотрел им в спины. На молодом человеке красиво струился белый дорогой плащ. Парень был высокий.

Сердце у Леньки так сильно колотилось, что он остановился и с минуту ждал, когда оно немного успокоится. Но

оно никак не успокаивалось. Тогда Ленька перешел на другую сторону улицы, обогнал Тамару и парня, снова пересек улицу и пошел им навстречу. Он не понимал, зачем это делает. Во рту у него пересохло. Он шел и смотрел на Тамару. Шел медленно и слышал, как больно колотится сердце.

Тамара все смеялась. Потом увидела Леньку. Ленька заметил, как она замедлила шаг и прижалась к парню... и растерянно и быстро посмотрела на него, на парня. А тот рассказывал. Ленька даже расслышал несколько слов: "Совершенно гениально получилось..."

— Здравствуй...те! — громко сказал Ленька, останавливаясь перед ними. Правую руку он все еще держал в кармане.

— Здравствуй, Леня, — ответила Тамара.

Ленька глотнул пересохшим горлом, улыбнулся.

— А я к тебе шел...

— Я не могу, — сказала Тамара и взглянула на Леньку, непонятно, незнакомо прищурилась.

Ленька сжал в кармане билеты. Он смотрел в глаза девушке. Глаза были совсем чужие.

— Что "не могу"? — спросил он.

— Господи! — негромко воскликнула Тамара, обращаясь к своему спутнику.

Ленька нагнул голову и пошел прямо на них.

Молодой человек посторонился.

— Нет, господи... что это за тип? — произнес он, когда Ленька был уже далеко.

А Ленька шел и вслух негромко повторял:

— Так, так, так...

Он ни о чем не думал. Ему было очень стыдно.

Две недели жил он невыносимой жизнью. Хотел забыть Тамару — и не мог. Вспоминал ее походку, глаза, улыбку... Она снилась ночами: приходила к нему в общежитие, гладила его волосы и говорила: "Ты хороший. Ты мне очень нравишься, Леня". Ленька просыпался и до утра сидел около окна — слушал, как перекликаются далекие паровозы. Один раз стало так больно, что он закусил зубами угол подушки и заплакал — тихонько, чтобы не слышали товарищи по комнате.

Он бродил по городу в надежде встретить ее. Бродил каждый день — упорно и безнадежно. Но заставить себя пойти к ней не мог.

И как-то он увидел Тамару. Она шла по улице. Одна. Ленька чуть не вскрикнул — так больно подпрыгнуло сердце. Он догнал ее.

— Здравствуй, Тамара.

Тамара вскинула голову.

Ленька взял ее за руку, улыбнулся. У него опять высохло в горле.

— Тамара... Не сердись на меня... Измучился я весь...— Леньке хотелось зажмуриться от радости и страха.

Тамара не отняла руки. Смотрела на Леньку. Глаза у нее были усталые и виноватые. Они ласково потемнели.

— А я и не сержусь. Что ж ты не приходил? — Она засмеялась и отвела взгляд в сторону. Глаза у нее были до странного чужие и жалкие.— Ты обидчивый, оказывается.

Леньку как будто кто в грудь толкнул. Он отпустил руку. Ему стало неловко, тяжело.

— Пойдем в кино? — предложил он.

— Пойдем.

В кино Ленька опять держал руку Тамары и с удивлением думал: “Что же это такое?... Как будто ее и нет рядом”. Он опустил руку к себе на колено, облокотился на спинку переднего стула и стал смотреть на экран. Тамара взглянула на него и убрала руку с колена. Леньке стало жалко девушку. Никогда этого не было — чтобы жалко было. Он снова взял ее руку. Тамара покорно отдала. Ленька долго гладил теплые гладкие пальцы.

Фильм кончился.

— Интересная картина,— сказала Тамара.

— Да,— соврал Ленька: он не запомнил ни одного кадра. Ему было мучительно жалко Тамару. Особенно когда включили свет и он опять увидел ее глаза — вопросительные, чем-то обеспокоенные, очень жалкие глаза.

Из кино шли молча.

Ленька был доволен молчанием. Ему не хотелось говорить. Да и идти с Тамарой уже тоже не хотелось. Хотелось остаться одному.

— Ты чего такой скучный? — спросила Тамара.

— Так.— Ленька высвободил руку и стал закуривать.

Неожиданно Тамара сильно толкнула его в бок и побежала.

— Догони!

Ленька некоторое время слушал торопливый стук ее туфель, потом побежал тоже. Бежал и думал: "Это уж совсем... Для чего она так?"

Тамара остановилась. Улыбаясь, дышала глубоко и часто.
— Что? Не догнал!

Ленька увидел ее глаза. Опустил голову.

— Тамара,— сказал он вниз, глухо,— я больше не приду к тебе... Тяжело почему-то. Не сердись.

Тамара долго молчала. Глядела мимо Леньки на светлый край неба. Глаза у нее были сердитые.

— Ну и не надо,— сказала она наконец холодным голосом. И устало улыбнулась.— Подумаешь...— Она посмотрела ему в глаза и нехорошо прищурилась.— Подумаешь.— Повернулась и пошла прочь, сухо отшелкивая каблучками по асфальту.

Ленька закурил и пошел в обратную сторону, в общежитие. В груди было пусто и холодно. Было горько. Было очень горько.

КЛАССНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Весной, в начале сева, в Быстрынке появился новый парень — шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу. С круглыми изжелта-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с крутой ломаной бровью, не то очень злой, не то красивый. Смахивал на какую-то птицу.

Пашка был родом из кержаков, откуда-то с верхних сел по Катуні, но решительно ничего не усвоил из старомодного неповоротливого кержацкого уклада.

В Быстринку он попал так.

Местный председатель колхоза Прохоров Ермолай возвращался из города на колхозном "газике". Посреди дороги у них лопнула рессора. Прохоров, всласть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Две не остановились, а третья, полуторка, притормозила. Шофер откинул дверцу.

— Куда?

— До Быстрынки.

— А Салтон — это дальше или ближе?

— Малость ближе. А что?

— Садись до Салтона. Дорогу покажешь.

— Поехали.

Шофер сидел, откинувшись на спинку сиденья; правая рука — на штурвале, левая — локтем — на дверце кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво шурился.

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одной встречной машиной разминулись так близко, что у председателя дух захватило. Он посмотрел на шофера: тот сидел как ни в чем не бывало, шурился.

— Ты еще головы никогда не ломал? — спросил Прохоров.

— А?.. Ничего. Не трать, дядя. Главное в авиации что? — улыбнулся шофер. Улыбка простецкая, добрая.

— Главное в авиации — не трепаться, по-моему.

— Не, не то. — Парень совсем отпустил штурвал и полез в карман за папиросами. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит.

Прохоров стиснул зубы и отвернулся.

В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу. Свирепо посмотрел на шофера.

— Ты!.. Авиатор!

Парень опять улыбнулся.

— Уважаю скорость, — признался он.

Прохоров внимательно посмотрел в глаза парню: парень чем-то нравился ему.

— Ты в Салтон зачем едешь?

— В командировку.

— На сев, что ли?

— Да... помочь мужичкам надо.

Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Закурил тоже. Он решил переманить шофера в свой колхоз.

— В сам Салтон или в район?

— В район. Деревня Листвянка... Хорошие места тут у вас.

— Тебя как зовут-то?

— Меня-то? Павлом. Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — сказал Прохоров. — Я тоже по батьке Егорыч. Поехали ко мне, Егорыч?

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это дыра, я тебе должен сказать. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю: у меня же в командировке сказано...

— Да какая тебе разница?! Я тебе дам такой же документ... что ты отработал на посевной — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. А?

— Клуб есть? — спросил Пашка.

— Клуб? Ну как же!

— Сфотографировано.

— Что?

— Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе посмеялся.

— Шутник ты... (Один лишний шофер да еще с машиной на посевной — это пирамидон, да еще какой!) Шутник ты, Егорыч.

— Стараюсь. Значит, клубишко имеется?

— Имеется, Паша. Вот такой клуб — бывшая церковь!

— Помолимся, — сказал Пашка.

Оба — Прохоров и Пашка — засмеялись.

Так попал Павел Егорыч в Быстрианку.

Жил Пашка у Прохорова. Быстро сдружился с хозяйкой, женой Прохорова, охотно беседовал с ней вечерами.

— Жена должна чувствовать! — утверждал Пашка, с удовольствием уписывая жирную лапшу с гусятиной.

— Правильно, Егорыч, — поддакивал Ермолай, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, которая не чувствует?

— Если я прихожу домой, — продолжал Пашка, — так? — усталый, грязный — то-се, я должен первым делом видеть энергичную жену. Я ей, например: “Здорово, Маруся!” Она мне весело: “Здорово, Павлик! Ты устал?”

— А если она сама, бедная, наработается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: пирамидон. И меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно! — поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками.

В клубе Пашка появился на второй день после своего приезда. Сдержанно веселый, яркий: в бордовой рубаше с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой русой хмелиной завивался чуб.

— Как здесь население... ничего? — равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечатление на “местное население”.

— Ничего, — ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился:

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели тут.

— Ничего. — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу волновало его. Больше всего, конечно, интересовали девки.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что за дивчина? — спросил Пашка у того же парня; он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не захотел с ним разговаривать, отошел.

Заиграли вальс.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал:

— Предлагаю на тур вальса!

Все подивились изысканности Пашки; на него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо; Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку.

Закружились.

Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка с ходу начал выделять такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился... Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, он, не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом.

Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше “местного населения” с таким видом, точно хотел сказать: “Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение — покажу кое-что. Умел когда-то”.

Настя покраснелась, ходила все так же медленно, плавно.

— Ну и трепач ты! — весело сказала она, глядя в глаза Пашке.

Пашка ухом не повел.

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображали.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка был серьезен.

— Вы мне нравитесь, — сказал он. — Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты. — Настя в упор посмотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания.

Вальс кончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него. Пашка знал, что так бывает всегда.

— Тут поблизости забегаловки нигде нету? — спросил он, подходя к группе курящих.

Парни молчали, смотрели на Пашку насмешливо.

— Вы что, языки проглотили?

— Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развил? — спросил тот самый парень, с которым Пашка говорил до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Крестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут... потолкуем?

Пашка отрицательно качнул головой.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете сейчас ни за что... Потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграло танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурки. Тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что, кажется, у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует,— сказал он и поправил фуражку.— Где он?

— Кто?

— Инженеришка.

— Его нету сегодня.

— Я интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка прошел к Насте.

— Вы мне не ответили на один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна дойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его опять смотрели серьезно.

— Поговорим, как желтмены.

— Боже мой,— вздохнула Настя, поднялась и пошла в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него сочувственно посмеивались. Он не чувствовал позора. Только стало больно под лопаткой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего: попросил у Прохорова вышитую рубаху, перепоясал ее синим шелковым пояском с кистями, надел свои диагоналевые синие галифе, бостоновый пиджак — и появился в здешней библиотеке. (Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал.)

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и избой-читальней одновременно.

В библиотеке была только Настя, и у стола сидел молодой человек, смотрел “Огонек”.

Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась ему, как старому знакомому.

Пашка подошел к ее столу и начал спокойно рассматривать книги — на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с “Огоньком” и есть тот самый инженер, жених Насти.

— Почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите? — Настя невольно перешла на “вы”.

— “Капитал” Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал. Парень отложил “Огонек” и посмотрел на Пашку.

Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех.

— Как ваша фамилия?

— Холманский Павел Егорыч. Год рождения тысяча девятьсот тридцать пятый, водитель-механик второго класса.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом оглянулся. Инженер наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка растерялся и... подмигнул ему.

— Кроссвордами занимаемся?

Инженер не сразу нашелся что ответить:

— Да... А вы, я смотрю, глубже берете.

— Между прочим, Гена, он тоже из Москвы, — сказала Настя.

— Ну? — Гена искренне обрадовался. — Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в карточке. Молчал.

— Спасибо, — сказал он Насте. Подошел к столу, швырнул толстый том, протянул Гене руку. — Павел Егорыч.

— Гена. Очень рад!

— Москва-то? — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. — Шумит Москва, шумит... — И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил: — Люблю смешные журналы! Особенно про алкоголиков — так разрисуют всегда...

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то? — Пашка перелистнул страничку журнала.— А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее:

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно,— сказала Настя.— Значит, мне приснилось.

— Бывает,— согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.— Вот пожалуйста — очковтиратель,— сказал он, подавая журнал Гене.— Кошмар!

Гена улыбнулся.

— Вы на посевную к нам?

— Так точно.— Пашка оглянулся на Настю: та с интересом разглядывала его. Пашка отметил это.— Сыграем в пешки? — предложил он инженеру.

— В пешки? — удивился инженер.— Может, в шахматы?

— В шахматы скучно,— сказал Пашка (он не умел в шахматы).— Думать надо. А в пешечки раз, два — и готово.

— Можно и в пешки,— согласился Гена и посмотрел на Настю.

Настя вышла из-за перегородки и под села к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это?

— За то, что человек прозеваает, когда ему надо рубить, берут пешку,— пояснила Настя.

— А-а... Можно брать. Берем.

Пашка быстро расставил шашки на доске. Взял две, спрятал за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет.— Ходил первым Пашка.

— Сделаем так,— начал он, устроившись удобнее на стуле: выражение его лица было довольное и хитрое.— Здесь курить, конечно, нельзя? — спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— Понятно! — Пашка пошел второй.— Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого.

— погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь?

— Ну и что! Играю-то я.

— Учиться надо.

Паша улыбался. Он ходил уверенно, быстро.

— Вон той, Гена, крайней, — опять не стерпела Настя.

— Нет, я не могу так! — возмутился Гена. — Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

— А чего ты волнуешься-то? Вот чудак!

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно, — встрял Пашка и подмигнул незаметно Насте.

Настя покраснела.

— Ну и проиграешь сейчас! Принципиально.

— Нет, зачем?.. Тут еще полно шансов сфотографировать меня, — снисходительно сказал Пашка. — Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл, — с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом! — обиделся Гена. — Нельзя же так в самом деле. Отойди!

— А еще инженер. — Настя встала и пошла к своему месту.

— Это уже... не остроумно. При чем тут инженер-то?

— Боюсь ему понравиться-а, — запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол, — к чему-то сказал Пашка.

Инженер спутал на доске шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

— Я проиграл.

— Выйдем покурим? — предложил Пашка.

— Пойдем.

В сенях, закуривая, инженер признался:

— Не понимаю что за натура? Во все обязательно вмешивается.

— Ничего, — неопределенно сказал Пашка. — Давно здесь?

— Что?

— Я, мол, давно здесь живешь-то?

— Живу-то? Второй месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку.

— На ней? Да. А что?

— Ничего. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, да.

Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик сигареты. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты “Капитал” действительно читаешь?

— Нет, конечно.— Пашка небрежно прихватил губами сигаретку — в уголок рта, сощурился, заложил ладони за пояс, коротким, быстрым движением расправил рубаху.— Может, в кинишко сходим?

— А что сегодня?

— Говорят, комедия какая-то.

— Можно.

— Только это... пригласи ее...— Пашка кивнул на дверь библиотеки, нахмурился участливо.

— Ну а как же! — тоже серьезно сказал инженер.— Я сейчас зайду к ней... поговорю...

— Давай! Давай!

Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу.

...В кино сидели вместе все трое. Настя — между инженером и Пашкой.

Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте и взял ее за руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась. Пашка как ни в чем не бывало стал смотреть на экран. Посмотрел минут десять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и едва слышно шепнула на ухо:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка моментально убрал руку.

Посидел еще минут пять. Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал:

— У меня сердце разрывается, как осколочная граната.

Настя тихонько засмеялась. Пашка опять начал искать ее руку. Настя обратилась к Гене:

— Дай я пересяду на твое место.

— Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою голову! — распорядился Пашка.

Впереди сидящий товарищ “убрал” голову.

— Теперь ничего?

— Ничего,— сказала Настя.

В зале было шумно. То и дело громко смеялись.

Пашка согнулся в три погибели, закурил и стал торопливо глотать сладкий дым. В светлых лучах отчетливо закуцелись синие облачка. Настя толкнула его в бок:

— Ты что?

Пашка погасил папироску... Нашел Настину руку, с силой пожал ее и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене:

— Пусть эту комедию тигры смотрят.

На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, закурил. Медленно пошел домой.

Дома, не раздеваясь, прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Ермолай.

— Да так... — сказал Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Ермолай.

— Ну как раньше... Раньше ведь воровали?

— А-а! Черт его знает! А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады без воровства.

— Это конечно. Я так просто, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю, Павел.

Пашка встал с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

— В жизни раз бывает восемна-адцать лет, — запел он вдруг. — Егорыч, на рубаху. Сэнк-ю!

— Чего вдруг!

— Так. — Пашка скинул вышитую рубаху Прохорова, надел свою. Постоял посреди комнаты, еще подумал. — Сфотографировано, Егорыч!

— Ты что, девушку какую-нибудь надумал украсть? — спросил Ермолай.

Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел где-то движок.

Пашка вошел в РТС, где стояла его машина.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои, — сказал Пашка.

— Кто свои?

— Холманский.

— Командировочный, что ль?

— Ну.

В круг света вышел дедун сторож, в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

— Есть.

Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет,— сказал дед и зевнул.— Спать клонит в дождь.

— А ты спи,— посоветовал Пашка.

— Нельзя. Я тут давеча соснул было, дак заехал этот...

Пашка прервал словоохотливого старика:

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай, давай.— Старик опять зевнул.

Пашка завел свою полуторку и выехал со двора РТС.

Он знал, где живет Настя — у самой реки над обрывом.

Днем разговорились с Прохоровым, и он показал Пашке этот дом. Пашка запомнил, что окна горницы выходят в сад.

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых собака или нет?

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки попрятались.

Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь.

Подъезжая к Настиному дому, он совсем почти сбросил газ, вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так,— негромко сказал он и потер ладонью грудь: он волновался.

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Сердце Пашки громко заколотилось.

“Только бы собаки не было”.

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

“Ну, Пашка... или сейчас в лоб получишь, или...”

Он тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Весна исходила соком. Пахло погребом.

Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про восемнадцать лет, одну и ту же фразу: “В жизни раз бывает восемнадцать лет”. Он весь день сегодня пел эту песню.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

“Одна она тут спит или нет?” — возник новый вопрос.

Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света поползло по стенкам, вырывая из тьмы отдельные предметы: печка-голландка, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял

голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла окно.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко. Голос ее насторожил Пашку — какой-то отчужденный.

“Неужели узнала?” — испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

“Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной рубашке”.

Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно.

— Додумался? — сказала Настя слегка потеплевшим голосом.

“Додумался, додумался,— думал Пашка.— Сейчас будет цирк”.

— Ноги-то вытри,— сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом.

Пашка продолжал молчать. Обнял ее, теплую, мягкую. Так сдвинул, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.

— Ох,— глубоко вздохнула Настя,— что ж ты делаешь? Шальной!..

Пашка начал ее целовать. И тут что-то случилось с Настей: она вдруг вывернулась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

“Все. Конец”. Пашка приготовился к самому худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну.

Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком почти нагая.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стола юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке. Не успел он подумать о чем-либо, как ощутил на левой щеке сухую горячую пощечину. И тотчас такую же — на правой.

Потом некоторое время стояли друг против друга, смотрели... У Насти от гнева расцвел на щеках яркий румянец. Она была поразительно красива в эту минуту.

“Везет инженеру”, — невольно подумал Пашка.

— Сейчас же убирайся отсюда! — негромко приказала Настя.

Пашка понял, что она не будет кричать — не из таких.

— Побеседуем, как желтмены,— заговорил Пашка, закуривая.— Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость.— Он бросил спичку в окно и продолжал развивать свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет и снова предложит убираться. От волнения Пашка стал прохаживаться по горнице — от окна к столу и обратно.— Я влюблен, так. Это факт, а не реклама. И я одного только не понимаю: чем я хуже этого инженера? Если на то пошло, я могу легко стать Героем Социалистического Труда. Надо только сказать мне об этом. И все. Зачем же тут аплодисменты устраивать? Собирайся и поедem со мной. Будем жить в городе.— Пашка остановился. Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил.

Она поняла это.

— Какой же ты дурак, парень,— грустно и просто сказала она.— Чего ты мелешь тут? — Она села на стул.— Натворил делов и еще философствует, ходит. Он любит!...— Настя странно как-то заморгала, отвернулась. Пашка понял: заплакала.— Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю? — Настя резко повернулась к нему — в глазах слезы.

Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял: никогда в жизни ему не отвоевать ее. Всегда у него так: как что чуть посерьезнее, поглубже — так не его.

— Чего ты плачешь?

— Да потому, что вы только о себе думаете... эгоисты несчастные! Он любит! — Она вытерла слезы.— Любишь, так уважай хоть немного, а не так...

— Что же я такого сделал? В окно залез — подумаешь! Ко всем лазят...

— Не в окне дело. Дураки вы все, вот что. Тот дурак тоже... весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался.

— Как уезжать? Куда? — Пашка понял, кто этот дурак.

— Куда... Спроси его!

Пашка нахмурился.

— На полном серьезе?

Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала. Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заняло.

— Собирайся! — приказал он.

Настя вскинула на него удивленные глаза.

— Поедем к нему. Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая.

— Сиди уж... не трепись!

— Послушайте, вы!.. Молодая, интересная...— Пашка приосанился.— Мне можно съездить по физиономии, так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит — не трепись?

— Куда ты поедешь сейчас? Ночь глубокая...

— Наплевать. Одевайся. На кофту!

Пашка снял со спинки стула кофту, бросил Насте.

— Послушайте, вы!.. Молодая, интересная...— Пашка опять заходил по горнице.

— Из-за чего же это он приревновал? — спросил он не без самодовольства.

— Танцевали... ему сказал кто-то. Потом в кино шептались. Он же дурак набитый.

— Что же ты не могла ему объяснить.

— Нужно мне объяснять! Никуда я не поеду.

Пашка остановился.

— Считаю до трех: раз, два... А то целоваться полезу!

— Я те полезу! Что ты ему скажешь?

— Я знаю что!

— А я к чему там?

— Надо.

— Да зачем?

— Я не знаю, где он живет. Вообще надо ехать. Точка.

Настя надела кофту, туфли.

— Лезь. Я за тобой. Видел бы кто-нибудь сейчас...

Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли на дорогу.

Полуторка ворчала на хозяина.

— Садись, ревушка-коровушка!.. Возись тут с вами по ночам.

Пашке эта новая неожиданная роль нравилась.

Настя залезла в кабину.

— Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?

— Где уж тут!.. С вами вперед прокиснешь, чем...

— Ну до чего ты, Павел...

— Что? — строго спросил Пашка.

— Ничего.

— То-то.— Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал.

...Инженер не спал, когда Пашка постучал ему в окно.

— Кто это?

— Я.

— Кто я?

— Пашка. Павел Егорыч.

Инженер открыл дверь, впустил Пашку. Не скрывая удивления, уставился на него.

Пашка кивнул на стол, заваленный бумагами.

— Грустные стихи сочиняешь?

— Я не понимаю, слушай...

— Поймешь.— Пашка сел к столу, отодвинул локтем бумаги.— Любишь Настю?

— Слушай!..— Инженер начал краснеть.

— Любишь. Значит, так: иди води ее сюда — она в машине сидит.

— Где? В какой машине?

— На улице. Ко мне зря приревновал: мне с хорошими бабами не везет.

Инженер быстро вышел на улицу, а Пашка, Павел Егорыч, опустил голову на руки и закрыл глаза. Он как-то сразу устал. Опять некстати вспомнились надоевшие слова: "В жизни раз бывает..." В груди противно заболело.

Вошли инженер с Настей.

Пашка поднялся. Некоторое время смотрел на них, как будто собирался сказать напутственное слово.

— Все? — спросил он.

— Все,— ответил инженер.

Настя улыбнулась.

— Вот так,— сердито сказал Пашка.— Будьте здоровы.— Он пошел к выходу.

— Куда ты? погоди!..— запротестовал инженер. Пашка, не оглянувшись, вышел.

Уезжал Пашка из этой деревни. Уезжал в Салтон. Прохорову он подsunул под дверь записку с адресом автобазы, куда просил прислать справку о том, что он отработал честно три дня на посевной. Представив себе, как будет огорчен Прохоров его отъездом, Пашка дописал в конце: "Прости меня, но я не виноват".

Пашке было грустно. Он непрерывно курил.

Пошел мелкий дождь.

У Игреново, последней деревни перед Салтоном, на дороге впереди выросли две человеческие фигуры. Замахали руками. Пашка остановился.

Подбежали молоденький офицер с девушкой.

— До Салтона подбрось, пожалуйста! — Офицер был чем-то очень доволен.

— Садись!

Девушка залезла в кабину и стала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться, хохотали.

Пашка искоса разглядывал девушку — хорошенькая, белозубая, губки бантиком — прямо куколка! Но до Насти ей далеко.

— Куда это на ночь глядя? — спросил Пашка.

— В гости, — охотно откликнулась девушка. И высунулась из кабины — опять говорить со своим дружком. — Саша? Саш!.. Как ты там?!

— В ажуре! — кричал из кузова лейтенант.

— Что, дня не хватает? — опять спросил Пашка.

— Что? — Девушка мельком глянула на него и опять: — Саша? Саш!..

— Все начисто повлюблились, — проворчал Пашка. — С ума все походили. — Он вспомнил опять Настю: совсем недавно она сидела с ним рядом — чужая. И эта чужая.

— Саша! Саш!..

“Саша! Саш! — съехидничал про себя Пашка. — Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас — вперед машины побежит”.

— Я представляю, что там сейчас будет! — кричал из кузова Саша.

Девушка так и покатилась со смеху.

“Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время”, — сердито думал Пашка.

Дождь припустил сильнее.

— Саша! Как ты там?!

— Порядок! На борту порядок!

— Скажи ему — там под баллоном брезент есть — пусть накроется, — сказал Пашка.

Девушка чуть не вывалилась из кабины.

— Саша! Саш!.. под баллоном какой-то брезент!.. На-кройся!

— Хорошо! Спасибо!

— На здоровье, — сказал Пашка, закурил и задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.

СОДЕРЖАНИЕ

КИНОПОВЕСТИ

Живет такой парень	5
Ваш сын и брат	49
Странные люди	87
Позови меня в даль светлую...	129
Брат мой...	181
Печки-лавочки	227
Калина красная	291

РАССКАЗЫ

Двое на телеге	365
Светлые души	370
Степкина любовь	375
Правда	382
Племянник главбуха	388
Сельские жители	395
Демагоги	403
Коленчатые валы	409
Воскресная тоска	420
Артист Федор Грай	427
Стенька Разин	432
Экзамен	439
Леля Селезнева с факультета журналистики	445
Ленька	455
Классный водитель	462

Шукшин В. М.

Собрание сочинений в пяти томах (том 3); Худ. К. Сухаревский,— Б.: «Венда», 1992.— Переиздание — Е.: изд-во «Уральский рабочий» — 480 с., фото.

ISBN 5-7025-0127-6

ISBN 5-7025-0130-6 (том 3)

В третий том собрания сочинений Василия Макаровича Шукшина вошли киноповести и рассказы.

4702010200

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН

Собрание сочинений в пяти томах

том 3

Ответственный за выпуск Х. Муслимов

Тех. редактор С. Владыкин

Худ. редактор С. Сухаревский

Корректоры Г. Бочкарева, О. Коршикова

Сдано в набор 22.12.91. Подписано к печати 14.07.92. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 21,83. С 39. Тираж 100 000 экз. Заказ № 245.

Издание подготовлено компанией «Венда» и издательством «Книголюб». 720000. г. Бишкек, Первомайская, 63.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии изд-ва «Уральский рабочий». 620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.



